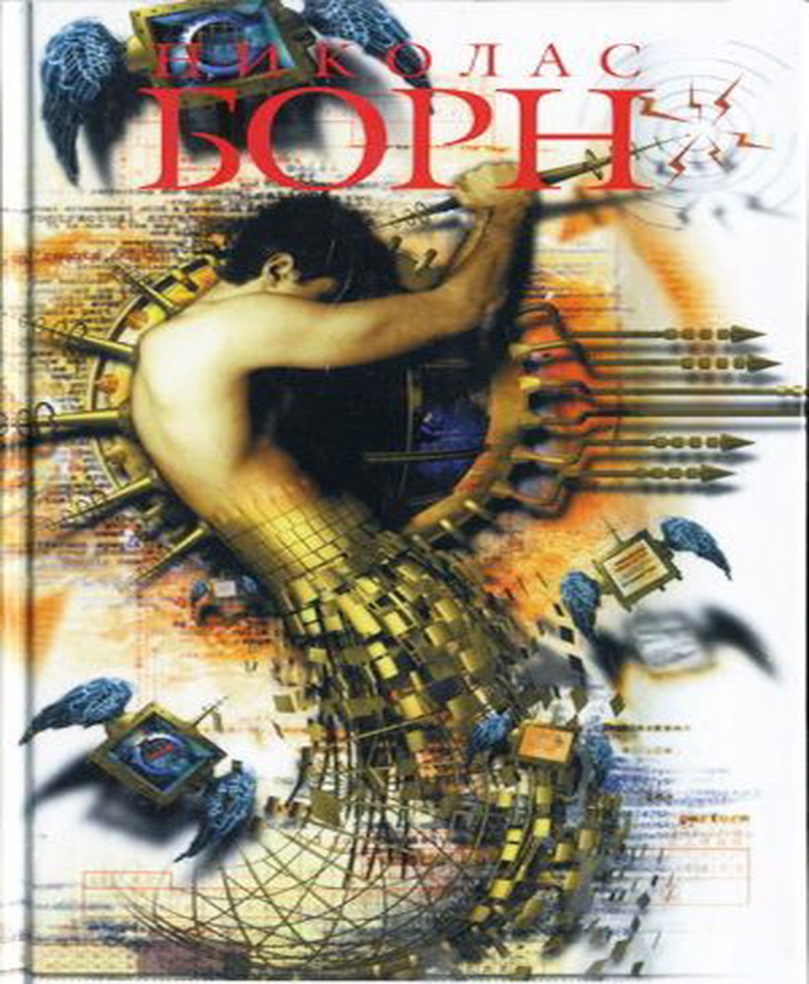
НИКОЛАС

БОРН



ФАЛЬШИВКА

Фальшивка
Николас Борн

Аннотация
Николас Борн. Фальшивка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Аннотация

Роман Николаса Борна «Фальшивка» стал культовой книгой и интеллектуальным бестселлером для нескольких поколений читателей. В 1981 году роман был экранизирован Фолькером Шлендорфом.

На войне как на войне… Нам ли не знать. Так происходит сейчас. Так было тридцать лет назад: Ближний Восток, разрывы бомб, журналист, пытающийся попять суть происходящего кошмара. Хотя только ли кошмара? Ведь за углом этого ада есть мирный квартал, есть женщина, которую можно любить под вой пролетающих снарядов… Что в этой войне и в этой любви правда, а что – фальшь? Каким «информационным мифотворчеством» занимается Георг Лашен, отправляя свои репортажи в одну из немецких газет? «Мысль изреченная есть ложь»? А чувства… А сама жизнь… Неужели и они – фальшивка?

Николас Борн
Фальшивка

1

К утру вся влага стала льдом. Все текучее, серое, зыбкое оцепенело от шока; холод и лед. Почва снова держит. Любители вставать ни свет ни заря самоутверждаются на свежем воздухе, под ногами хрустит замерзшая снежная каша, на перекрестке застряла снегоуборочная машина, мотор воет. Все вокруг, казалось, воспрянуло духом, словно после отмены каких-то суровых законов. И краски вернулись, и домашнее тепло тем отрадней, что скоро пора на улицу.

Лашен сварил кофе покрепче и сидел за столом, подпирая руками голову. За полуоткрытой дверью спальни пиликала музыка. Проснувшись, он, несмотря на холод, сразу почувствовал запах отсыревших обоев и старого тряпья; здесь, в квартире, ни к чему не хотелось прикасаться, скоро он уйдет отсюда, уедет; собственно, осталось совсем мало времени. Он с опаской вошел в ванную и заметил тонкий слой давнишней пыли на полочке, где между флаконов и тюбиков валялись шпильки и заколки, и еще фотография Греты, простая, на паспорт, сделанная в уличном авто-

мате. В обеих комнатах и в коридоре она бросила газеты, должно быть, бегло просмотрев. Действует на нервы, надо будет сказать ей, потом, когда он вернется. Но в ту же минуту остро почувствовал робость и бережный страх, — словно боясь разбудить детей и Грету, бесшумно крадешься по темному дому, подумал он. Мысли невесомо легки, и кружится голова.

Эту квартиру в Гамбурге они сняли три года назад, вскоре после рождения Эльзы, когда переселились в загородный дом. Бывшая привратницкая в бельэтаже, но в боковом крыле, со своей входной дверью. Фасад и лестница чопорно солидные, на решетчатой двери лифта бронзовые завитушки. И сам он, и Грета не любили ночевать у друзей, когда бывали в Гамбурге, а снимать квартиру все же дешевле, чем жить в гостинице.

Он ведь звонил Грете за город. Она сказала, что Верена уже ушла с детьми в детский сад. А он что сказал? Что рад возвращению домой. «Серьезно, Грета. Прошу тебя, давай забудем весь этот вчерашний спектакль. Постарайся забыть. Пойми, мне с тобой трудно, но на самом деле это мои проблемы с самим собой. В общем, так вот…» Она внимательно выслушала, долго молчала, потом спросила: «Хорошо, а как быть с *моими*

проблемами? У меня, видишь ли, тоже есть проблемы». — «Да-да, извини», — он испугался. На столе лежало письмо от владельцев верфи, старое письмо, еще в октябре пришло, в нем сообщалось, что уволенные рабочие не являются членами трудового коллектива и потому администрация впредь не разрешает Грете фотографировать их на территории верфи.

В утренних известиях — ничего нового о событиях на Ближнем Востоке. Хофман уже едет, скоро будет здесь. Грета раньше без конца фотографировала безработных докеров. У них в квартирах. Хмурые лица, поджатые губы. Или на бирже труда, в кафе, на профсоюзных собраниях.

Ночь он провел с Анной — подругой Хофмана. Сидели в пивной, она жаловалась на Хофмана, мол, вечно находит в ней недостатки, сравнивая ее со своей бывшей женой, а жена его активистка женского движения и вместе с какой-то редакторшей пишет киносценарии о проблемах эмансипации. И он неодобрительно отозвался об этой манере Хофмана, но странно, в его собственном отношении к Анне тотчас появилось что-то вроде пренебрежения. Она сказала, что хочет разъехаться с Хофманом.

В постели они долго не засыпали, лежали,

прижавшись друг к другу, и постепенно он избавился от мыслей о Хофмане. Удивила совершенно неожиданная нежность к Анне, лишь раз он с силой дернул ее за волосы, притянув к себе, и у нее вырвался глухой гортанный стон. Потом вдруг проснулся, — что-то зазвенело, разбилось. Подумал, Анна встала, мало ли зачем, но сквозь занавески уже пробивался голубоватый свет. Она что-то разбила в ванной, наверное один из флаконов Греты. Анна заглянула в полуоткрытую дверь и, увидев, что он не спит, извинилась. Он закрыл глаза, услышав, что Анна подметает осколки. Когда она присела на край постели, уже в пальто, он почувствовал смутную благодарность, и еще показалось, ночь с нею словно начисто стерта каким-то сновидением. Но нет, он ничего не хотел забывать. Спросил, скажет ли Хофману, она ответила — нет.

Хофман позвонил в дверь ровно в восемь сорок пять. На улице ждало такси, фары горят, мотор не выключен, водитель протирает стекла. Хофман ходил взад-вперед возле крыльца с видом триумфатора, вдруг усомнившегося в своей победе, дышал на пальцы.

В машине Хофман молчал. Они уже много раз ездили вместе (Лашен хорошо помнил свой первый

репортаж о. «событиях в Чехословакии» — вводе в страну иностранных войск, фотографировал тогда тоже Хофман), но могучая физическая сила и неколебимая уверенность Хофмана по-прежнему таили словно некую угрозу, во всяком случае так казалось. Впрочем, чувство неловкости, похожее на зуд, возникавшее, когда он работал вместе с Хофманом, уже стало привычным. В поездках оба старались поменьше мозолить глаза друг другу. Он не мог избавиться от ощущения, что Хофман считает его тексты никчемным, но, увы, неизбежным приложением к своим фотографиям. Иногда он воображал, что у Хофмана тело дикого вепря, мускулистое, все в шерсти, вот только руки подгуляли, несуразно тонкие, лицо же хмурое, высокомерное, весил он килограммов сто, не меньше, но в южных городах ходил по залитым светом и жаром площадям легко, не потея.

Они долго лавировали по скользким мостовым и, когда выбрались наконец из центральных районов, над светлой и холодной туманной мглой взошло солнце. Лететь решили через Дамаск, значит, Кипра опять не увидят, ничего не поделаешь, с Кипра уже нет рейсов на Бейрут. Можно было бы сесть вечером на пароход в Лимасоле и к утру быть в Джунии, но такой маршрут по-

казался слишком сложным да и долгим. К тому же в прессе сообщалось, что у побережья Ливана полно сирийских военных кораблей, охотников на транспорты с оружием.

В самолете вроде удалось отдохнуть. Гамбург остался позади, все проблемы, связанные с ним, вся история жизни теперь там, а здесь покой. Прошлое расплылось дымными пластами, то ли сгинуло, то ли умерло, и медленно проклевывалось настоящее, до странного простая действительность, она прорезалась, когда самолет, набрав высоту, мягко и ровно поплыл над землей. Защелкали зажигалки, струи дыма не расползались в воздухе, а поднимались вертикально вверх, к вентиляторам. На крыльях сверкали кристаллы инея, яркие, пурпурно-красные. Стюардессы были идеально безлики, пассажиры, наоборот, стали разными, непохожими друг на друга; раньше, пока в каком-то холле дожидались приглашения на посадку, они были единым безликим скопищем тел. Хофман тогда ждал молча, хотя по лицу видно было, что он вот-вот выругается.

Каких-то полтора месяца назад, в декабре, они с Хофманом первый раз ездили в Ливан. Остановились тогда в «Финикии», эта гостиница, как сообщалось в прессе, теперь закрыта, — в холле

застрелили ее директора, австрийца. С директором они были знакомы. «Монд» писала, что его убили, приняв, вероятно, за кого-то другого. Они вернулись в Германию десятого декабря, раньше, чем предполагалось. Перемирие тогда еще не нарушалось, за короткое время они собрали массу материала. Вернулись. Греты не было дома, она уехала на три дня в Гамбург. Но в городской квартире он не обнаружил ни малейших признаков того, что она туда хотя бы приходила. Отправился в деревню и пришел в ярость, увидев возле дома вырытую траншею, кое-как прикрытую ветошью, стекловатой и досками, — так и не привели в порядок трубу отопления. Он немедленно позвонил Вольфу, слесарю-ремонтнику, тот обещал прийти на следующий день, с утра пораньше, в восемь. Ну да, он сидел дома, ждал, тем временем просматривал ливанские фотографии Хофмана, надо было придумать к ним подписи. Ждал до девяти, Вольф не пожаловал. Наконец он встал из-за стола и вышел на улицу к траншее, нужно было отвлечься от гнусного состояния апатии и злобы. Вся эта история с Вольфом случилась не потому, что он вдруг преисполнился решимости и попытался что-то изменить, — нет, только из-за раздражения. Во дворе на него навалилась

гнетущая тоска: Грета его попросту обокрала, ничем не ответив на его бесконечные тревоги. Ждал долго. Наконец во двор въехал грузовичок Вольфа с двумя раковинами в кузове, с серыми пластиковыми трубами, инструментами, сварочным аппаратом. Вольф принялся вытаскивать из траншеи тряпье и доски. В дверях стояли Верена и дети. У детей были разрисованы лица. Он сделал выговор Вольфу и пригрозил, что подаст жалобу в Союз ремесленных рабочих. Верена увела детей в дом и плотно закрыла за собой дверь. Со злобным сарказмом он сказал, что ужасно рад приезду Вольфа. Тот в ответ: ну, теперь какая работа, земля-то промерзла. Дебильное лицо с прилизанными белобрысыми прядками на лбу раскраснелось, он бестолково мотал головой, покусывал толстые губы и наконец решительно заявил: трубы забило. Лашен только засмеялся. Лицо Вольфа вызывало дикую злобу, эти вульгарные оттопыренные уши, этот девичий ротик с обиженно поджатыми губками. Он отпер дверь подвала и спустился вниз, к котлам. Вольф шел позади. «Вот, уважаемый господин Вольф, вот полюбуйтесь, это ведь вы наглухо зацементировали распределительный щит!» Вольф сунулся вперед, наклонился, и тут он схватил его за го-

лову и двинул лбом в стену. Вольф медленно поднялся на ноги и утер кровь, сочившуюся из расквашенного носа. Лашен внимательно следил за каждым его движением. Вольф, низко опустив голову, поплелся из подвала, Лашен запер дверь и подошел к грузовичку. Вольф сидел в кабине и все утирал кровь тыльной стороной руки. Просто сидел за баранкой, тупо глядя перед собой, кажется куда-то далеко. Лицо Лашена отразилось в боковом стекле. Из кухни вышла Верена с мусорным ведром, из которого торчал засохший букет. Вольф запустил мотор и дал задний ход, чтобы развернуться. Лашен не спускал с него глаз. Верена с пустым ведром вернулась в дом, мимоходом улыбнувшись Лашену. Грузовичок тарахтел, но не трогался с места. Вольф вылез и, не поднимая головы, медленно обошел его кругом, проверяя, пнул ногой каждую шину. Потом все-таки увидел, что Лашен подходит ближе, и спросил: «Что дальше-то?» — «До свидания, господин Вольф», — сказал как отрубил и ушел в дом, где Верена мыла посуду, а дети на лестнице играли в кубики.

Пообедав вместе с Вереной и детьми, закрылся в своей комнате, твердо решив засесть за работу, и действительно начал писать. Первые строки дались легко, материал не оказывал со-

противления, получалась пустая трепотня. Он переписал все заново, сформулировал жестче и более лаконично, между делом думая о Верене, потому что слышал ее голос, она о чем-то разговаривала с детьми, негромко, как бы нарочито приглушенным голосом. У Верены удивительная кожа, уж слишком упругая, слишком ровная, с виду во всяком случае; и тело вообще чересчур крепко сбитое, а лицо неестественно гладкое, ни морщинок, ни пор. Да, все-таки за обедом между ними возникло какое-то странное взаимное притяжение. На его взгляд она ответила долгим взглядом, и в его теле словно что-то замерцало, весело и легко встрепенулось. На улыбку, которая означала — все, хватит, Верена не ответила.

Он писал тонким фломастером, не в блокноте, а на отдельных листах. Иногда почерк менялся: на одном листе был наклонным и резким, с острыми углами, на другом — размашистым и округлым. Ничего необычного — случалось, почерк менялся даже на середине листа. Он писал о причинах, следствием которых стала ныне столь актуальная палестинская проблема, о войнах, которые вели палестинцы, о традиционно добрососедских отношениях, существовавших раньше между мусульманами и христианами Ливана. Хорошо,

это преамбула, «корешки» современных событий. Но почему никогда еще проблема палестинцев не была такой острой? Текст не складывался, слова оставались легковесными, хуже того: звучали как пошлый, рассказанный под настроение анекдот. Все смахивало на беллетристику. Он услышал, что Эльза заплакала, посмотрел в окно, там клумба с розами, на каждый кустик наверчен полиэтиленовый кулек. Дальше! Да какое там, дальше пошли уже совсем слабые, неуверенные рассуждения о бесперспективности любых попыток выявить истинные причины войны, иначе говоря, интересы той или другой стороны. Вот, дважды употребил слово «абсурдно». Нет, просто барахтаешься и никак не можешь выбраться из того, что написал в начале. То и дело он срывался, опять лез куда-то наверх, поспешно добавлял новые и новые слова, а прочитывая, не всегда вдумывался в смысл и считал, что все в полном порядке и звучит, пожалуй, совсем не плохо.

Уже стемнело, и послышался шум мотора — это машина Греты, свет фар метнулся по голым ветвям; он пролистал написанное, оказалось десять станиц. Вышел в кухню, там Верена гладила белье, посмотрел на Грету, та стояла на коленях, прижимая к себе детей. «Привет», — сказал он

и, подходя, зазевался и задел головой абажур. Губами коснулся ее щеки, Грета погладила его по волосам. Ее лицо было горячим, руки — холодными. Неловкая встреча, как бы репетиция настоящей, которой потом так и не произошло. Он вышел к машине, надо было принести чемодан и сумку с фотоаппаратом. Вернулся, поставил чайник. Грета вытащила из кармана пальто двух плюшевых зверушек — подарки детям. Очень интересно, о каких пустяковых делах она сейчас начнет рассказывать. Грета казалась довольной, сытой, ну да, она же три дня провела в Гамбурге или еще где-то. Где, с кем, он не знал, и это возбуждало. Как раз это всегда вызывало его интерес, как раз это всегда почему-то разжигало влечение.

В прогнозе по радио предсказали сильное похолодание. Дети сползли с колен Греты и убежали в коридор. Он сказал: «Тебя не было в городской квартире». — «Не было». — Она ответила с едва заметной усмешкой. Он "тоже улыбнулся. Но тут же почувствовал, что лицо застыло, задубело, словно покрылось коркой льда. От холода лицо больно жгло, когда он на велосипеде ездил в школу. Никогда не забудешь, как ты мерз в детстве. Как стягивал зубами перчатки и выл от боли, когда окоченевшие руки понемногу отогревались

в домашнем тепле. Со времен детства этого уже не бывало.

Тронул Грету за плечо: «Пойдем, надо поговорить». Она замешкалась. Но все-таки пошла за ним в комнату. Обернувшись на ходу, подмигнула Верене.

2

На автостоянке в бейрутском аэропорту — искореженные, расстрелянные такси, бронемашины, джипы и грузовики. Солнце уже низко опустилось над западным краем земли и повисло в дымной полосе, казавшейся неподвижной. После проверки документов им предложили сесть в такси, у которого не было лобового стекла, и начался медлительный слалом, бесконечные петли и зигзаги между пулеметными гнездами, укрытыми мешками с песком. Сухая, колкая пыль, поднятая встречной колонной военных машин, летела в лицо. Водитель опустил солнцезащитные щитки. Они ехали мимо стен и заборов одного из палестинских лагерей, за заборами виднелись бараки. На разделительной полосе посередине проезжей части торчали толстые обрубки — стволы пальм без макушек, кроны срезаны обстрелом. Перед тем как выехать на кольцевую дорогу, такси остановилось, улица впереди была перекрыта палестинцами в форме, но не настоящей, похоже, собранной как попало из обмундирования и самой обычной одежды.

Увидев наведенный на машину ствол пулемета, они спокойно — Лашену спокойствие далось не без труда — вытащили паспорта. Хофман же и в самом деле не терял присутствия духа — как сидел в машине развалясь, так и остался сидеть. На смуглых лицах палестинцев было выражение нарочитой, невсамделишной строгости. После проверки Лашен подумал: что ж, с ними можно иметь дело. На море лежал тусклый багровый отблеск. Такси помчалось по набережной Корниш, широкому шоссе вдоль моря, и, обернувшись назад, они увидели кружащиеся в воздухе клочки бумаги и вихри пыли.

Отель «Коммодор» стоит на мысу, в двух шагах от улицы Хамра, это довольно новая постройка в окружении офисных зданий и жилых домов, среди которых все еще попадаются приземистые старые домишки. С балконов верхних этажей отеля хорошо видны некоторые дворики и сады. Дальше, на острие мыса, высится маяк, перед ним маленькая мечеть, громкоговорители на ее минарете обращены на все четыре стороны света. Пять раз в день включается магнитофонная запись, и даже в лифте гостиницы слышен голос муэдзина. От «Коммодора» рукой подать до морского берега, можно быстро дойти пешком, выбрав любое

направление — вперед, влево или вправо.

В этом квартале разрушений нет, все цело, как и в декабре, только на тротуарах еще больше мусора, вывалившегося из бумажных и пластиковых мешков, еще выше горы отбросов, которые разносит ветер. Люди ходят быстро и выбирают пути покороче, покупки делают торопливо, в спешке едва взглянув на товар из-под развевающихся на ветру покрывал и платков, проворно снуют между машинами, а те гудят непрерывно, надрывно. Воздух липкий и зловонный, несмотря на то что к вечеру заметно похолодало. Гостиничный бой с маслянистыми, черными волосами, — похоже, упрямыми, непокорными, проводил их наверх. Хофман дал ему монету, пять ливанских лир, бой, потоптавшись немного, ушел. Оба номера рядом, на шестом этаже. Когда поднимались в лифте, подумал: а ведь лифт место опасное, если гостиницу начнут обстреливать из гранатометов. Условились встретиться позже, за ужином.

Осторожно, стараясь не шуметь, он повернул ключ в двери номера, повесил куртку в шкаф и прилег на кровать. Гудел кондиционер, легкое теплое дыхание слабо касалось лица и улетало. Арабский мир. Никогда еще тебе не удавалось узнать какой-нибудь мир, ты приезжал, наты-

кался на твердую скорлупу и уезжал ни с чем. Он встал и попытался открыть окно, это удалось. И сразу ворвался шум, насыщенный автомобильными гудками и голосами, вибрирующий шум. Просто шум, никаких выстрелов, разумеется.

Он сел за стол и на листке с логотипом отеля написал: «Дорогая Грета…» Отвлек Хофман — позвонил и сказал, что телефонная связь с городом, не говоря уж о международной, — нарушена, звонить можно только внутри отеля, а куда-то еще не стоит и пытаться. «Ага, ладно… — Он помолчал. — Ну пока». Вернулся к письму и написал три страницы, написал так, словно вел разговор с самим собой, использовав письмо к Грете как предлог. Писал легко, чем дальше, тем проще все получалось, он увлекся и был уверен, что каждая новая фраза выходит более искренней, точной, правдивой, чем предшествующая, и в словах нет его обычной неотвязной осторожности, нет каких-то недомолвок. Ему удалось заговорить с Гретой, обмять ее, да, в этой чужой комнате он сдавался без боя, без боли, это ужасно — без боли. «Я все понимаю, — писал он, — хотя ты скрываешься от меня, молча прячешься в свою скорлупу и — действительно ли это необходимо, решать только тебе — находишь себе любовников в пив-

ных или в одной из этих общих квартир-коммун… Здесь спокойно, со времени нашего прибытия ничего особенного не произошло, но я чувствую: спокойствие — это относится и к нам с тобой — в любую минуту может взорваться. Правда, я не слышал еще ни выстрелов, ни отдаленного гула орудий». Но она, Грета, — это совсем другое спокойствие, она и дети, их дом, Эльба и заливные луга, над которыми утром долго-долго стелется туман, мирная жизнь, ставшая для них обоих невыносимой именно потому, что она мирная; и это означает страшный вывод, нет, правильнее сказать — мысль, которую ни она, ни он не в состоянии выдержать. И все-таки они устроили свою жизнь гораздо лучше, чем другие, и поэтому им легче, так он считает, говорить друг с другом начистоту, высказывать все до конца. Что им мешает? Ведь нет никакой явной причины отворачиваться друг от друга, упрямо стиснув зубы, но они отворачиваются, упрямо стиснув зубы. «…Если и сам я такой, то я — вовсе не я, а кто-то, кто является моей полной противоположностью, и это мне самому непонятно, этого я не могу понять и в тебе…» Почему они не решаются выйти из своих укрытий? Потому что укрытий тогда не станет? Поэтому? Значит, на самом деле они

боятся друг друга и еще боятся, что уже не смогут слиться, исчезнуть друг в друге, боятся, что будут говорить поддельные слова, то и дело выдавая себя обмолвками? Боятся уверенности, то есть отсутствия неуверенности?... «Разве можно жить как Владимир Набоков и его жена — помнишь, мы недавно смотрели фильм об этом писателе, они с женой сидят и смотрят друг на друга в роскошном гостиничном номере? Таких отношений я тоже не понимаю. Ты прочитала „Аду" от корки до корки, я тоже хочу прочесть этот роман, я должен пройти тот же путь, какой прошла ты, должен понять то, что поняла ты...»

Он сложил листки, их было три, и сунул в конверт, но не заклеил. Прислонил письмо к ножке настольной лампы. Может быть, удастся отправить с дипломатической почтой через Каир или Дамаск. Об этом надо будет спросить Ариану Насар, переводчицу и журналистку, служащую посольства ФРГ, с ней он часто виделся в декабре, в свой первый приезд.

Письмо, в котором он все написал, все высказал, подрагивало в потоке воздуха, струившегося из кондиционера, изредка на секунду отрывалось от лампы, потом возвращалось на место, и почему-то он вдруг пожалел, что написал это

письмо, довольно долго смотрел на конверт, но тем и ограничился, пошел в ванную, открыл воду, стал распаковывать чемодан. За окном стемнело, из-за яркого света в номере он почувствовал себя беззащитным, но в течение некоторого времени — пока ходил, развешивая и раскладывая по местам одежду и прочее, — упрямо терпел неприятное ощущение, как будто кто-то за ним наблюдает, пристально следит за каждым его шагом, и лишь перед тем как забраться в ванну, опустил неподатливую раму и задернул занавески.

Лежа в ванне, почитал исследование Хоттингера об арабах, но мысль ускользала, прочитанное, по правде говоря, не воспринималось, а все потому, что текст пошловат, напоминает рекламные туристские проспекты, к тому же в голову лезло много чего другого, скажем, что, разбирая вещи, он заглянул в боковой карман чемодана и посмотрел на нож, однако не вынул его, подумал только, что надо бы спрятать получше; да, но где? Чего доброго, придется постоянно держать нож при себе, носить, пристегнув кожаным ремешком к ноге под коленом, мало радости, что и говорить… Может, вообще глупость — то, что он взял с собой нож? Зря, пожалуй, привез, как

бы не было неприятностей, а то и в опасную ситуацию угодишь с этим ножом… Не ванна, а недомерок, вытянуться как следует нельзя. Он отложил книгу. Как приятно спокойно лежать в горячей воде, ни о чем не думая, чувствуя, как на лбу выступают капли пота.

Потом он лег на кровать поверх одеяла и, обсыхая, завел дорожный будильник, тот тикал то громче, то еле слышно, и так же неровно гудел кондиционер. К правой лодыжке он пристегнул нож, дурацкий дешевый жест, да только кто его знает, легко ведь можно влипнуть в такую историю, когда неплохо иметь при себе оружие, когда оно очень даже может пригодиться. Все вокруг потонуло в темноте. От плеча пахло гелем для душа.

Утром он не стал перечитывать письмо, не хотелось. Быстро заклеил конверт и поставил на старое место, у лампы. Сегодня он не будет заниматься отправкой письма. Почему? Есть причины. И не одна. Надо повременить.

3

В Хофмане с его силищей и определенностью натуры в общем-то нет ничего загадочного. Должно быть, он просто не может иначе — любое выражение чувств да и любая мысль, если они выходят за рамки примитивной необходимости, вызывают у него презрение. В этой слоновьей непрошибаемости, думал Лашен, проявляется эгоизм, у Хофмана существует свой собственный стандарт, до которого не дотягивают все остальные, жалкие слюнтяи. Хофман — живое воплощение допотопных представлений о настоящем мужчине, который своим угрюмым молчанием мигом дает понять говорливому собеседнику, какое тот ничтожество. И хоть бы раз Хофман в чем оплошал. Костюм американского охотника-траппера, ковбойские сапоги, прямые как проволока длинные патлы ни у кого не вызывают усмешки, все это будто срослось с ним и не выглядит диким или пошлым. В Чили они тоже ездили вместе с Хофманом, несколько недель работали там, вплоть до того дня, когда был убит Альенде. Людям, которых Лашен интервьюиро-

вал, Хофман крепко пожимал руку, но на самом деле не интересовался ими, вид у него всегда был такой, словно он давным-давно прочитал все посвященные им донельзя скучные публикации. Хофман фотограф, вот и интересуется своими прямыми обязанностями, фотографирует, меняет пленку в аппарате, объективы. Мысли, вымыслы, замыслы — этим Хофман не любит делиться, а если говорит о чем-то подобном, то в итоге все опять сводится к тому же: всем, кроме него, лучше помалкивать. В целом его толстокожая натура неуязвима. Хороший фоторепортер — на этот счет в редакции ни у кого нет сомнений, — не сорви-голова, но и не робкого десятка парень, постоянно занятый только собственной персоной, как бы отгородившийся от окружающих неколебимой стеной, вне которой его ничто и никто не волнует. Хофман не способен вообразить себе какую-то ситуацию, вжиться в нее, думал Лашен, он ее только оценивает, видит в ней то, что самому хочется видеть, но очень быстро адаптируется. У него не бывает предчувствий, он не замечает, если что-то надвигается, а вот на события реагирует мгновенно, и, несмотря на полное отсутствие чутья, врасплох его не захватишь. Иногда казалось, что молчаливость Хофмана,

которая проистекает, должно быть, вовсе не от великого ума, не таит множества замечательных невысказанных мыслей, эта молчаливость и оскорбительно сочувственное выражение в его глазах на самом деле все же скрывают что-то еще, какую-то уверенность, какое-то подкрепленное тайной осведомленностью понимание дела. Но чаще Хофман невольно выдавал себя, и оказывалось — ничего за душой у него нет, кроме топорно-хитрого умения устраиваться в жизни. Сомнения? Он вообще не знает, что это такое. Сомневаться — его, Лашена, призвание. А Хофману сомнения чужды, он человек дела, действует просто и по-мужски. С первых дней их знакомства Лашен обратил внимание на эту особенность — Хофман не любит задавать вопросы и ни капли не смущается, попадая впросак, если выясняется, что он лишь притворялся осведомленным, а на самом деле понятия не имеет о каких-то вещах. Словесный аспект человека, речь, попытки что-то выразить словом, его не интересуют, во всяком случае он относится к ним с ледяным равнодушием. Любопытно, молчание какого сорта он припас для Анны? Какими приёмчиками уламывает ее, подчиняет своей воле, держит в рабской зависимости от своих слов,

которые на самом деле не-слова, ибо их нет, а значит, Хофман остается непроницаемым, это человек, который никогда не совершит главной ошибки — не позволит кому-то подступиться к себе. Да, но что Анна говорила? Что он всячески унижал ее, сравнивая с бывшей женой, а это уже слабость, промашка, ведь просто невозможно вообразить: Хофман — и вдруг откровенничает, не мог он разговориться на подобные темы. Анну Лашен и раньше знал, а теперь вот переспал с ней, с этой женщиной, обокраденной Хофманом, нет, хуже — настолько задавленной, что о ней даже вспомнить нечего. Бил ли ее Хофман? Наверняка! А чего еще от него ждать. Так он развлекается, так изгоняет из сердца тайный страх, о котором никто не должен догадаться.

В ресторане было довольно много народу, все — обитатели отеля. Для Лашена и Хофмана нашелся столик у прохода, по которому сновали туда-сюда официанты. Они заказали арак, бесцветную анисовую водку, которую пили, разбавляя водой, и меззе — жареную и вареную рыбу разных сортов, еще им подали разные салаты в маленьких мисочках. Официант принес также несколько белых лепешек. В меню была приписка от руки: хлеб ограничен, большие трудности с подвозом

муки. Зато было предостаточно помидоров, зеленого лука и петрушки, а также хуммуса — пюре из фасоли.

В отеле проживали в основном ливанцы: коммерсанты, которым стало невмоготу сидеть дома в четырех стенах. Зал ресторана тонул в густой бархатной тени. Хофман узнал одного официанта — тот раньше работал в отеле «Финикия» — и сказал об этом Лашену. Потом, они уже принялись за еду, Хофман изрек: христианские подонки собираются устроить резню мусульманских подонков в квартале Карантина.

— Откуда информация?

— Сегодня телепередачу посмотрел. Новоявленные эсэсовцы в масках, киллеры, люди Катаиб.[1] Трупы тоже показали, несколько убитых, но это не фалангисты.

Вдруг показалось, что нож, пристегнутый ремешком к лодыжке, отстегнулся, Лашен ощупал его сквозь брючину, нет, все в порядке, нож на месте. Официант, который раньше работал в «Финикии», кивнул им, проходя мимо, они кивнули в ответ.

Подали кофе и по рюмке коньяку — угощение,

---

[1] Примечания: 1

От *араб,* «фаланги»; организация фалангистов, христианское ополчение. — *Здесь и далее прим. перев.*

поставленное администрацией отеля. Не обсуждали, но и без слов было ясно, что после ужина они пойдут в город и поищут, нет ли где открытого бара, чтобы выпить как следует. Счет принесли солидный — цены с декабря подскочили почти в два раза. Хофман подписал счет и положил на стол чаевые.

В холле навстречу им попались три американца, молодые парни, одного, Марка Падноса, они знали, в декабре он тоже останавливался в «Финикии». Немного поговорили. Двое других, один — фотограф со здоровенной сумкой через плечо, со всеми причиндалами, выглядели как прожженные искатели приключений. Паднос сказал, вечером они все трое обычно поднимаются в горы и оттуда, сверху, наблюдают за ходом войны, но горы — место небезопасное, даже наоборот, именно в горах идут самые ожесточенные бои. Когда они попрощались с американцами и вышли на улицу, Хофман пренебрежительно бросил:

— Шуму-то… Ударники из бит-группы.

Лашен ухмыльнулся.

На улице Хамра машин было совсем мало, и все гнали на приличной скорости, некоторые частные легковушки были покрашены желто-

зеленым, для маскировки. Железные жалюзи на окнах лавок, дверях гаражей и домов были опущены, стулья перед уличными кафе составлены пирамидками и привязаны цепями. Возле освещенных дверей кинотеатра шумели и бурно жестикулировали подростки, все с автоматами; вдруг они разом перестали смеяться, как по команде замерли и молча проводили глазами Хофмана и Лашена. Через улицу перешла крыса, неторопливо, строго по прямой, будто игрушка, которую тянут на веревочке. Потом встретился патруль, шесть человек с автоматами Калашникова, обмундирования настоящего ни у кого нет, многие в джинсах и теплых спортивных куртках. Патруль двигался медленно, растянувшись по всей ширине мостовой и тротуаров. На Лашена и Хофмана эти шестеро едва посмотрели, но в быстром взгляде одного из них Лашен прочитал — его принимают за полоумного туриста, приехавшего сюда сдуру.

Несколько раз небо озарялось мерцающими огнями, в следующую секунду раздавались взрывы, целые серии, различной силы. Хофман вроде хотел что-то сказать, но лишь искоса поглядывал на Лашена. Они свернули в поперечную улицу и спустились в подвал. «Бар Де Лилак». Над входом

тянулся провод с разноцветными лампочками. Их встретила пожилая блондинка, радушно, как старых знакомых, хотя знать могла только Хофмана, который бывал здесь и раньше' Она и Лашена одарила взглядом, говорившим, как она счастлива видеть «дорогого мальчика», и долго не отпускала его руку, гладила пальцы. «Дела, — сказала блондинка, — идут неважно, так что мы тем больше… ох, да что ж это я! Не тем больше — мы всегда рады дорогим гостям!» Хофман уже прошел вперед, сбросив пальто, миновал бар с обитыми кожей табуретами и осматривался в дальнем помещении. Лашен остался у стойки, за ней сидели двое, поглощенные беседой. В баре хозяйничали две девицы, блондинка и брюнетка, обе в платьях с глубоким вырезом, голые спины отражались в зеркалах между полками, на которых стояла выпивка. Пожилая блондинка в просторном пестротканом жакете подошла к Лашену и принялась расхваливать удобные полукруглые ниши с диванчиками красного бархата, тянувшиеся вдоль стен бара, но в действительности намекала на девиц, которые рядком сидели на стульях во втором помещении; девицы призывно улыбались Хофману, а тот беззастенчиво разглядывал их одну за другой, по очереди. У

девиц были бледные, даже голубоватые лица. Хофман вернулся к стойке, хозяйка, пожилая блондинка, угодливо заулыбалась. Все так же по-английски обращаясь к Лашену, она заверила, что дорогие гости могут чувствовать себя в полнейшей безопасности, у нее в заведении никогда еще не бывало, чтобы кто-то или что-то помешало гостям, дело в том, что у нее имеются друзья, которые следят за порядком, «certain very important friends».[2] Хофман крутанулся на табурете и опять в упор уставился на девиц, все так же сидевших рядком на стульях, у тех сразу сделался огорченный и обиженный вид — что ни мордашка, то сожаление об упущенном прекрасном шансе. Дамочек за стойкой Хофман тоже окинул пренебрежительным взглядом, словно хотел сказать: для начала пусть докажут ему, что они вообще не пустое место. А Лашену этот взгляд, очевидно, должен был сообщить о существовании совсем других баров и совсем других женщин, вообще о другом мире, о котором Лашен, разумеется, понятия не имеет, и в том, другом мире не болтают, а прямиком переходят к делу.

В декабре Хофман часто приводил к себе в но-

---

[2] Примечания: 2

Уверяю вас, мои друзья очень важные люди *(англ.)*.

мер женщину, которую за глаза поносил почем зря: влюбилась в него, видите ли. Когда он заглядывал к ней В бар, она якобы ловко вытягивала у него кучу монет. Однажды он в присутствии Лашена дал ей пощечину. А в «Финикии» он приударял тогда за двумя француженками, которые щеголяли то в джинсах, то В изысканных вечерних туалетах. Помнится, Хофман рта не закрывал, молол языком как заведенный, физиономия багровая, жесты красивые, четкие. Но если завтракал в ресторане с очередной пассией и приходил Лашен, то Хофман переставал замечать женщину, словно вообще забывал о ней, и, развернув план города, намечал разбойничьи набеги с фотоаппаратом наперевес, ставил тут и там красные крестики. Хофман внимательно следил за событиями, слушал радио Монте-Карло, читал телетайпные сообщения. Но никогда не заводил деловых знакомств, в отличие от Лашена, который как раз благодаря личным контактам устраивал интервью и нужные встречи.

Две девицы, из сидевших рядком, снова решили попытать счастья и медленно подошли к стойке. Попросили взять им коктейль, Хофман заказал, но когда девицы хотели сесть между ним и Лашеном, живо их выдворил, и те, с бокалами

в руках, вернулись на свои стулья.

Хозяйка привела двух новых посетителей, оба пожилые, лет под шестьдесят, один ковылял на костылях, левая штанина, пустая, была подвернута и приколота булавкой. Эти люди говорили по-немецки, одноногий — с сильным арабским акцентом, часто упоминал о своей жене. Они сели за столик и заказали бутылку виски. Девицы, выждав некоторое время, подошли к ним и попросили угостить. Вскоре принесли разлитое по бокалам шампанское, и девицы, которым пришлось так долго дожидаться, наконец вздохнули с облегчением. Спустя несколько минут за столиком уже установилось доброе согласие. Девицы слушали разговор мужчин, их лица выражали полнейшую готовность к пониманию всего на свете, о чем бы ни зашла речь. Та, что села рядом с одноногим арабом, ощупала костыли, словно это живые конечности, потом с любопытством воззрилась на свешивавшуюся с кресла подвернутую пустую штанину. Одноногий ухмыльнулся, довольный ее вниманием, но откинулся на спинку кресла и продолжил разговор. Его собеседник сидел, положив руку на плечи другой красотки, он поглядел на Лашена с Хофманом и кивнул: «Привет!» Лашен прислушался к произношению

немца и заключил:

— Готов поспорить, вы гамбуржец. Но оказалось, тот из Франкфурта.

— Меня зовут Рудник. Наверное, мы с вами виделись в отеле, знаете ли. А это мой друг Жорж. У них с женой — она немка — ресторан тут, немецкая кухня. Вы еще не были? Называется «Ренания». Найти легко, могу объяснить, где это, сейчас, правда, в том квартале малость неспокойно: постреливают.

А вот это как раз интересно, подумал Лашен. Рудник сказал еще что-то, кажется о рейсах «Люфтганзы», но что именно — было не понять, в баре гремел рок — старая, заезженная пластинка «Роллинг Стоунз».

Дураку ясно: Хофман не прочь остаться здесь допоздна, чтобы в конце концов завалить-таки одну из девиц. Иначе с чего бы он так ерзал и крутился на своем табурете? Уже на взводе, конечно, — движения стали резкими, отрывистыми. Лашену это было знакомо. Когда Хофман напивался, где-нибудь в баре, развалясь на мягких диванных подушках, его иногда вдруг начинало буквально распирать от общительности и довольно своеобразного, грозно-свирепого, но при том заразительного веселья. Физиономия Хофма-

на тогда озарялась вспышками лукавого задора, глаза хитро поблескивали — где, спрашивается, в каких потаенных закоулках все это пряталось в иное время?

Они вполголоса, пригнувшись друг к другу, обсудили завтрашние дела. Ничего определенного пока не намечается, сказал Лашен, прежде всего надо восстановить старые знакомства и контакты, вообще осмотреться, выяснить, что тут изменилось с декабря, что в общей картине вышло на передний план. Лашен еще в Гамбурге слышал по радио сообщения о резне, впрочем крайне расплывчатые. Кажется, в Дбие, то есть на северной окраине Бейрута, фалангисты устроили жестокую расправу над палестинцами христианского вероисповедания, в Карантине сожгли лачуги бедняков, и в кварталах, прилегающих к площади Мучеников, расстрелы были не случайными, производились планомерно, серийно. Лашен подумал о Грете, потом об Ариане Насар, с которой решил завтра непременно встретиться. Желание увидеть ее вдруг стало необычайно сильным; странно, подумал он, дома, в Гамбурге, почти не вспоминал о ней.

4

На ночь он притворил окно, оставив щель, и утром был разбужен птичьим гомоном, в номере выше этажом глухо шумела вода в ванной. Наконец открыв глаза, он в ту же минуту услышал и голоса в коридоре. Непонятное чувство, совершенно необоснованное — как будто он что-то прошляпил или запорол какое-то важное дело, только вот какое? Ведь первого, решающего шага он еще не сделал, значит, не допустил и никакой оплошности, если не считать вчерашнего посещения бара, которое, разумеется, было пустой тратой времени. Железобетонный Хофман. Анна разбилась в лепешку об эту глыбу, ничего другого и быть не могло… Интересно, как же тот одноногий, араб, вчера поздним вечером ухитрился добраться на Рю Хамра. А с немцем, Рудником, надо будет при случае поговорить. Как видно, у этого немца есть некие таинственные причины находиться здесь, в Бейруте, странный персонаж, с виду чистенький, чистоплотный, но тем не менее вчера он показался довольно-таки распущенным типом. Сегодня утром ни малейшего

желания встречаться с ним, впрочем, с Хофманом тоже. Почти десять уже. А дома сейчас на два часа меньше. Верена увезла детей в садик, Грета опять прилегла, заснула. Небо синее, только вдали над самым горизонтом повисли пышно взбитые, пухлые облака. Заливные луга вдоль Эльбы расплываются, краски все бледнее, и наконец уже нет ничего отчетливого, не видно ни изгородей, ни заборов. Льдины на реке кружат, доплыв до водоворота у молов. Старый крестьянский дом, фахверк с дубовыми балками, со стенами, сложенными из розовато-рыжих кирпичей, высушенных не в печи, а на воздухе. Стены тлеют тусклым пурпуром в лучах утреннего или закатного солнца, а дом словно прижался к земле или, может, скорчился, втянув голову в плечи. Когда-то ты первым заметил необычайную игру красок, загадочный и только тебе одному видимый свет, струящийся от стен. И сказал об этом Грете. Но все ее попытки сделать фотографию окончились неудачей — при увеличении ничего не получалось, вернее, получалось совсем не то, что ты видел. Может быть, Грета по-настоящему так и не разглядела этого особого отсвета, подумал он, потому и снимки его не передали. Вся восточная стена от фундамента до остроконечной крыши

увита диким виноградом. Из окон на верхнем этаже можно увидеть земли по ту сторону границы, другое государство за Эльбой, там в ясную погоду возникала точная копия того, что было и в здешнем мире: приземистые крестьянские дома и дворовые постройки в окружении огромных деревьев. Два хлева в доме, по обеим сторонам сеней, были перестроены и расширены, в них теперь жилые и рабочие комнаты, там же фотолаборатория Греты. А в сенях качели — досочка и две веревки; когда дети не качаются, качели подняты и висят на гвозде. Возле противоположной стены стол с ножками как у козел, старый стол, деревянный, побелевший от времени.

Вот он сидит за этим столом, стиснув кулаки, кусая губы от бездеятельности. Рубаха тесна, в прорехах между пуговицами проглядывает поросший рыжими волосами живот. Не мог заставить себя чем-то заняться, все казалось тщетным, никому на свете не интересным. Он просматривал пачку ливанских фотографий, на обороте каждой наклеена плотно исписанная небольшая карточка с пояснением: место, время, иногда, редко, — имена сфотографированных людей. На большинстве фотографий — мальчишки, юнцы, кто стоит, кто сидит, жестикулирующие,

вооруженные. Автоматы, висящие на плечевом ремне, явно слишком большие для щуплых подростков, мешают им, не дают свободно двигаться. Почти на всех снимках стволы опущены — так положено; это важное правило они, как видно, быстро усвоили. С улицы вбежали дети — Верена привела из детского сада, — рассказали, как прошел день, ничего особенного не случилось, но для них все было важно. Верена занялась обедом. Когда же Грета пришла домой? Почему в тот день он решил позвонить в редакцию? В газетах ежедневно помещали сообщения о событиях в Ливане. Может быть, редакция снова направит его в Ливан? Но он заметил, что в Гамбурге журналистам уже приелись репортажи о затянувшейся войне на Ближнем Востоке, а это верный признак того, что материалы наводят скуку и на читателей. Затянувшаяся война такое же снотворное, как и отсутствие войны. Наверное, в Чили пошлют. Международная амнистия только что передала в редакцию фотографии, сделанные в Чили, и записанные рассказы людей, подвергшихся пыткам. Чем не повод показать читателям орудия и исполнителей? Чем не предлог снова направить в Чили журналистов? Грета… с Гретой он спал, да, несколько раз, после своего возвращения из

Бейрута, в декабре, он вернулся незадолго до основном палестинцы и неимущие мусульмане, по ночам подвергается непрерывным обстрелам, то же самое сообщалось о ближайшем к Карантине квартале Маслах. Через Баб-Эдрис и квартал шикарных отелей на берегу бухты Святого Георгия все еще проходит своеобразная граница, в сущности — фиктивная, потому что каждую ночь она устанавливается заново, вернее, заново обозначается новыми ударами и разрушениями. Эта линия тянется до Рю Дамас. Непрерывно идут бои у площади Мучеников и Музейной площади. Вот уже несколько недель многоэтажные дома вдоль линии границы захватывает то одна, то другая сторона. Вот уже несколько недель днем кипит торговля — идет обмен заложников, взятых ночью. В остальном же в дневное время почти всюду спокойно, на свет вылезают люди, которых все уже считали погибшими, днем жизнь упрямо заявляет о себе. Снова, вот уже в который раз, вспомнился старик Муслим, торговец, он торговал гребешками, брошками и прочей дребеденью. В тот декабрьский день он разложил свой товар на постеленном на землю платке, перед развалинами, которые после обстрела остались от въезда в гараж. Вокруг Муслима вертелась ребятня, дети

глазели на старика, но держались поодаль, под руку не лезли, и вдруг его сбил с ног выстрел, старик рухнул на землю как подкошенный, с его ноги слетела сандалия, он приподнялся, теребя и оправляя сбившуюся одежду, но в ту же минуту его поразил второй выстрел, и больше он не шевельнулся. Детей как ветром сдуло. Чуть позже — ты некоторое время смотрел на окна и крыши — исчезли и все его товары, и платок. Вторая сандалия, с ноги, тоже пропала. Этот эпизод вошел в одну из твоих статей.

Лашен списал в блокнот несколько фактов, упомянутых в телексах, прежде всего цифры, отнес телексы обратно в кабину, затем, оставив блок сигарет у портье в ячейке для ключа и почты, вышел на улицу. Один из менял уже открыл свое окошечко на Рю Хамра. Лашен попросил обменять марки по курсу, который вчера запомнил в аэропорту, за двести марок получил четыреста десять лир — в общем, без потерь. Торговцы катили по мостовой громыхающие ручные I слежки, нагруженные сладким перцем, баклажанами, помидорами и бананами, увенчанные громадными пучками зелени. Автомобили, задиристо сигналя, едва продвигались в толпе и выписывали замысловатые зигзаги. В лавках и кофейнях

железные жалюзи на окнах и дверях были подняты только наполовину высоты, хочешь войти, изволь согнуться в три погибели. А вот — кофейня, открытая по-настоящему, там толпятся люди, едят кто кебаб, кто гамбургеры. На тротуарах бойко идет торговля, прямо на земле громоздятся пирамиды из ящиков с виски и сигаретами. Кругом полно белых кепочек с пластмассовым козырьком и красной рекламой «Мальборо».

На перекрестке Лашен взял такси. Упрашивать не пришлось — водитель сразу согласился ехать в Ашрафие, а оттуда на улицу Мазра, чтобы затем вернуться на Рю Хамра, маршрут не из дешевых, сто лир. В отеле «Холидей Инн» из десятка выбитых окон тоскливо тянулись струйки дыма, стены сверху донизу усеяны выбоинами от снарядов, издали казалось, стены покрыты сеткой или испещрены порами, крохотными, не больше булавочной головки. Дальше, где был старый торговый центр, по-здешнему «сук», все топорщилось как щетина, всюду всклокоченная бахрома, повисшие лохмотья, и посреди всего шумел базар, ведь базары всегда первыми возвращаются к привычной жизни, и похоже, недостатка в товарах не было, краски сверкали, яркие, как всегда, и на всю округу разносились кричащие голоса про-

давцов, и тут же кричащие, неживые химические краски — это блузы, рубахи, пиджаки и всевозможная домашняя утварь, лампы, светильники. На всех перекрестках, на всех углах — баррикады из мешков с песком и пустые пулеметные гнезда. Обвалившиеся или едва держащиеся железные балки с кусками бетона, разбитые своды, груды щебня и камней, горы обломков, сплавленные жаром глыбы пластмассы и металла, потрясенная плоть зданий, низвергнутая в состояние изначального хаоса, с обнажившимися подкожными тканями, с голым костяком и вылезшими наружу волокнами. Исполосованная огнем и гарью облицовка стен, обрушенные лестницы. Но банки на Рю Рияд эль Сульх не пошатнулись, стояли незыблемо, лишь чуть-чуть поцарапанные, — уцелевшая улица среди развалин. Говорят, их безопасность оплачена, противники, та и другая сторона получили солидные суммы. Весь квартал просматривался насквозь, в нем зияли пустоты, крупнозернистые, рыхлые, весь квартал был словно пропущен сквозь крупную терку, невероятно — кое-где уцелели отдельные здания, как бы выделенные, особо отмеченные, но какая же издевательская насмешка — жить в них!

На руках у водителя, выше локтей, Лашен

заметил татуировку, но разглядеть, что изображено, не удалось, хотя при каждом повороте рукава высоко задирались. Вскоре пришлось притормозить — дорога впереди была перекрыта фалангистами. Юнцы в черных беретах чуть не по пояс просунулись в окна машины и велели Лашену предъявить документы. Водителю — тот, оцепенев, не отводил глаз от дороги, словно и не переставал вести машину, — просто кивнули. В стороне, прислонившись спиной к забору, стоял боец Катаиб в черных блестящих сапогах, в черной маске вроде капюшона, закрывающего все лицо. Изо рта торчала сигарета, дым выползал из прорезей для глаз и внизу, из-под краев капюшона. На груди висели на грубых цепочках хромированного металла три креста с изображением Распятого. Человек в маске отлепился от стены и, лениво волоча ноги, подошел к машине, но остановился за спинами мальчишек. Те по-французски спросили Лашена, проживает ли он на улице Хамра, и, получив утвердительный ответ, потребовали объяснить, почему именно там. Лашен оказал, что в Ашрафие — христианском районе — не знает ни одного приличного отеля. Он был абсолютно спокоен. Спокойно разглядывал мужчину, стоявшего за спинами

мальчишек, оружия в руках у него не было. В его повадках сквозило что-то безутешное, трагическое, как у раненного в брюхо и покорившегося своей участи зверя. Глаз не было видно — только влажный блеск в прорезях маски. Унылое, притихшее создание, вокруг которого все уже мертво, все раздавлено. Мальчишки вернули Лашену паспорт и о чем-то быстро по-арабски переговорили с водителем. И тут голова в черной маске вынырнула возле окна рядом с Лашеном.

— Вы же немец. Вы знакомы хотя бы с одним из лидеров христиан?

От неожиданности Лашен улыбнулся.

— Да, — ответил он. — Я был гостем в доме Жмаеля.[3]

Мужчина пожал ему руку и дал водителю знак ехать дальше.

В этот раз Ашрафие показался всхолмленным. Он и был всхолмленным. Дым ел глаза, Лашен широко раскрыл их. Весь район казался мирным и тихим, утренним, свежим от росы, хотя солнце поднялось уже высоко. В тенистых садах, окру-

---

[3] Примечания: 3

Пьер Жмасль — глава христианской фалангисгской партии Ливана, его сын Бсншр Жмасль — командующий Катаиб, или «фалангами» — отрядами христианского ополчения, позднее был избран президентом Ливана, но в 1982 г. был убит при взрыве бомбы, не успев занять свой пост.

жающих виллы, гуляли родители с детьми, возле прыгали пудели. На склоне холма была терраса, вся застроенная домами, обсаженная пальмами и кипарисами, у которых здесь, в Ашрафие, был высокомерный вид. Все подстрижено, прибрано, полито, господский порядок, ханжеский, застывшее ханжество благосостояния; ага, все-таки и тут кое-что есть, он с удовольствием пересчитал немногочисленные выбоины, оставленные снарядами, и несколько разбитых и сожженных комнат в домах.

Водитель восхищенно рассказывал о Джунии, в прошлом — рыбачьей деревушке в пятнадцати километрах к северу от Бейрута, теперь это город, и он должен стать новой, христианской столицей Ливана, с морским портом и аэровокзалом. Он грезил наяву о гостиницах и пляжах, пытался убедить Лашена, что жить надо только там, что им стоит немедленно туда поехать и все осмотреть. Лашен отказался и снова напомнил, что на обратном пути нужно непременно проехать через Мазру. Перед воротами в длинной каменной стене, выкрашенной в белый цвет, с примитивными рисунками, на которых были изображены сражающиеся солдаты, пришлось ждать — навстречу туго, медленно выползала

колонна военных машин, последним выехал танк, весь в белых арабских письменах и с большим стальным распятием, земля дрожала под его гусеницами, из башни выглядывал солдат с четко очерченным худым загорелым лицом, в шлеме с наушниками. Лашен спросил, чьи войска, может быть, это люди Шамуна?[4] Водитель подтвердил. Танк вдруг резко остановился, и ствол орудия пошел влево, потом вправо, опять влево… Внезапная перемена темпа — на миг показалось, угрожает сама неживая материя. Водитель сказал, что войска Шамуна заключили союз с людьми Абу Арза. Лашен о союзе слышал — в декабре было множество сообщений о его кровавых делах. Союзники придумали себе имя — Стражи кедров, это была малочисленная, отлично вооруженная и крайне жестокая армия, подчиненная частным лицам армия ливанских христиан-маронитов, в декабре она захватывала и грабила горные мусульманские селения. Марк Паднос рассказывал о том, как побывал в штаб-квартире Абу Арза. Стражи кедров — точная копия эсэсовцев, к такому он пришел выводу. Время — почти час дня. Они приближались к Рю

[4] Примечания: 4
Камиль Шамун — президент Ливана до 1976 г.

Дамас, здесь многие дома разрушены обстрелами, сожжены, в бывших садах вдоль улицы, среди деревьев стояли глубоко зарывшиеся в землю танки со стволами, наведенными на Музейную площадь. Возле огневой точки на бруствере из мешков с песком сидел ребенок, кудрявый мальчишечка, болтал ногами и о чем-то рассказывал другому, постарше. Тут же слонялись, покуривая, несколько мужчин в военной форме. Выстрелов слышно не было. Из дымящихся развалин люди выносили на улицу мебель, укладывали в кузов грузовика, привязывали веревками.

На углу Музейной площади было заграждение, за которым вели наблюдение пулеметчики. На проезжей части на одинаковых расстояниях друг от друга стояли старые дырявые бочки со смолой, вечером в них разводят огонь. Патруль остановил такси. Лашену, уже забрав у него паспорт, приказали выйти из машины. Водителю тоже; бормоча ругательства, он открыл багажник, в котором не было ничего, кроме запасной канистры, буксирного троса и молотка. Два мальчугана, едва не лопавшиеся от сознания собственной важности, обыскали Лашена, ощупали при этом и ноги, он близко увидел дула автоматов — две черные, чуть зазубренные по краям дыры раскачивались

перед его грудью. Обыск длился долго. Он чувствовал только нетерпеливое желание, чтобы все наконец разрешилось, хоть чем-то, чем угодно. Что его ждет? Получит пулю с другой стороны, от врагов этих людей? Или пройдет немного времени, и он, целый и невредимый, поспешит навстречу Ариане в холле «Коммодора»? Обыск был окончен, и он не понимал, почему один из людей в военной форме обмахивается его паспортом, будто веером. Водителю разрешили снова сесть за руль, а его почему-то заставляли ждать, наконец один из парнишек обернулся и, протянув руку, потребовал 25 лир — пожертвование на войну, взнос на вооружение или пошлину за переход границы. Лашен, недоумевая, спросил, с какой стати? Тут солдат отвернулся и зашагал прочь, не отдав паспорт.

— Ладно!

Он заплатил и моментально получил паспорт назад.

На противоположной стороне площади — аналогичная сцена, аналогичная процедура. Мусульмане спросили, сколько с него взяли. Услышав ответ, сокрушенно покачали головами, как бы извиняясь за неподобающее поведение своих родичей. Точно так же проверили багаж-

ник — водитель теперь уже не ругался, — потом смущенно повертели в руках паспорт и разрешили ехать дальше. Поехали через Мазру, развалин здесь было гораздо больше. Местами груды обломков не загромождали лишь узкую полосу на середине улице. Следующий пост был палестинским, тут им просто махнули рукой — проезжайте! Лица у патрульных замотаны мокрыми тряпками, низко над дорогой стелется густой черный дым — грозное напоминание о смерти и мщении: дети бросали в огонь старые автопокрышки. Лашен и таксист сразу подняли стекла, но машину уже наполнила едкая вонь. Таксист тер глаза. Он прибавил скорость и только раз затормозил, чтобы купить у старухи в чадре пучок петрушки.

Выехали на набережную Корниш, машина полетела стрелой, и Лашен, обернувшись назад, опять увидел кружившиеся в воздухе клочья бумаги. Вскоре на берегу показались пляжи со скалистыми гротами, а с другой стороны шоссе новые высотные дома, многие еще недостроенные, похожие на опутанные строительными лесами железобетонные шахты лифтов. Такси остановилось. Между недостроенными домами тянулись пустыри, гряды желто-рыжей земли,

кое-где поросшие чахлой сухой травой, в отдалении паслись овцы. Водитель пошел по тропке, которая наискось спускалась по склону холмистого берега к морю. Лашен нерешительно выбрался из машины и остановился, опершись руками о капот. Чувство страха, вялая пустота, внезапно накатившее отрезвление — хотелось скрыть их, но все-таки он против воли затряс головой.

— I'll show something to you![5]

Нет, нет, нельзя же допустить, чтобы водитель позвал еще раз. Он зашагал вниз по тропке, петлявшей между высокими тростниками или осокой, дальше она пела через огромную, расползшуюся во все стороны свалку и огибала выступы скал, наконец они вышли па прибрежную полосу песка, водитель шел впереди, пригнувшись к земле, словно всем своим видом хотел от чего-то предостеречь. Утесы спускались почти к самой воде, образуя причудливые громоздкие кулисы. Наверху, прямо над головой, тянулся поросший кустами скальный карниз вроде широкого козырька. Груды мусора не везде сползали вниз на берег, но всюду валялись клочья бумаги, тряпье, консервные банки, ржавое железо, бутылки.

---

[5] Примечания: 5
Хочу показать вам кое-что! *(англ.)*

Вслед за водителем он вскарабкался немного выше и перебрался через скалу, которая довольно далеко вдавалась в море. Они очутились в нише наподобие грота. На песке валялись черные кости, черепа, челюсти, ребра. Песок тоже был черным, словно пропитанным нефтью, в дальнем углу были свалены размокшие газеты и картонные коробки, которые, очевидно, использовались для разведения огня. Казалось, ничего не почувствовал, только шум прибоя раздавался словно где-то в нем самом, в груди, грохотал все крепче, бил все сильнее по оглушенным нервам. Нет, не было безмолвного возмущения. Композиция из человеческих костей — именно так он подумал: «композиция» — была полна покоя, просто картина на песке, знак, который о чем-то сообщает, кости это кости, некие символы, и в то же время — всего лишь кости, и порывы ветра пролетали над ними, слабые, влажные. Никакой опасности. Водитель не торжествовал сверх меры, просто хотел посмотреть на изумленное лицо своего пассажира. Вокруг, на берегу и на море, ни души, солнце скрыто приятной легкой дымкой. И пожалуй, без пальто у воды холодновато.

— Would like to see more?[6]

Он отрицательно покачал головой.

— I show you. I know many places. Little money.[7]

Он отказался. «Нет» прозвучало глухо, сдавленно. Он заметил, что из бокового кармана водителя торчит толстая пачка денег.

— Could even happen to you,[8] — улыбаясь, сказал водитель, без злорадства — вежливо, с некоторой гордостью. — They would kill you for ten pounds, for less then ten pounds, for one pound they would kill you, they would kill you even without any reason.[9]

Тон у водителя был настойчивый, можно подумать, ему очень не хотелось, чтобы турист упустил хороший случай осмотреть некую особую достопримечательность. А ты, подумал Лашен, хладнокровно и внимательно запоминаешь каждую мелочь.

---

[6] Примечания: 6

Хотите увидеть что-то еще? *(искаж. англ.)*

[7] Примечания: 7

Покажу. Я знаю много других мест. За небольшие деньги *(искаж. англ.)*

[8] Примечания: 8

Такое и с вами может случиться *(англ.)*.

[9] Примечания: 9

Они убьют вас за десять фунтов, меньше чем за десять фунтов, за один фунт убьют, они убьют вас даже без всякой причины *(англ.)*.

Они с водителем начали медленно подниматься наверх, теперь Лашен шел впереди; уже в машине он почти равнодушно подумал, что все время держался спиной к этому человеку, не вызывавшему доверия.

Вернулись к отелю, Лашен заплатил сто лир, как договаривались. Водитель быстро переложил деньги в левую руку и опять подставил ладонь. Похоже, он едва сдерживал злобу. Лашен хмуро спросил, чего ему надо, и, услышав ответ, даже не понял, пока водитель не повторил настойчиво: «The bones, the bones».[10] Не глядя на него, Лашен высыпал в подставленную ладонь всю мелочь, какая была в кармане. Фунтов восемь или десять, наверное.

---

[10] Примечания: 10
Кости, кости *(англ.).*

5

Ариана поднялась и пошла навстречу, увидев его в холле. Он обнял ее и только тут почувствовал, как пересохли губы. Перед тем как пойти с ней куда-нибудь, он быстро поднялся в номер — помыть руки, ведь он трогал деньги, сиденья такси, паспорт, который хватали и мяли в руках солдаты обеих враждующих сторон. Спустившись в холл, он оставил у портье записку для Хофмана, в которой просил его никуда не уходить вечером, — может быть, предстоит работа.

На машине Арианы они поехали в сторону маяка. Лашен вкратце рассказал о своей поездке с таксистом. Ариана, покачав головой, сказала, что слышала о том месте на берегу. Бандиты не знают, что делать с пленными, то есть случайными прохожими, которых хватают без разбору на улицах и куда-то увозят. Если в данный момент нельзя использовать людей в качестве заложников и обменять на своих, пленных расстреливают, трупы сжигают. Много трупов просто сбрасывают в море. Ариана сказала, что стала равнодушной, привыкла избегать определенных кварталов и

улиц и почти перестала слушать сообщения о текущих событиях, в которых приводятся новые цифры, данные о количестве убитых. У каждого, сказала она, в памяти уже целое кладбище, которое стараешься обходить стороной. Там лежат знакомые, родные, ты знаешь, что кто-то исчез, знаешь, что он не вернется, никогда не вернется, никогда. Бывает, думаешь: смешно ведь, что наша жизнь, обычная жизнь других людей, продолжается, ну и смеешься, иногда — в самый неподходящий момент. Вообще кажется, что жизнь людей, наверное, заражена, отравлена ядом нескончаемых смертей, но происходит как раз обратное — жизнь словно набирается от них новых сил. Никто теперь не болеет, ни С кем не случается каких-то несчастий.

— О смерти, — сказала она, — я теперь думаю очень-очень редко, опасность просто смешна. Сам ведь не можешь умереть, хотя с другими это происходит каждый день, вернее, каждую ночь. Вообще-то, надо бы спросить тебя сейчас, как там дела у немцев, В Германии, но меня это совершенно не интересует. И не надо рассказывать мне о своей жизни, о том, чем ты занимался до приезда сюда, главное — ты здесь. Я дней десять уже не брала в руки газет, хотя пресса приходит три раза

в неделю. Федеративная Республика Германии. Все больше о ней забываю. Может, ты знаешь почему? Если бы я не работала в посольстве и не говорила каждый день по-немецки, то, наверное, для меня с Германией давно все было бы кончено. Уходя вечером из посольства, расстаюсь с немецкой речью и все чаще думаю: может, он от меня отвернулся, мой родной немецкий язык? Ведь я его предала. Понимаешь, он от меня уходит. Я так рада, что ты снова здесь, давай будем побольше говорить, не важно, о чем. Мне кажется, я уже не смогла бы вернуться туда, в самом деле, не смогла бы.

— А что с ребенком?

В декабре Ариана рассказала, что они с мужем, ливанцем христианского вероисповедания, который служил в таможне аэропорта и в позапрошлом году умер от рака мозга, хотели усыновить ребенка. Брак был смешанным, и это оказалось непреодолимым препятствием с точки зрения чиновников. Ариана с мужем без конца ходили в сиротские приюты армян и маронитов, но на все просьбы получали отказ. Она хотела даже принять веру мужа. В декабре, они познакомились с Лашеном в декабре, Ариана, уже в одиночку, опять предприняла несколько попыток, но все

было напрасно, теперь помехой оказалось то, что ее муж умер. И все-таки она познакомилась поближе с некоторыми монахинями и не теряла надежды, что однажды добьется своего, уговорит кого-нибудь в монастыре и ей позволят взять ребенка.

Ариана предложила поехать в ресторан, где они и в декабре несколько раз обедали. Она вела машину, Лашен старался не смотреть на нее, именно потому, что обращенная к нему сторона ее лица не была обезображена шрамом. Странно, в этот раз рубец на щеке был почти незаметным. А ведь в декабре, когда они познакомились, он бросался в глаза, теперь же и сама Ариана о нем, казалось, забыла. На вопрос о ребенке она ответила, что сейчас на время оставила свою идею. Такое уже не раз бывало. Сперва ей нужно успокоиться после полученных отказов, сперва пусть к ней вернется вера в свои силы.

— Я хотел бы чем-нибудь тебе помочь.

— Да. Понимаю.

Надо, чтобы у Арианы был ребенок. Наверное, она обещала мужу, умирающему, что возьмет ребенка. Нет, вряд ли. Может быть, она сама поняла, что хочет ребенка и муж тут ни при чем, как ни при чем и прежние их совместные планы

насчет ребенка. Она бы жила по-другому — он представил себе Ариану с ребенком, в ее квартире, заботливую, хлопочущую. Но если у нее будет ребенок, ей придется оставить работу в посольстве. Спросить об этом? Не стоит. Три или четыре раза он был у нее дома. Она не хотела близости с ним, и он сразу с этим смирился. Потом, правда, решил, что смирился чересчур быстро.

Они увидели Хофмана. Он сидел в кафе, за единственным выставленным на улицу столиком, и читал газету. Хофман не поднял головы, когда они проехали в двух шагах от него. В это кафе они с Арианой тоже однажды заходили, тогда, в декабре. И тоже сидели на улице, да, там еще были клетки с экзотическими птицами, и они долго на них смотрели, а потом через улицу перебежал мужчина, тащивший на плечах половину бараньей туши.

Ариана спросила, не остановить ли машину здесь. Нет, не надо. Она положила руку ему на колено. По тротуару шел мальчик с другим, помладше, на руках, тот протягивал прохожим кружку для подаяния. Обеих ног у него не было, обрубки надежно, туго забинтованы, мальчик улыбался. Ариана притормозила и подала ему десятку.

— Пойми меня правильно, — сказала она, — я знаю, этот жест выглядит фальшивым, но, понимаешь, я не чувствую ни малейшего успокоения, подав милостыню такому вот ребенку.

— Ну что ты, что ты! Почему? Никакой фальши. Я как раз подумал, здесь очень много искалеченных детей.

Она не ответила.

6

Вторую половину дня он просидел в номере. Записка, оставленная для Хофмана, так и провалялась в почтовой ячейке у портье, он заметил это, когда вернулся в отель. С Арианой договорились созвониться вечером, он позвонит ей, если вернется не слишком поздно, не получится — значит, завтра. Он начал записывать данные, которые почерпнул из телетайпных сообщений и газет, а также то, что рассказала за обедом Ариана. Записывая, думал о Грете и детях. Что-то непонятное с временем, представления о нем смешались, пришлось буквально подсчитать часы — таким невероятным вдруг показалось, что он уехал из дому всего-то позавчера — после обеда собрал чемодан, Грета помогала: вынула сунутые на дно рубашки, уложила все как следует. На ней была длинная вязаная кофта поверх красной блузки с расстегнутым воротником, и когда она наклонялась, видна была ложбинка между грудей. Он вышел на лестницу почистить ботинки, которые брал с собой, дети прибежали поглядеть, как он их чистит, и смотрели так,

будто увидели что-то запретное. Грета стояла рядом, обхватив руками себя за плечи. Потом сказала: «Холодно!», ушла и увела детей в кухню; как часто он видел ее там, в кухне, прижавшейся к теплой батарее отопления.

Уже надев пальто, он опустился на корточки и раскинул руки, дети с радостным визгом бросились обниматься. Грета нервно курила, на лице напряженное и рассеянное выражение.

Что он чувствует к детям? Точно не определишь. Изредка, глядя на их беззаботные лица, он чувствовал тревогу и думал, ведь им, беззащитным, придется претерпеть всякое, испытать несправедливость. Почему? А когда смотрел на спящих детей, то вдруг накатывало этакое удальство, в голову лезли разные глупости, вроде того, как он бы их спасал, совершал ради них подвиги. Ах, да все это лишь предлоги, поводы, которые он использовал, чтобы дарить им свое тепло, и такими пустяками все это кажется отсюда, С безопасного расстояния, и никакая это не настоящая любовь, не подлинная ответственность за детей, а в самом деле лишь тепло, симпатия, и она так легко может миновать их, пройти стороной. Наверное, он невольно подверстал детей к своим мучительным попыткам добиться любви Греты,

своим стараниям, в которых такое наслаждение и такая боль. Грета и не подозревает, что его буквально трясет от приступов верности, когда он вдали от нее; нет, не то, верность — неточное слово, припадки беспомощности, вот что это такое, и от беспомощности рождается тоска по ней, когда, оказавшись от нее вдали, он совершенно перестает понимать самого себя, и эта растерянность сильнее, чем когда-либо, сокрушительнее. Он спасался от этих приступов, пытался спастись, найдя лицо какой-нибудь незнакомой женщины, глядя на ее волосы, ее кожу, улыбку; чаще всего это бывало где-нибудь в баре, даже если тут же торчал Хофман. Женщины, на которых можно хотя бы смотреть, которые хотя бы близко, рядом, а не теряются где-то вдали. Как наяву увидел себя: вот он, грузный, с застывшей на физиономии искренней улыбкой, сидит в каком-то темном помещении со стенами, обитыми плюшем. Когда прощались, он обнял Грету и прижимал к себе, пока хватило сил. Высвободившись, она долго переводила дух — притворялась.

Но тело, плоть, — нет, не из-за них тихий, долго не отпускающий, мягкий, удушливый страх сдавливает грудь и стучит в висках, а впрочем, это неизвестно. Наверное, причина — это скорей

их связи на стороне, прикосновения и какие-то слова, которые они оба приносят в дом, приносят с собой; все, чем они козыряют друг перед другом и о чем умалчивают. А у детей есть свой, детский запах, и еще что-то сладкое и сдобное, холодное и теплое, и запах других детей, и замерзших щек, когда те понемногу отогреваются. Он привлек их к себе, всех троих, прижался к ним, хотелось безоглядно щедро излить на них что-то очень важное.

Он написал: «Груда человеческих костей на берегу… Люди, убитые другими людьми, облитые бензином и сожженные». Ежедневно исчезают десятки людей. Человеческая жизнь ценна лишь постольку, поскольку является товаром в меновой торговле, и еще некоторую ценность она представляет для убийц, которым нужны жертвы, чтобы рассчитаться за другие убийства. «Никаких сомнений, «тигры» Шамуна, фалангисты и Стражи кедров в совершенстве владеют подобными методами. Убийцы, прошедшие хорошую школу. Ответные же действия мусульман представляются скорей актами отчаяния, импульсивными и неорганизованными акциями мщения. Чего не скажешь о палестинцах: их лагеря, во всяком случае те, что находятся в

Восточном Бейруте, каждую ночь подвергаются обстрелам и бомбардировкам. Палестинцы обращаются с врагами не намного милосерднее, чем христиане, они тем более немилосердны, чем более безысходным становится их положение, а оно несомненно таково».

Хотел же сформулировать совсем по-другому! Ну да ладно, это же сырой материал, некоторые факты, наброски для будущих комментариев. Дальше. «Карантина и Маслах, то есть кварталы мусульман и палестинцев, полностью окружены и подвергаются обстрелам, которые по временам достигают значительной силы. В качестве ответной акции мусульмане, палестинцы и друзы готовятся захватить Дамур, город с христианским населением, лежащий в 20 километрах к югу от ливанской столицы…»

Ну и кого это убедит? Да никого, в первую очередь — тебя. Надо ехать в горы, надо увидеть оттуда, с гор, горящие дома Карантины, вот тогда с полным правом сможешь написать: «Карантина в огне». Он набрал номер Хофмана. Тот все еще не пришел. Позвонил в посольство и попросил к телефону Ариану.

— Ты не знаешь, можно ли вечером доехать на такси до Баабды или Джайды?

Ариана сказала: вряд ли — насколько она себе представляет, ни один шофер не согласится вечером поехать через Старый город, а уж пытаться пересечь Рю Дамас — чистое самоубийство. Итак, единственная возможность — выехать засветло и вернуться уже на другой день.

Он позвонил в штаб ООП[11] и попросил соединить себя с Махмудом Халебом. Махмуд сразу спросил, давно ли он в Бейруте. Только позавчера приехали? Хорошо, пишите, пишите обо всем, что творят в Карантине и Маслахе эти фашисты. Вам нужна свежая информация? Пришлю, пришлю. Где вы остановились? Наших людей убивают, наших женщин, наших детей! В лагерях уже не осталось медикаментов, нет плазмы, нет даже самых необходимых перевязочных средств.

— Пожалуйста, пришлите ваши материалы, — сказал Лашен.

Слушая Халеба, его голос, который звучал то спокойно, то взволнованно, то хрипло, то глуховато, он почувствовал тревогу. С Халебом он часто виделся раньше и не сомневался в том, что сообщения, поступающие в пресс-центр, медленно убивают этого человека. Он объяснил, что

---

[11] Примечания: 11

ООП — Организация Освобождения Палестины, создана в 1964 г.

писать пристрастно, встав на чью-либо сторону, не имеет права, что обязан быть объективным, хотя, конечно, объективность это всего лишь фикция, разумеется, это так, и сам он никак не может считать свое отношение нейтральным, он-то как раз пристрастен, но одно дело — свое отношение к событиям, их освещение, оценка, и совсем другое — репортаж, вы ведь отлично меня понимаете, господин Халеб. Потом спросил, есть ли шансы снова получить интервью у Арафата, но Халеб уклонился от прямого ответа. Осталось неясным, то ли Арафат находится здесь, в Бейруте, то ли нет, и насчет возможности взять интервью Халеб тоже толком не высказался.

— Для начала я вам пришлю материалы, — сказал он. — Остановились в «Коммодоре»? Очень хорошо. Интервью… Может быть, удастся получить, но не завтра. Нужно время.

— А что, проехать вечером в Карантину, это реально?

— Об этом фашистов спросите!

Слова «фашисты» Лашен избегал не только в статьях, но и в разговорах с людьми: употреблял вместо него «фалангисты». Халеб повесил трубку. Ну ладно, пока что обождем и посоветуемся с Хофманом, куда рискнуть двинуться сегодня вечером.

Он посмотрел на письмо, которое написал Грете, и, вдруг решившись, набрал номер телефонной станции. Сколько времени придется дожидаться связи с Германией? Телефонист ответил, не стоит и пытаться, дело безнадежное, хорошо уже то, что работают местные линии. Наверное, Грета опять рассматривает свои фотографии докеров, которых выставили на улицу, или о публикации этих снимков уже нет речи? Что же не устраивает в этих фотографиях? Сама проблема безработицы? Ну хорошо, безработица не устраивает. Но может быть, с любыми фотографиями, которые, по идее, должны отображать реальную жизнь, что-то не в порядке, они фальшивы, и все слова и фразы о реальной жизни тоже фальшивы. Реальность искажается, что-то с нею происходит, и с лицами безработных, глаза у них лживые, вытаращенные, во всяком случае такими они получаются на фотографиях, и слова в текстах, фразы в описаниях тоже вытаращенные, злобные, в них, словах, проступает какой-то новый смысл, потому что в них сгущены краски или, наоборот, иногда слова приукрашивают действительность, иногда в них вскользь упоминается о чем-то или они содержат намеки на то, что все-таки можно устраивать свои дела в такой — да-да, такой! — действитель-

ности. А если кто не желает — невелика беда, потому что слова воздействуют на нервы, с мгновенной быстротой приучают людей к смертям, которые их лично не касаются. Как же они отвратительны, твои репортажи, подумал он, ты их ненавидишь, хотя в первую очередь стоило бы возненавидеть себя, а больше всего ненавидишь, когда они подготовлены к печати или напечатаны, — вот тут ты обнаруживаешь самого себя за этими фразами, спокойно ухмыляющегося, делающего двусмысленные, непристойные жесты, себя, пробивающегося куда-то, лгущего и каждой новой ложью прокладывающего себе дорогу в хитросплетениях старой лжи, себя, самоутверждающегося и гордого, уверяющего, что сам, о да! — своими глазами видел чью-то смерть, чью-то страшную рану, что ты тоже умирал где-то и застывшим взглядом смотрел в лицо опасности, заглядывал в непостижимую бездну. Опять — объяснения, интерпретации и ничего другого, гибридные уродцы, написанные его рукой. Что за акробатика! Где самое важное? А как ты ненавидишь самое важное — то, что необходимо преодолевать смерть, ведь смерть сродни забвению, и необходимо претворять ее в новую жизнь, твердить, что жизнь продолжается,

но на самом деле продолжается только чтение, а новая жизнь — каннибализм, *присутствие,* но не *суть*… Безвкусица. Он набросал еще несколько заметок, в которых словно пытался что-то опровергнуть, по памяти записал то, что услышал от Халеба. Пошел в ванную, побрился. Хотел еще раз позвонить Хофману, но передумал — как был в рубахе навыпуск вышел в коридор и постучал в дверь соседнего номера. Не заперто. Хофман развалясь лежал на кровати, пристроив ноги в сапогах на спинке. Лашен рассказал — едва не кусая губы, — о том, что видел на берегу, о сожженных человеческих костях. Хофман хмыкнул, да ну, разве это сюжет, не вижу картинки, фотографу тут нечем поживиться, снимок не получится, кости мертвые, значит, и снимок будет мертвый.

Лашен предложил поехать вечером в сторону Карантины, приблизиться или хоть издали посмотреть. Хофман разглядывал свои ногти.

7

Горели автомобили, горой навороченные друг на друга машины, и казалось, горели от века. Он крикнул Хофману первое, что пришло в голову:

— По-моему, вообще не целятся, палят лишь бы палить!

Глупость, конечно, да и прозвучало глупо. Но что здесь не глупость? Никакого смысла вообще раскрывать рот. Голосов нет — сплошной грохот. Груды щебня, сползшие вниз из пробоин на фасадах, как потоки лавы. Так и есть. В картинах, которые появлялись и проплывали мимо, была тишина и был грохот.

На площади Рияд эль Сульх стоял автобус, из которого валил дым, стекла выбиты или почернели от копоти. Черные обгоревшие занавески дергались на ветру, точно жестяные. Над акваторией порта поднимался, становясь толще и гуще, столб дыма, в вышине он резко изгибался под прямым углом и уплывал над морем к востоку, в горы. Позади, там, где остался район Зукак эль Билат, его отлогие склоны, сады и охристо-желтые дома, казалось, царит глубокий покой. На

улице Эмир-Бешир баррикада из щебня и камней. Над поднятым стволом миномета поднимались мелкие облачка дыма. Врезавшийся в стену дома танк высадил витрины и окна. Перед этим домом они увидели низкорослого человека в сером кафтане, он стоял, раскинув руки, и вопил от горя. Отличный кадр, снимок, готовый еще до того, как Хофман навел фотоаппарат и щелкнул затвором.

Три парня со всех ног пробежали под огнем и скрылись в развалинах. Один споткнулся на ступеньках, упал, его быстро подхватили двое других, втащили за собой. В оконном проеме рядом с дверью было видно, как они подняли упавшего на ноги. Значит, в этот раз обошлось.

Больше всего это похоже на вне всякой меры раздутую военную игру, однако в репортаже он должен изобразить ее как нечто вполне реальное. Осторожно и медленно они с Хофманом продвигались вперед, но на круто спускавшейся под гору улице, где раздавалось лишь трескучее эхо разрывов, пустились бегом, первым рванул Хофман. Они свернули направо, выскочили на площадь Этуаль — вдруг распахнувшийся впереди пустырь, тонущий в темноте, окруженный грузными останками домов, личинами с пустыми глазницами. Мешки с песком изодраны, расшвы-

ряны по всей площади, как и песок. Большая мечеть, черная, расстрелянная, рядом — развороченное нутро какого-то зала с уцелевшей дальней стеной и фресками на потолке, по которым били вспышки пламени.

В грохоте стали различимы отдельные разрывы и выстрелы. Они старались держаться под прикрытием, хотя направление стрельбы было не определить. Воздух гудел от воя снарядов и странных хлопков, похожих на звук лопастей пропеллера, замедляющих свое вращение. В дом на той стороне площади ударил снаряд, фонтаном брызнули камни, куски штукатурки, но они с Хофманом отступили ровно на один шаг. С неба медленно падали черные хлопья.

Должно быть — по закону вероятности и в соответствии с правилами игры, которая здесь шла, — какие-то из этих снарядов смертельно опасны. В декабре ему показали фотографии убитых детей, там же, в пачке, были снимки этих детей еще живых. Не детские невинные лица — как раз невинности в них не было, тут нигде и ни в чем не может быть невинности — потрясли тогда и стерли в кашу все мысли, все чувства, нет, скорей лица выражали неведение, непонимание, неспособность поверить в то, что их бессмертие

вдруг внезапно, в один миг, оборвалось.

Хофман протянул пачку сигарет, зажег спичку, Лашен поблагодарил просто взглядом. Хофман с виду не был взволнован, даже наоборот, казалось, воплощал надежность, твердость, он просто жил, не отвлекаясь посторонними мыслями. Он прятал огонек сигареты в рукаве, Лашен, заметив это, свой тоже прикрыл. Большим пальцем Хофман потер подбородок. Сколько нужно времени, чтобы уши наконец привыкли к грохоту? Вроде теперь можно что-то расслышать в несмолкающем громе. Хофман затоптал окурок и сделал несколько снимков Большой мечети, озаренной сполохами огня. Пусть фотографирует, так надо, хоть и не поймешь, что там у него сейчас в видоискателе. Хофману не страшно, ему тоже не страшно. Если Хофман испугается, снимки получатся несмелыми, а они не должны быть такими, они должны вызывать оторопь, эти снимки, чтобы каждый, кто их увидит, почувствовал, что держит в руках, что рассматривает в своей чистенькой гостиной — грязные картины войны.

Они прошли в сторону бухты Святого Георга и тут оказались каждый сам по себе. Попали в самый центр пулеметного огня и, бросившись на землю, укрылись за камнями, оставшимися

на месте какой-то стены, лежали и не смели шевельнуться. Пути назад не было — там шла стрельба, огонь вели с крыш. Лашену казалось, все целятся в него, он прижался ртом к камню стены. Вокруг оглушительно трещали выстрелы. Иногда стрельба вроде бы удалялась, но всякий раз выстрелы опять били рядом. И тут начался страх, тело от страха стало легким, невесомым. В какой-то миг они, обменявшись быстрыми взглядами, бросились бежать, в разные стороны, так получилось, и изменить ничего было нельзя. Он бежал легко, невесомо, под толщей страха все-таки уцелел сгусток высокомерного чувства неуязвимости. Мчался, будто летел на крыльях, достиг места, которое было еще более безопасным, только раз оглянулся, поискал глазами Хофмана, но нигде не увидел. Да ведь редко бьют автоматы, и далеко одна от другой ложатся пули, набивают нехитрую перфорацию на своей линии, от этого ритма ты легко оторвешься, нет ничего проще. Но когда бежишь, все вокруг меняется, бежишь и все бежит. Впереди нагромождение пустых бочек, почему пустых? И почему при этой бешеной гонке мысли еле ползут? Он забежал за стену из бочек, бросился на землю, больше негде было укрыться, подумал: хорошо, нашел

укрытие, спрятался за бочками. Рядом с собой увидел — глаза открыты, он не успел зажмуриться, упустил время, закрывать глаза было поздно, — ударившуюся о землю гранату. Осколки вонзились в бочки, бесшумно вырвали из них куски, слух пропал, видимо отключился. И тут же грохот сменился мягким, чуть ли не приятным гулом, нет, шорохом, и прогремел новый удар, но теперь еще ближе. Да ведь в бочках, возможно, бензин! Он бросился прочь, с криком, которого сам не услышал, только почувствовал, — кричит, и как же это приятно: ощущение беззвучного, заглушённого крика, исторгнутого без усилий. Он летел, с легкостью удерживая темп. Казалось, бежит не он, кто-то другой, а сам он ни при чем, но сквозь грохот отчетливо слышался топот его ног. Близко, рядом рвались снаряды, они уже не приближались, рвались, но не приближались, рвались все на том же расстоянии, близко. Уши словно забило пылью, плотно, как непроницаемыми затычками. Бежать быстрей или медленней он не мог — бежал в единственно верном темпе. Все уже стало сном — как во сне не можешь остановиться. Если ранят, то не наяву, во сне. Еще граната, она медленно зарылась в землю, и земля, раздвигаясь, медленно пошла

волнами, медленно взмыла в небо. Он увидел человека на балконе, тот что-то кричал ему, старик с благородным лицом, седой и, да, настоящий. Когда-то он уже видел это лицо. Где? Когда? Ответа не было, вопросы неотступно вертелись в голове.

Дальше улица перегорожена грузовиками, он бросился в подворотню, промчался по длинной темной трубе выбежал во двор, опять ворота, еще двор, возле окна увидел клетку с птицами. Тут было спокойно, и спустя минуту он услышал птичий щебет. Окно заколочено картоном. Он долго сидел на низкой каменной ограде какого-то заброшенного сада, сидел, пока не начал слышать свое дыхание, ощущать стук сердца, все мускулы и кости казались сдвинувшимися с привычных мест. Он смотрел на свои руки, что-то чертившие веткой на песке, и не понимал что — линии, борозды.

Он прошел насквозь через несколько домов, стен не было, то, что от них осталось, не преграждало пути, карабкался через заборы, ограды, очутился в саду, где сидела за столом семья и жарилось мясо на вертеле. Люди обернулись, он, не задерживаясь, поклонился. Дети пустились за ним и не отставали, пока он не вышел через подъезд дома на улицу. На брюках под коленом

темнело масляное пятно. Какая неприятность, стыдно, ему показалось, что кто-то из подлости подстроил ему эту пакость. На Рю Клемансо он остановил такси. Настоящее, из таксопарка, неимоверно медленно и чуть не каждую секунду сигналя, такси везло его к «Коммодору». По пути взяли еще двух пассажиров, мужчину и женщину. Невероятно, у этих людей был совершенно нормальный вид, поглядев на Лашена, они удивленно приподняли брови. Должно быть, с черной физиономией, весь в ссадинах, он возвращался в отель в точности, как те американские журналисты, «ударники из бит-группы». Руки черные, изодранные.

Короткая вылазка. Лишь теперь стемнело. Хамра еще искрилась и сверкала огнями. Недолго ей сверкать — несколько минут, потом улица станет мрачной и покинутой. В кафе у столиков топчутся официанты в белых куртках, на лицах уже не сияют радушные улыбки.

Он умылся, попробовал отстирать масляное пятно в горячей мыльной воде, автоматически разложил по местам вещи: одну, другую, третью… Расческа застряла в волосах, от копоти и пыли свалявшихся, точно войлок, стоя под душем, он долго-долго мыл голову.

Потом почитал «Геральд трибюн», но это ничуть не успокоило. Грохот в голове, грохот в комнате не утихал. Мысли были разрозненными, сумбурными, как будто между всеми вещами на свете исчезли связи, все рассыпалось, не склеивалось, не было переходов, не было опоры. Всякая попытка что-нибудь представить себе, всякая попытка привести мысли в порядок обрывалась, едва начавшись.

Не хватит ли копаться в своих переживаниях? — кажется, он уже не раз громил и крушил свою профессию, якобы вполне нормальную, свой журналистский имидж. Неужели опять начинается это абсолютное непонимание, неспособность хоть что-то осмыслить? А что с Хофманом? Ну, раз уж ты вышел сухим из воды, то с ним и подавно ничего не стряслось. Хофман озабоченно спросит, что да как, а ты ответишь: все в полном порядке, лучше не бывает. Да, но Хофман, который, кстати, не спешит объявиться, уж конечно, не бросился бежать сломя голову из зоны обстрела как последний идиот. Добравшись до отеля, он первым делом оставил у портье записку Хофману, извинился и попросил позвонить, как только тот вернется. И время указал — 17. 30. Хотя было только двадцать минут шестого.

Так о чем писать? Что зафиксировать? Свои переживания? Страх, ощущение собственной неуязвимости, свистопляска в крови — от свистопляски вокруг, от грохота обстрела… Об этом нельзя написать, это твой опыт, и он должен остаться с тобой, в тебе. Все, о чем знал раньше, это же бред: весь ход войны, всевозможные инфекционные болезни, чья-то личная заинтересованность в разжигании конфликтов, эйфория страха и ненависти, все это стягивается в тугой узел — в торжество на крови, победоносную расправу над жизнью, и все в угоду публике, безумствующей, увлеченной, которой, в конце концов, за долгое, невероятно долгое время осточертело человеколюбие и даже простое благодушное наплевательство; публика, нынче она жаждет очистить Бога от налипших на Него «подобий Божиих», то есть очистить землю и воздух от своего же, человеческого, присутствия и дыхания. Безвкусица, нелепость — да, но сегодня ты не сможешь без отвращения посмотреть в лицо человеку, кому бы то ни было… Ариана… Он и о ней вспомнил с раздражением. Но сразу пугливо решил, что подумает о ней завтра. А собственное жирное тело, чисто вымытое, раскормленное, дебелое, округлое и все жиреющее, раздувающееся,

сколько у этого тела претензий, каждая клеточка, тугая и плотная, получает кормежку, каждый килограмм мяса щедро оплачивается, и кости, ткани, кровь, нервы, мозг, какие там еще есть слова, чтобы все это назвать… Он вытащил из шкафа чистое белье, рубашку, носки. По спине пробежал озноб. Ляжки-то гладкие, толстые, упругие под ладонью. Вспомнилось, как несколько лет назад он ехал ночным поездом и переодевался в купе при свете ночника и синей лампочки над дверью. На нем была длинная ночная рубаха, под ней ничего — голая задница. Вдруг отчетливо вспомнилось, как прыгал там на одной ноге, в тесном, не повернуться, купе, толстощекий и толстозадый, похожий на ребенка, которого раскормили до исполинских размеров. Давнишнее чувство стыда сейчас снова вернулось.

Письмо, которое он написал Грете, упало и лежало на столе. Непременно надо его отправить. Попросить Ариану или самому отнести в посольство. Что там в письме, уже не вспомнить, но перечитывать не стоит. Грета прочтет — если прочтет, — совершенно нормальное письмо.

8

Ему хотелось близости с Арианой, но близость и страшила. Он боялся брать на себя какие-то обязательства, боялся ответственности. Этого чувства боялся даже больше, чем самих обязательств. Он знал за собой это свойство — боязнь отпустить того, к кому привязывался. И всех отпускал. Но тогда не надо хотя бы воспоминаний, запоздалых сожалений. Мысли, размышления, они как непроницаемая стена. И потом он снова напишет Грете, чувствуя себя последним подонком, равнодушным, пошлым, подонком из равнодушия. Грета, если она прочитает его письма, наверное, догадается, что он хочет напомнить ей О том общем, что у них еще осталось. На протяжении стольких лет она снова и снова его бросала. Если знала дату его возвращения из очередной поездки, то непременно уезжала, и он сидел дома, брошенный, с Вереной и детьми. Всякий раз он пасовал и продолжал жить своей заграничной, гостиничной жизнью. Когда он в одиночестве бродит по округе, уходит на плотину, то нередко бормочет себе под нос не пойми что и сам это

замечает. На дальнем берегу светлые песчаные бухточки, еще дальше за ними — государственная граница, там бетонные столбы, между ними натянута проволока. Через полгода после окончания школы он вскрыл себе вены. Поглядев на шрамы, вспомнил об этом сейчас без особой сентиментальности. Два маленьких светлых шрама, всего-то, крест-накрест на левом запястье, на правом — и вовсе один. Воспоминание уже не бередит душу. Отец об этом событии говорил только намеками. И позже, когда Лашен уже был студентом, учился в Калифорнии и в Гамбург приезжал на летние каникулы, отец избегал этой темы. Грета однажды — давно — долго смотрела на шрамы, подавленно, молча. Он тогда, посмеиваясь, сказал, в чем дело, но тоже ограничился намеками. Когда друзья спрашивали, какие чувства он испытывал, находясь в местах, где совершались зверские жестокости, он всегда отвечал с высокомерно-веселым видом, что за всю жизнь его по-настоящему потрясли только два события — выпускные экзамены в школе и введение в Прагу войск социалистических государств. Да, но школу-то окончил с блестящими результатами, а о танках в Праге написал свой первый большой репортаж. А порезы на руках

тогда, двадцать лет назад, зашили, и они быстро затянулись.

Издатели и редакторы любили подсовывать ему щекотливые задания. Он хорошо делал свое дело; с некоторых пор оно стало внушать ему отвращение, но на качестве материалов это не сказывалось. А в Гамбурге никто не желал замечать, что с ним произошла перемена. Конечно, он им нужен, его же считают незаменимым, или не считают, какая разница, — важно, что сам он чувствует себя занявшим место кого-то другого. Как ни отвратительна ему так называемая миссия журналиста, в известных ситуациях он без труда находил в своей репортерской работе массу достоинств, да ведь и сам в них верил — поэтому писал легко и отсылал в редакцию очередную «статейку с пылу с жару». Эта раздвоенность, думал он иногда, этот разлад с самим собой — неизбежное зло, ничего не поделаешь, таков характер репортерской профессии, и надо что-нибудь из нее выжать, использовать, например, в стилистических целях; если бы это удалось, он почувствовал бы удовлетворение, ведь в очерках и статьях он рассказывал бы о себе самом, одновременно достигая высокого обобщения… Ерунда, это было бы чужеродной примесью,

мертвечиной. Дело не в том, что субъективный взгляд нежелателен, он допустим, но прежде надлежит сделать свои суждения гладкими и поверхностными. А тогда можно высказать субъективное мнение, ради бога, хочешь — круши все подряд, хочешь осанну пой; пишешь о том, что давно стало общим, а не твоим личным, потеряло остроту, заглохло. Ну и что, невелика беда, отсутствие ощущения боли всюду в порядке вещей. И сам он давно забыл, что такое боль, ее место, должно быть, заняла бесчувственная, а значит, ничем не ограниченная способность собирать, накапливать и воспроизводить «пережитое». Да он благодарность чувствовать должен за то, что вчера испытал страх, неподдельный страх! Или пережитое вчера лишь разворошило старые, хранящиеся в запасниках страхи? Во рту едкий, ничем не отшибешь, привкус металла… Грета. Он готов ползать перед ней на коленях и ждать: примет или опять оттолкнет. Ариану вчера не хотел видеть. Наверное, сегодня он сможет с ней поговорить (не зажигая свет), с ней — сможет, ведь она совсем мало его знает. Наверное, она не оттолкнет его, такого, какой он есть, потому что с нею он никогда не был другим. Может быть, она поймет, против чего он восстает. Если, конечно,

и в самом деле восстает.

Он зашел в ванную, чтобы посмотреть на себя в зеркало. А что в этом необычного? Зазвонил телефон. Взяв себя в руки, он оторвал взгляд от зеркала. Звонила Ариана. Спросила, не занят ли он сегодня вечером. Сказала, что приготовила ужин. Он слушал не слова — голос Арианы, попросил повторить и от смущения начал заикаться. Он стоял у приоткрытого окна, в комнату тянуло невнятным запахом листвы и трав. Небо было прозрачно-черным, и он понял: вот и настал он, момент ясности и определенности, которого ты так боишься. Глядя в далекую глубину пространства, он видел картины, нарисованные своенравной фантазией: там сидели сгорбленные старики, явившиеся из прошлого, предсказавшие ему будущее, там подломилась под ногами корка льда, вода обожгла разбитое колено, дома расплылись, и взметнулась искристая пыль… Вот под насыпью железной дороги он наткнулся на дохлую кошку с вывороченными внутренностями и сосредоточенной мордочкой, еще не утратившей задумчивого выражения; вот со звоном и дребезгом обрушились сады, брызнул свет, заплясал на школьной тетрадке в тихий воскресный час — от света сделалось дурно и,

зашатавшись как пьяный, он повалился в чьи-то раскрытые руки, кто-то поддерживал его голову… Приглашение Арианы — это новое предопределение твоей жизни, подумал он. Шрамы едва заметно поблескивали на коже запястья. Раньше он даже мысленно старался не произносить слов «суицидная попытка». Жалкие слова, слишком жалкие, быть может подразумевающие, что попытка не случайно оказалась неудачной. Ариана ждет ответа. Он извинился.

— За что ты извиняешься?

— Кажется, я подхватил грипп.

— Тем более приходи, обязательно! Давай поужинаем вместе, мне очень этого хочется. А потом можешь лечь спать у меня.

— Да.

Он спросил, надо ли принести выпивку.

— Нет, у меня все есть.

Опуская трубку, он опять пробормотал извинение. Смысл пророческих картин, смысл предсказаний, сбывшихся в прошлом, которое не исчезло, а вошло в плоть и кровь и упрямо жило, не покидая его ни на миг, этот смысл он не мог уловить, как ни старался.

Как это странно — он хочет уснуть с ней, медленно вытянуться, прижаться всем телом. И сразу

представилось, что будет укрыт, будет принят ею, но теперь уже он не станет об этом просить. Жалость к себе, которой он иногда вознаграждал себя за одиночество, вполне, впрочем, сносное, в любой миг могла превратиться в презрение к себе. Тут у него есть кое-какой опыт. Презрение — только оно было мукой, дающей абсолютное удовлетворение, когда его словно захватывал и уносил водоворот более важных событий, в которых он терялся, переставая что-либо понимать. А сегодня он абсолютно равнодушно просидел бы весь вечер в номере, один. Куда девался страх? Теперь ни к чему стесненность в груди или страх. И не имеет значения, ляжет он с ней в постель или нет, будет или не будет лежать в тепле, у нее под боком, как ребенок.

Подумалось о другом: внешние процессы, их система, текущие «события нашего времени», как он с усмешкой их называл, приводят к тому, что совершенно излишней становится его жизнь, и сам он, как человек, смешон. Ему остается лишь наблюдать, никак не реагируя на события, превратившись в некий глаз-объектив. Оно бы и неплохо, ведь это позволяет расслабиться, и вообще это спасение, потому что вся хитроумная механика внутренних процессов была бы

отключена, все события, став чисто внешними, не затрагивали бы его лично. Все происходило бы без его участия, и его «я», этот мягкий, ищущий тепла зверек, не тянулся бы к Ариане и не барахтался суматошно в зеркальных отражениях собственной персоны.

Он положил письмо, приготовленное для Греты, в нагрудный карман. Раздался телефонный звонок, но он не поднял трубку, в дверь постучали — он замер на цыпочках, затаив дыхание. Спустя минуту стало слышно, что Хофман у себя в ванной пустил воду.

Взяв пальто, он бесшумно запер дверь и быстро нырнул в лифт. В холле ему помахал рукой тот немец, Рудник, он сидел за столиком. Лашен помахал в ответ, но выскочить на улицу с видом куда-то спешащего человека уже не успел — Рудник шел прямиком к нему, протягивая руку.

— Ну, как вы провели время позавчера вечером и вчера?

В вопросе, видимо, не было ничего, кроме вежливости.

— Хорошо, — ответил Лашен. — Надо прежде осмотреться, чтобы хоть немного понять, что тут происходит.

— Уже наметили какие-то встречи?

Лашен кивнул и оглянулся на дверь, ее в эту минуту закрывал гостиничный бой. Из лифта вышел монтер в светло-сером комбинезоне, с распределительным щитком в руках, из которого во все стороны топорщились концы проводов. Рудник сказал, что не хотел бы его задерживать, однако, может быть, господин Лашен все же не откажется выпить по стаканчику, только аперитив? Он уступил. Решимость куда-то делась, он уже не мог просто извиниться и уйти. Лицо у Рудника серое, наверняка старику уже за шестьдесят, но в гладко зачесанных со лба черных волосах не заметно седины, по контрасту с лицом волосы казались неправдоподобно молодыми. Одет он был в светло-серый летний костюм с пиджаком, отделанным тончайшей строчкой, с неимоверным количеством пуговиц и кнопок. На ногах сандалии с пряжками, которые при каждом шаге звякали не хуже лошадиной сбруи. Рудник первым двинулся в сторону бара, они сели, Рудник предложил выпить перно. Почему бы и нет. Обслуживал тот самый официант, которого он узнал, тот, что раньше работал в ресторане «Финикии». Парень неприметно кивнул Лашену.

— Попробую угадать, если вы не против, — сказал Рудник. — Вы — журналист.

Кивнув, Лашен спросил:

— А вы?

— Пять лет назад именно здесь все в моей жизни стянулось в тугой узел. Я был пилотом «Люфтганзы», и здесь, в Бейруте, со мной случился инфаркт. Три недели провалялся в американской клинике, потом меня отправили на самолете в Германию долечиваться. Шесть недель в Шварцвальде, обычный курс. Ну и досрочно проводили на пенсию. Теперь у меня льгота — могу по дешевке летать любыми маршрутами современной мировой истории.

После каждой фразы Рудник делал паузу, смотрел, какое впечатление произвел на собеседника. Слова он сопровождал пренебрежительными жестами, и тон был соответствующий — какой-то брезгливый. О самом важном он говорил особенно небрежно, так, он упомянул, например, о том, что в юности, совсем молоденьким начинающим летчиком, служил в легионе «Кондор», то есть в гитлеровских ВВС.

— Люблю бывать там, где происходит что-нибудь эдакое. Дольше остаешься молодым, знаете ли. А лучше сказать, дольше остаешься живым, если вы меня понимаете. И семьдесят стукнет — все равно не смогу спокойно сидеть на месте.

— Да-да. — Надо было как-то заполнить неприятную паузу.

— Здесь у меня друзья, старые товарищи. И, скажу вам, арабов моих я в обиду не дам. Еще чтением занимаюсь, много читаю, в основном биографические книги и мемуары. Скажите-ка, вы работаете на телевидении? А-а, в газете… и что же, хорошо знаете Восток?

Лашен объяснил, что бывал раньше только в Ливане, один раз, и в Египте, тоже однажды.

— Ну-ну… Египет… великолепно, что и говорить. Сущий хлев, очаг всех инфекций, какие есть на свете, вы не представляете, какой заразы там только нет. Но культура древняя, да вам, конечно, это известно. В прошлом году мне удалось немножко заработать там, в Египте. Менеджер один меня нанял, промышленник из Германии. По-моему, мои услуги ему очень пригодились, да, не сомневайтесь. Здесь жуткая неразбериха творится, я очень хорошо вас понимаю — в первые дни просто голова кругом идет, хитро у них тут все, что и говорить. Но если разберешься что к чему, то жить здесь можно, и не хуже, чем в мирные времена. Всякое действие имеет противодействие, что и говорить… Спиртного я, знаете ли, обычно не пью, ну разве что рюмочку изредка,

а тут вот опять пристрастился, все из-за друзей моих, да ладно уж, ладно, позавчера вечером… Вы же об этом хотите спросить, не правда ли? Виски, ну да, виски, но после ни-ни, ни капли… Я тут все ходы и выходы знаю. И вот что я вам скажу: христиане ребята сноровистые, а что же плохого в сноровистости? А исламисты, у них же никакой выучки, неумехи в военном деле, портачи. Если бы я из-за этого волновался, так давным-давно уже сыграл бы в ящик. Все, что плохо, вижу. Но я решил не волноваться — и не волнуюсь. Возле порта я видел двух убитых детей, да-да, детей, не сомневайтесь. И все-таки война меня интересует, хотя теперь я человек штатский до мозга костей.

Лашен лишь изредка задавал вопросы. Время поджимало. Рудник заговорил шепотом, перегнувшись к нему через столик:

— Уж я мог бы вам рассказать кое о чем! Вы, когда будете посвободнее, приходите ко мне, побеседуем. Милости прошу!

Вертя в руках стакан, Лашен сказал, что интересуется контрабандой оружия.

— Тс-с! Вот придете, тогда потолкуем. Вы были в Джунии, встречались там с кем-нибудь?

Лашен отрицательно покачал головой.

— Я знаком со многими людьми, у которых

можно получить информацию о том, что вас интересует. При одном условии — никаких лишних вопросов, никакого любопытства, понимаете? А кстати, кто он, тот человек, с которым вы позавчера сидели в баре? Ваш коллега? Ах, фоторепортер! Парень хладнокровный, я не ошибся? Почему бы нам не познакомиться поближе? Давайте как-нибудь пообедаем вместе. А женщина кто? Я, знаете ли, все замечаю. Ну, извините, извините, не хотел быть нескромным.

Лашен ответил: женщина — немка, работает здесь. Сам почувствовал, что ответил с досадой, хотя держался спокойно и рука, лежавшая на столике, не шевельнулась.

— Несмотря на то что мы соотечественники, я, разумеется, не хотел бы касаться сугубо личной сферы, — сказал Рудник. — И все-таки, знаете, надо вам постараться уговорить ее уехать. Так будет лучше.

— Она наверняка об этом задумывалась. И наверняка приняла решение. В противном случае она давно бы уехала.

— Прошу прощения, вы кажется упомянули, что интересуетесь контрабандой оружия?

Бармен, стоя спиной к ним, разговаривал с женщиной, которая пришла его сменить и надевала

белый передник.

— Вы, случаем, не для того приехали, чтобы написать о контрабанде оружия?

— Нет. Эта идея появилась только сегодня. Меня интересует этот вопрос.

— Контрабанда — слово, пожалуй, неподходящее… — Рудник поглядел на Лашена с любезной, но все же насмешливой улыбкой. — Понимаете ли, не стоит называть так обычную торговлю. Вы что же, считаете, что суверенные государства нарушают законы, занимаются контрабандой? Разумеется, работают агенты, подставные лица. Да, законы обходят, статьи об импорте и экспорте интерпретируют весьма широко, но средства используют почти исключительно легальные. Вам не удастся привести никаких доказательств. Вы же сами понимаете, вам ли, журналисту такого уровня, этого не понять! Вы же не какой-нибудь простак, нанявшийся строчить репортажи.

— Я не собираюсь что-то доказывать, — сказал Лашен. — Я не хочу доказывать, что все обстоит так, как мне представляется. Мне нужен сюжет, понимаете, сценарий. Кто капитан, что известно команде, у кого есть своя личная заинтересованность и в чем она — в деньгах? Или людей интересуют не столько деньги, сколько то, чтобы

оружие попало по назначению, к тем, в чьих руках оно *должно* находиться?

— В Джунии есть люди, которые, пожалуй, помогут вам установить нужные контакты. Захотят ли помочь, не знаю. Хитрить с фалангистами нельзя, как вы понимаете. Но подумайте вот о чем. Арабы тщеславны, ну и подольститесь к ним. Скажите, мол, опишу все объективно, а уж они поймут это как надо. Разговор ведите по-французски, причем так, как будто перед вами французы, а не арабы, то бишь финикийцы. Они же твердят, что они потомки финикийцев, а сами арабы. Арабы, арабы и еще раз — арабы! Христианская вера для них — вполне мирской инструмент, распятие — твердая штуковина, которой удобно проламывать черепа палестинцев, а заодно можно и мусульман хорошенько отдубасить. Дельные ребята, не сомневайтесь, ну да, конечно, у каждого свое мнение, но я считаю, это дельные современные парни. Разумеется, они арабы, и никакие не финикийцы, ну скажите на милость, разве итальянцы, что живут к северу от Рима, — этруски? Арабы тщеславны и вероломны, а нынешние финикийцы — это арабы, но им вы ничего такого не говорите. Арабы способны вести себя как подонки. Но нам они ближе, чем

любой из бойцов Фатх.[12] Войну они выиграют, это ясно как дважды два. Жмаель дельный командир, Шамун дельный командир, Франжье[13] старый прохиндей, Абу Арз авантюрист, в политике его шансы равны нулю. У мусульман тоже есть серьезные лидеры. Я-то сам ни с кем, я же иностранец. Просто наблюдаю, понимаете, действие и противодействие, главное для меня — не волноваться.

Лашен хотел расплатиться и уже поднялся с места, но Рудник придержал его за локоть:

— Э-э, бросьте-ка.

— Три доллара, — сказала барменша.

— Нет, дорогая моя, со мной этот номер не пройдет! — Рудник дал ей десять лир.

— Мне надо идти. — Лашен шагнул к выходу.

— Ну да. Кто же торчит тут ради удовольствия? Только я. В другой раз продолжим разговор, вместе с вашим коллегой. Уж я вам покоя не дам, не сомневайтесь!

---

[12] Примечания: 12

Боевая организация палестинцев, создана в 1958 г. Я. Арафатом и его последователями

[13] Примечания: 13

Сулейман Франжье — тогдашний президент Ливана (сменивший на этом посту Шамупа), изгнанный отрядами мусульманского ополчения 15 мая 1976 г.

9

Он остался у Арианы до утра. Вернуться в отель было бы несложно и после полуночи, но Ариана попросила — останься! Когда он добрался до ее дома, показалось, что позади остался безрадостный, трудный путь по гористой местности. Дом, окруженный большим садом, стоял в переулке, выходившем на Рю Абдель Кадер. После смерти мужа Ариана не сняла другую квартиру, поменьше, осталась в прежней, хотя платить за нее приходилось дорого. С улицы к входной двери вела лестница в несколько ступенек из красноватого песчаника, с балюстрадой, украшенной особыми толстыми столбиками, похожими на капители колонн, на них стояли кадки с пальмами. Первый этаж занимал семидесятилетний австриец, востоковед, в 1936 году женившийся на еврейке, которая была родом из Венгрии; говоря «Европа», старик всегда имел в виду только Англию, а после Второй мировой, когда он снова стал ездить на запад, только в Англию и ездил. Он с довоенных лет не бывал в Германии и не хотел ее видеть, но в Австрии тоже не бывал и

видеть ее тоже не хотел. Еще Ариана рассказала, что при всем том старик и его жена не сторонятся австрийцев или немцев, как раз наоборот, буквально ищут знакомств с ними, во всяком случае здесь, в Ливане. Окна в первом этаже забраны чугунными решетками. Вообще хороший дом. Плоскую крышу также окружала балюстрада из песчаника.

Ариана прожила тут с мужем несколько лет. Странно было то, что в этот раз не она — он смотрел на нее во все глаза. Он остался до утра, но пришлось себя убеждать, что остался не просто так, а чтобы провести с ней ночь — настолько самому не верилось. Стрельбы слышно не было, лишь изредка чуть-чуть вздрагивал пол под ногами. Приподняв занавеску на окне, он увидел позади каменной садовой стены, неожиданно близко, длинное многоэтажное здание — жилой дом. Почти все окна в нем были затемнены. Ариана рассказала, что две недели назад полночи просидела в подвале этого дома, так как по кварталу велся обстрел из Ашрафие.

Пока Ариана накрывала на стол, он смотрел на нее словно на старую приятельницу, которая, как и он, давно оставила мысли о том, что между ними может возникнуть желание близости. Ариана,

казалось, деликатно и бережно поддерживала это идеальное равновесие, не хотела, чтобы чаша весов склонилась в ту или иную сторону. Выглядела усталой и бледной — хотя, возможно, дело было в тусклом освещении — ведь столько пришлось бегать, толкаться в толпе, задерживаться, забывать о себе, забывать о других и внезапно осознавать ничтожность, сокрушительную ничтожность своего существования здесь и теперь. Разве к этому имеют отношение мужчины, веселые жестокие собратья, цинично быстро приходившие и уходившие, разве что-то значил при этом ее муж, араб? Казалось, глубоко в душе у нее обида, так глубоко, будто обида эта врожденная, подумал он, и никто не может избавить ее от этой обиды. Обиду она сама себе причинила тем, что живет, существует? Об этом не хотелось думать.

Поверил, — а с какой, спрашивается, стати? — что она тебя поняла и, несмотря на это, не презирает. Но поверил, и совершенно не имеет значения, если она пока ничем не проявила своего отношения к тебе. Когда она открыла дверь, он застыл на коврике у порога и стоял, пока, схватив за плечи, она не втащила его в дом. Стоя на пороге, он был хорошо различимой целью, поэтому она захлопнула дверь и лишь тогда поцеловала его, и

он принял поцелуй будто награду, вытянувшись по стойке смирно, и даже теперь, казалось, все еще чувствовал, что впервые был удостоен награды за то, что он — это он. Но и другое чувство не покидало, неприятное: как будто она напала на него врасплох, подкараулив в минуту беспечной рассеянности. Потом она занялась какими-то последними доделками на кухне, а он говорил о ломоте во всем теле, ознобе, головной боли. Правду говорил, а все-таки запнулся и замолчал, вдруг сообразив — ты же набиваешь себе цену, давая ей понять, как это благородно — взять на себя заботы о тебе. Должно быть, она заметила, что жалобы на самом деле не имели значения — ему просто нужно было о чем-то говорить.

Настало молчание. Он старался придумать, о чем они могли бы поговорить. Все перепуталось. И то, что сейчас начиналось у него с Арианой, тоже было непонятно, и здесь все перепуталось. Она сказала, нет, помогать на кухне не надо. Он спросил:

— Тебе неприятно, что я, как собачонка, хожу за гобой, без толку слоняюсь по квартире?

— Ну что ты, — сказала она, — мне это нравится.

В голову ничего не приходило, кроме лживых

мыслей или, во всяком случае, несущественных, он наугад «подхватывал» их где-то на периферии сознания. Бывают ли мысли лживыми? Или это просто недопонятые мысли? И понимаешь до конца, наверное, лишь те мысли, которые можно претворить в действие. Но вскоре он вообще перестал понимать свои мысли, любые, даже те, которые еле ползли. Он подумал: все сейчас сводится к одному — не утратить понимания того, что понял раньше. А понять или хотя бы постепенно осмыслить новое, об этом нет и речи.

Когда Ариана смеялась, на ее лице появлялось бесшабашное выражение, все тяготившее ее сразу исчезало. Она вдруг стала оживленной, решительной, готовой принять все, что угодно, принять бой, если надо, и даже пойти на подлость, стать соучастницей преступлений, творившихся за стенами ее дома. Всего лишь на миг — казалось, он бросил взгляд в какую-то другую комнату, в подпольную штаб-квартиру Арианы, и тут же дверь захлопнулась. Ариана сидела за столом и дышала часто, словно действительно случилось что-то такое, от чего захватило дух.

Когда они ужинали, дом вздрогнул от взрыва, близкого, — должно быть, в саду. Даже сквозь задернутые занавеси они увидели: огненный сноп

взметнулся в небо и медленно осыпался вниз. Они встали и подошли к окну, не спеша, как будто каждый старался внушить другому спокойствие. Вернулись за стол и продолжили ужин. Ариана рассказала о своей семье, в которой все были католиками новоапостольской церкви.[14] Когда ей исполнилось восемнадцать, она вышла из церковной общины, скорей всего потому, сказала она, что не пожелала быть какой-то «особенной» в глазах своих друзей. Но со временем, поразмыслив, поняла, что отказалась от веры, так как не могла спокойно слушать бесконечную болтовню о конце света.

— Да, наверное, я и в самом деле уже не могла этого выносить. Я верила в конец света, но не могла верить трепотне о последних временах и конце света. Должно быть, я рассуждала так: «Конец света? Вот и прекрасно, пускай настает, но только не в один миг, пусть растянется во времени, я не желаю знать об этом, не хочу, потому что все вокруг твердят, что настали последние дни, а сами очень ловко устраиваются в жизни,

[14] Примечания: 14

Новоапостольская церковь (ирвингианская), основателем которой был шотландский проповедник Эдвард Ирвинг (1792–1834) отделилась от католической церкви в 1831 году; члены этого религиозного течения стремились к обновлению церкви путем возрождения апостольского служения; с XIX в. получила распространение также в Германии.

думать не думают отказываться от своих планов на будущее и продолжают планировать свою жизнь, невзирая на конец света». Примерно в таком духе я рассуждала, и это определило мое решение. В конце концов своей болтовней они добились лишь одного — я стала верить не тому, что говорили, а как раз наоборот — что дни, последние они или не последние, всегда бегут вперед. Я верила даже, что жизнь продолжается только потому, что она всегда продолжалась с тех самых пор, как возникла. А после первой ночи с мужчиной я вообще перестала верить во что бы то ни было. И сегодня отлично это понимаю. Отец меня проклял, нет, вслух ничего не сказал, но все было ясно. Потом тайком нашел меня, и мы с отцом виделись, но нельзя было, чтобы кто-нибудь об этом узнал, даже мама.

В саду едва различимо поблескивала трава, на газон падал слабый свет. Ариана открыла окно. И тут они услышали вой, крики, вопли, которые летели из жилого дома напротив, хотя его нечеткие очертания на фоне неба были прежними, без изменений. Внезапно загремели удары, много, целая серия. Они отошли от окна, на минуту оглохнув; голоса людей потонули в грохоте.

— Как это неприятно, — сказала Ариана. Но

обстрел был дальше, чем показалось в первую минуту. Взрывы они слышали, но ни огня, ни зарева видно не было. — Будем надеяться, не приблизится. — Она закрыла окно.

А он улыбался. Ему тоже хотелось, чтобы отдаленная стрельба, которой они даже не слышат, не принесла разрушений и вообще, чтобы обстрела на самом деле не было. Ведь это важно, если хочешь с кем-то спокойно поужинать и провести время. Подумав так, он почувствовал, что утратил нечто вроде «морали», и ощутил неукротимую радость, впрочем, нет — насчет «морали» все не так просто. Ему было хорошо, по-настоящему хорошо, ведь, как он считал, здесь, сейчас, он наконец может не лицемерить. Здесь, сейчас, можно без стеснения отбросить любые муки совести, любое негодование, любую жалость и презирать принципы ангажированной журналистики, которые то вдалбливают репортерам в головы на всевозможных курсах и тренингах, то велят забывать… Делиться опытом, не имея опыта, выплескивать эмоции, твердить об ответственности, — до чего же скучная обязанность, преснятина, с души воротит. И ничуть он не лучше других — хуже. Занимается подделкой опыта, изготавливает фальшивки, да еще с каким задором…

Закурив сигарету, он поперхнулся дымом. И подумал: мыслями своими поперхнулся. Он страшно раскашлялся, весь затрясся, приступ долго не проходил, Ариана — когда сквозь выступившие слезы он снова смог что-то различить, — стояла рядом, нервно стиснув руки.

— Вообще-то я хотел спросить тебя об одной вещи, — сказал он.

— Спрашивай. Да спрашивай же!

— Я хотел спросить, какой он был, твой муж?

— Он был очень хороший и очень старался быть хорошим. Однажды у него завелась любовница. Он знал, что я знаю. Он считал себя виноватым перед самим собой. Иногда мне казалось, что он считал себя виноватым и передо мной. Всю жизнь жутко подозревал меня в изменах, но никогда не обижал. Тебе это интересно? Несколько лет мы прожили очень хорошо. Потом решили взять в приюте ребенка. Ребенок — это было самое главное. Мы были уверений: у нас будет не какой-нибудь, не просто ребенок, а «наш ребенок», и такого ребенка, «нашего ребенка», мы бы, конечно, сразу узнали среди других.

— Но так и не узнали?

— По-моему, узнали десятерых или больше. Но ни разу нам ребенка не отдали, потому что наш

брак был смешанным. Выходит, каждый раз мы ошибались. Ничего другого не оставалось, вот и ошибались.

— А почему ты все-таки хочешь завести ребенка теперь? Ты же теперь одна.

— Даже не знаю, как тебе объяснить… — Ариана стала очень серьезной и, опустив глаза, смотрела на свои руки. — Попробую, но ведь наверняка слова будут не те. Может быть, я хочу ребенка, только чтобы не быть одной… Нет, это неправда. И не подумай, что у меня навязчивая идея насчет одиночества, если я скажу — ребенок тоже не будет один. Понимаешь, тот, наш ребенок, он по-прежнему существует, хотя я не представляю даже, как он выглядит. Не могу себе представить. Но он не придуман мной, не выдуман, я не сочинила все это из каких-нибудь гуманных побуждений, — ничего подобного я не хочу. Потому что это было бы неправдой. У меня просто есть неопределенная и все же очень, очень определенная любовь к этому ребенку.

Он помог ей собрать и отнести на кухню грязную посуду. Пол под ногами задрожал. И воздух тоже вибрировал от близких, на сей раз действительно очень близких разрывов. Они остановились и спокойно поглядели в глаза друг другу, без

всякого волнения, — странно, что без волнения, подумал он. Поставили на стол тарелки и что там еще держали в руках. Ариана выключила свет в коридоре и приоткрыла входную дверь. Ни гула, ни грохота — шум улетел из сада куда-то далеко, но в соседней многоэтажке на всех балконах были люди, похожие на тени, они что-то делали, двигались.

— Побудь здесь, я схожу посмотрю, что там, — сказал он и спустился по ступенькам в сад.

Ариана осталась на пороге открытой двери, уходя, он услышал ее слова: «Как же так, ведь объявили перемирие…» Вспомнил: во внутреннем кармане куртки лежит письмо Грете, а куртка в кухне, висит на стуле. А ты тут в яркой белой рубахе. Письмо за эти два дня устарело, оно теперь не имеет никакого смысла. Глаза быстро привыкли к жидковатому молочному свету луны, от которого чуть поблескивала листва лавров. Из многоэтажки доносились голоса, люди на балконах перекликались, о чем-то быстро переговаривались. В саду, похоже, все было цело, нигде не видно воронки от снаряда, вершины кипарисов чуть покачивались. В небе над Старым городом метались сполохи огня, резко, толчками взлетали и уносились в сторону гор клубы дыма.

Вернувшись к дому, он прошел вдоль стены и за угол, здесь был вход в квартиру первого этажа. С этой стороны садовый участок был узким — как раз в ширину мощеной дорожки и пальмовой изгороди. Сразу за изгородью проходила ограда — кирпичная стена высотой около двух метров. Он затаил дыхание — хотелось успокоиться — и вошел в глубокую нишу у входной двери, куда не достигало даже слабое мерцание луны. Прислонившись к двери, взялся за ручку в виде металлического шара. Дверь не поддалась ни на миллиметр. Гладкий металлический шар под ладонью был неподвижен и тверд. Почему-то не хотелось возвращаться в квартиру Арианы. Странно, почему? Совершенно не верилось, что он действительно слышит как бы протяжное шипение и хлопки медлительных лопастей, знакомый звук, он остановился, ступив на дорожку, и прямо над кирпичной стеной увидел взмывший в небо, расширяющийся кверху огненный сноп и лениво взлетающие в огне темные комья. Взрыва не услышал. Тело отбросило, словно оно бешено рванулось бегом, неостановимо. И тут же он вновь очутился в спасительной нише. Кто-то кричал, звал его, ну да, «Георг». Имя прозвучало будто чужое, он не ответил. Но все же смог спокойно

поглядеть, подняв голову, на верхние балконы многоэтажки. Никаких голосов, никакого движения теней. Перед ним стояла Ариана. Положила руки ему на плечи, что-то говорила, что — он не понял. Улыбнулся, глядя на нее, затряс головой и зажал кулаками уши. Они вернулись в квартиру. Ариана вела его. Нет, это не случайные, шальные снаряды, конечно нет. Он хотел сказать об этом Ариане, не смог, опять затряс головой. И обрадовался, так как она тоже ничего не сказала. Эльза, Карл, Грета — подумал о них, о том, что Грета ничего не знает, и хорошо, в каком-то смысле это к лучшему. Ее неведение — словно не занятое, ожидающее его укрытие, вот только попасть туда он не может, не пускают… Когда вошли и Ариана заперла дверь, уши все еще были заложены.

Она выключила свет во всех комнатах, оставила лишь две горящие свечи на каминной полке. Запахло кофе, она разлила по рюмкам коньяк. Спросила, напомнив, что уже предлагала это раньше, не хочет ли он вместе с ней пойти в соседний дом, там есть подвал. Она заметила, что люди в том доме покидают квартиры. Сама она предпочла бы остаться здесь.

— Но решать тебе, — сказала она.

— Нет, я не хочу ничего решать. Давай просто

останемся, зачем принимать какие-то решения.

— Мы успеем, если что, перейти туда, — сказала она. — Если дело пойдет еще хуже.

После кофе с коньяком они выпили еще вина, и обоих охватила непонятная пылкая поспешность или задор, возраставший с каждым новым ударом, от которого сотрясался дом. Ариана сказала, что в последние месяцы уже раз десять пришлось вставлять вылетевшие оконные стекла. Он смотрел на нее долго, неотступно, и каждая секунда, их секунда, когда они вместе, была полна этой неотступности. Хорошо бы понять, сможет ли он спокойно пережить все, что бы ни случилось. Шел одиннадцатый час. Они сидели рядом, совсем близко, на диване. Его тянуло к ней, но как раз поэтому он думал — нельзя, нельзя касаться. Она положила руку ему на плечо, и без всякой задней мысли он рассказал о пережитом вчера вечером, ничего не прибавив. В рассказе время предстало как невероятно насыщенное, каждая секунда была наполненной, каждый миг — плотно пригнанным к следующему. Даже передышки, когда он просто сидел в отеле, теперь, постфактум, стали элементами драматургии, необходимыми паузами. Упомянув об их вчерашнем телефонном разговоре, он почувствовал тепло в груди. Вспом-

нил Рудника, рассказал о нем Ариане. Рудник — чудовище, немец, кошмарный, чудовищный тип, здесь, в Ливане, у него какие-то подозрительные знакомства и связи, он чего-то ждет, какого-то часа, несомненно, это чувствуется во всем: он ждет своего часа. Говорил о Руднике, а думал почему-то о Хофмане — как тот стучится в его номер и, не получив ответа, прислушивается, приложив ухо к двери.

Ариана спросила о его жене и тут же добавила:

— Если не хочешь, не рассказывай.

— О да, — сказал он, — непростая задача. — Хотелось ответить лишь чуточку недовольным тоном, а получилось совсем не то — вроде обратил все в шутку.

— Нет, если не хочешь, не надо. Конечно, зачем же?

— Ну что ты. О чем тебе рассказать? Как она выглядит, чем занимается?

— Нет.

— Спроси конкретно, я отвечу на любой вопрос. — Почему бы и не поговорить о Грете, что тут плохого? Но доверительный, исповедальный тон, жалобы — ясно же, что ими кончится, — вот этого не надо бы. К чему? И вообще лучше бы ничего не рассказывать Ариане, просто быть с

ней, не нужно, чтобы в их отношениях появились какие-то условия, да, лучше всего — не припутывать сюда прошлое, его прошлое. — Ну ладно, — сказал он. — Давай не будем об этом. О детях я тебе рассказывал раньше. А о ней мне не хочется говорить, да и пошло это. Конечно, пошло — ведь если начну, то непременно получится, что я, как следователь, что-то буду раскапывать о ней и о себе. Или буду сыпать ходульными фразами, или заикаться, каждое слово точно пинцетом выуживать.

Уже невозможно стало сидеть так близко и продолжать разговаривать, трусливо оттягивая минуту, когда их повлечет друг к другу, когда они лягут в постель. Но слова по-прежнему были изощренно осторожными, как будто шла игра, в которой партнеры ведут себя учтиво и строго придерживаются правил. Рано, рано, рано, все еще рано — оба говорят, говорят, и всему придают такое важное значение, и ко всем словам относятся так серьезно — до чего же она непонятна и до чего невыносима, эта нерешительность. Может быть, Ариана ждет, когда он наконец соберется с духом и перестанет скрывать от себя, чего хочет. Но в глубине души он чувствовал: сейчас было бы ошибкой уступить собственной прихоти, — ведь

только прихотью это можно назвать. И он предложил пойти куда-нибудь, в бар например, если, несмотря на поздний час, найдется открытый бар. Ариана сразу согласилась.

Они вернулись довольно скоро. Открытый бар нашелся в Рушехе. Но если туда они поспешили, чтобы не быть наедине, то долго оставаться в баре не смогли из-за возбуждения, из-за мгновенно усилившейся тяги — как можно скорей обняться, прижаться друг к другу. Они бросили машину возле ворот и, схватившись за руки, пригнувшись, пробежали к дому и поднялись по ступенькам. Тут Ариана опять предложила пойти в подвал соседнего дома, но он в ответ даже не покачал головой.

10

Свежесть и чистота утра наводила на мысли о начале, во всем было ожидание чего-то нового, потому что солнце уже пригревало и брезжил мирный свет. Ариана отвезла его в отель. Сады были полны библейским струящимся светом, каждый проблеск в их глубине — точно крик ликующей радости. От Арианы, кроткой и притихшей, исходил мир. И от него тоже исходил мир. Даже люди, бродившие среди развалин, покинутые, столько претерпевшие, вновь принявшиеся за поиски, казалось, занимались самыми обычными, будничными делами. Машину остановил всего один патруль, бегло проверили документы. Очевидно, в утренние часы никаких серьезных событий здесь просто не бывает. Война бессильна против библейского света.

Взвинченность и усталость. Прекрасное чувство, как после одержанной победы. Они почти не спали, заснули часа на два перед рассветом, когда грохот на улице стих. Позавтракали, Ариана дала ему стеклянную пробирку с таблетками хинина, его все еще лихорадило и каждую минуту бросало

в пот. Но сейчас настроение омрачалось лишь мыслью, что возле отеля надо выйти из машины и расстаться с Арианой. Как хорошо было бы очутиться вместе с ней где-нибудь подальше отсюда, в Аммане, в Дамаске. Навстречу проехал автомобиль с выбитым лобовым стеклом, лица водителя и пассажира были хорошо видны, различались четко, будто знакомые. А Грета далеко, лицо у нее совсем нечеткое, а у детей — они во дворе — лица бледные, смущенные. Как трудно думать обо всем сразу, мысли разбегаются, рассеиваются. Равнодушие растет день от дня; все — равно и равно далеко. Ты выбит из привычной колеи, но абсолютно спокоен.

Ночью, в постели, они опять пили вино. Ариана оставила гореть ночник. Вой, визг, грохот разрывов часто раздавались совсем близко, где-то рядом, или будто над головой, будоража и подстегивая, словно наркотик, от него бурлила и пылала кровь, их кровь, которая лишь по воле случая не пролилась, не хлестала из ран. Язык развязался, он почувствовал, что может наконец говорить, может высказать, взволнованно высказать все — о том, кем она стала и что значит для него. Он смог говорить об этом именно тогда, не раньше и не позже, и все было правдиво, все было верно.

Он лежал уткнувшись в плечо Арианы и говорил, говорил обо всем сразу, говорил, окутанный ее дыханием, говорил и слушал.

Она ласкала его. Быть может, когда он пришел, она не хотела того, что произошло — близости с ним, но потом, ночью, выйдя из ванной, она сбросила халат и прижалась к нему всем телом. Они знали друг друга уже столько времени — так ему казалось, — но впервые касались, впервые ощущали друг друга. Он почувствовал в себе силу — но не тупую мужскую удаль, нет, скорей все было похоже на сдачу в плен. Ариана что-то шептала. Грохот, будоражащий наркотик, был где-то рядом. Они могли бы открыть окна и умереть.

Должно быть, когда они обнялись, все уже было сказано, потому что потом все слова казались лишь слабой тенью возбуждения, и они не придавали словам ни малейшего значения, слова были так же безразличны, как война, не прекращавшаяся за стенами дома. И странным показались собственные мысли, то, о чем думал, до того как она легла к нему, — на самом деле она видит в нем другого, на самом деле он не тот, кем она его считает.

Они договорились встретиться вечером, если ничто не помешает. На всякий случай Лашен

предупредил, что, может быть, они с Хофманом поедут в Дамур и, если удастся, наведаются в штаб-квартиру палестинцев.

В гостинице портье передал ему большой конверт. Лашен вскрыл его в лифте. В конверте оказалась брошюра с бледными фотографиями, на скорую руку напечатанная на плохой бумаге — несколько скрепленных в уголке листков, оттиснутых на гектографе. Свидетельства людей, выживших во время резни, когда были убиты почти все мусульмане, работавшие на здешней электростанции. Далее сообщение об осаде и разрушении Карантины, и в заключение — призывы к солидарности с народом Палестины, заявления о непреклонной воле к победе.

Лашен прилег на кровать и прочитал все тексты. Пылающие подписи под фотографиями — грубая пропаганда, антиимпериалистические и антифашистские лозунги, «…what the Germans did to the Jews…»[15]Что же так обескуражило? Он понял что. Этим людям, бойцам Фатх, не имеющим шансов и обретающим все большую силу от сознания собственной малочисленности, следует все-таки быть более разборчивыми в

---

[15] Примечания: 15

«…то, что немцы совершили по отношению к евреям…» *(англ.).*

средствах, сейчас они бессильны и не должны так истерично, да еще угрожая, вопить о том, что в конце концов настанет мир и справедливость восторжествует. Да, жаль…

Он взялся за работу, начал делать черновые заметки. Вначале писал очень спокойно и сухо, предложения получались сложными и длинными, слишком пространными, и ладно — это будут кулисы. Описал дымовое облако над Маслахом и Карантиной, столбы дыма, которые тянутся в направлении гор, сияющих, искрящихся в лучах солнца, здешнего волшебного света, потом вывел в углу листка вчерашнее число и описал сражение в Баб-Эдрисе, когда невозможно было определить, где проходит линия фронта, так как бойцы обеих враждующих сторон вели стрельбу из укрытий. Он привел отрывок из рассказа очевидца, уцелевшего во время резни на электростанции, сюда же вставил несколько фраз, которые набросал вчера, — об эскалации реваншистских устремлений. А вот жители района Зукак эль Билат (там жила Ариана), писал он, редко просыпаются, разбуженные стрельбой. По ночам они стоят в темноте на балконах своих домов и переговариваются, обмениваясь последними новостями… Стоп. Он зачеркнул

последнюю фразу… Днем и особенно в светлые утренние часы, когда над землей стелется туман, люди занимаются обычными делами, и видишь, что они полны неистребимого жизнелюбия, радости и, можно сказать, предаются спокойному безделью.

Недурно. Кажется, очерк получится очень хороший. А может, и не получится. Да нет, все отлично. Не хватает, пожалуй, точных, выверенных подробностей, *конкретного материала,* да, нужно побольше личного, добавить имена, привести чьи-то слова.

Он чувствовал подъем. Что его вызвало? Все еще не рухнувшая вера в правдивость написанного. Ведь кое-что и правда пережито им самим, и он может об этом написать. Лоб горит. Должно быть, глаза вытаращены, но скоро они снова станут маленькими и глубоко затаившимися в глазницах, в бездонной тьме… Грета внимательно читает его очерк, а он тем временем сидит в углу за маленьким журнальным столиком и придумывает подписи к фотографиям. Что ж, и в такой фальшивой ситуации я прекрасно могу существовать, другие могут, ну и я смогу, не хуже других. Я живу здесь, в Бейруте, давно живу, занимаюсь торговлей… Нет, у меня свое агентство,

я прожил в Ливане несколько лет, лицо загорело, стало смуглым, мне еще нет сорока. В Германии я банкрот, ну да, я разорился, обанкротился в Германии, дорога туда заказана.

Письма от Греты — этого ждать не приходится. Почту не доставляют, да она и не напишет. Дети здоровы. Ну и хорошо, что нет известий, что не приходят новости из Германии, что здесь нет ни газет немецких, ни еженедельников, в которых вопит и громыхает германская мощь.

Раз и навсегда ты привык к той комнате, к часам и ночам с Арианой. Теперь ваши отношения уже имеют прошлое, и у них есть будущее. Они еще не исчерпаны, каждое прикосновение вспоминается как нечто мимолетное, ускользающее, и нужно это поймать, и тогда оно станет всем. Но, думал он, уже сразу, с самого начала отброшено то, что превращает отношения в интрижку; в них нет ничего от романа или связи. Он ощущал силу, которая не иссякнет и спустя годы, которая не потерпит никакой жалости к самому себе, той жалости, что раньше, когда Ариана еще не вошла в его жизнь, часто застигала его врасплох. Ариане ничего не надо делать, чтобы удержать его. Для этого ей достаточно просто быть. Сейчас она в посольстве, курит в своем офисе, раскладывает

письма в папки. Грета тоже курит и думает о нем. А он осторожно кладет на руки Арианы ребенка. Это ее ребенок, никаких сомнений. Зачем ты пишешь? Чтобы на улице произошло то, о чем пишешь. Возле дома по-прежнему зияет канава, вырытая теплотехником траншея, прикрытая ветошью и стекловатой, тут же — кирпичи, над канавой — дощатые мостки. Ладони вдруг опять будто обхватили голову Вольфа, шишковатую, корявую башку. Он написал несколько вполне благожелательных строк о палестинцах. Достаточно часто они ведут себя как последние подонки, но, несомненно, их песенка спета, если против них будет действовать международный заговор, а это весьма вероятно. И все-таки, писал он, даже если заговор приведет к каким-либо действиям — насколько эффективным, никто не в состоянии предугадать, — все-таки будут продолжаться поиски *«мирного решения проблемы»*. Последнее, на что по-человечески притязают палестинцы (этого он не написал), — не найдя понимания ни у кого во всем мире, остаться непонятыми и принять на себя ответственность за это непонимание и за гибель народа, гибель женщин и детей. Рудник видел трупы детей, ты видел их только на фотографиях. Но ты слишком

хорошо знаком с откликами на здешние события и знаешь, что в Германии громко (уж он-то поднаторел в различении громких и тихих голосов) призывают христиан Ливана нанести ответный удар, а что касается палестинцев, то в Германии считают, что евреи, которым однажды «показали», теперь решили «показать» другим, то есть палестинцам. Оставался открытым один вопрос: о средствах и методах.

А Грета смотрит, как дети вырезают картинки из журналов, а Верена возится на кухне, и лицо у нее еще более гладкое, чем обычно, на коже ни морщинок, ни пор. А сам он тупо слоняется по комнатам. С заплывшими глазами, жирный, подвязывает розы, всю душу отдавая этому занятию.

Отрываясь от писанины, он смотрел в окно. Сады, улицы, крыши, окна. Но не видно, что там в глубине, не видно нутра, в котором все кипит от праведной ярости; что же видно? — мирная, действительно мирная жизнь. Эти краски несокрушимы, от них на всем словно легчайший слой цветочной пыльцы. От этих красок жжет глаза, а может, его опять лихорадит. Но солнечный свет действительно прекрасен — сверкает зелень живых изгородей, пестреют яркие зонтики и полосатые оконные маркизы, фасады желтые, как

песок или глина, — от этих красок во всем теле разливается легкость. Но тут же его снова затрясло от озноба и бросило в жар — будто последовало чье-то возражение или совет быть осторожнее. Лихорадит — вот и прекрасно. Тем лучше работается. Спину и плечи ломит, это замечательно. А вчера ведь думал: как было бы хорошо по-настоящему заболеть, лежать пластом. Ерунда, в конце концов ко всему привыкаешь, ну и вытерпишь пару дней в компании такого типа, как Хофман, который уж точно не забивает себе голову мыслями о здешних проблемах.

Между сегодняшним состоянием и тем, что было вчера и позавчера, колоссальная разница. Лихорадочный жар, ломота, боль — они пока еще нужны, а потом, когда надо будет, он *«вычистит»* все это. Лишь дописав последние строчки, он принял таблетку хинина, из тех, что дала Ариана, достал из холодильника и залпом выпил бутылку пива. На руках еще был слабый запах Арианы, запах, который впервые он почувствовал, когда они переходили через какую-то улицу. Он тогда посмотрел на нее — шрама на лице не было. Посмотрел в точности так, как, давно когда-то, впервые в жизни смотрел на женщину… Впереди серьезная работа, война не кончается вдруг,

за один день. Предстоит написать еще много, он будет посылать отсюда корреспонденции, статьи, очерки о неслыханных вещах. Пусть эти неслыханные вещи шарахнут по Германии, пусть там всех проберет насквозь, и далеко не сладостной дрожью. Отныне — никакого малодушия. Лихорадка — это хорошо, лихорадка бодрит. Надо, пожалуй, выйти проветриться, на улице пот быстро высохнет. Только бы не встретить Хофмана. Два-три дня иногда бывают более насыщенными, чем целые годы. Он сидел в номере, но мысленно уже рисовал себе, как активно будет действовать в городе, как от его активности все разом изменится.

11

Внезапно начались счастливые трудности. От мыслей об Ариане он отвлекался лишь для того, чтобы через некоторое время к ним вернуться, постепенно он начал понимать, что пишет свои очерки для нее, словно по ее заданию. Расставаться с Гретой не хотелось, он думал о детях, думал о том, как они живут, когда его нет рядом. Но ведь он уехал только на время и не собирается ничего серьезно менять в своей жизни. Хотя как сказать — мысль о принципиальном изменении жизни засела прочно, о том, что еще может появиться будущее, совсем другая жизнь, новая жизнь, в которой сразу же, с первых минут, будут навсегда стерты следы прошлого. Почему вдруг само слово «память» сделалось неприятным, почему любые воспоминания стали вызывать неловкость, неприязнь, отвращение, почему все они неизбежно вызывают чувство вины? В воспоминаниях не остается ничего доброго, только плохое, холодное, все, что было им замазано, подкрашено, подделано, все эти неприятные, неудобные и в конце концов мучительные мысли, которые

лишь кое-как удалось ретушировать, а может, совсем не удалось, как не удалось, если начистоту, затушевать многие заблуждения и ошибки, ложные шаги, чувства, обреченные на безответность, а потом и вообще любые чувства. Воспоминания всегда были врагами, обличающими свидетелями, потому что хорошие воспоминания, картины, которые способны вызвать ностальгическую тоску, сделались слишком привычными, со временем стало легко обходиться без них, и наконец они примелькались, потускнели и стерлись. Грета. Чувство к ней тоже сплошная ретушь, а как без этого? — чтобы не могла оскорбить, отвергнуть настоящее чувство. Когда они перебрались в загородный дом, началась новая жизнь, появилось будущее. Жить за городом захотела Грета, и она же первой начала томиться от сельской скуки. Втайне его глубоко, страшно разочаровало то, как просто и легко Грета отвернулась от сельской идиллии, о которой раньше мечтала. Она уезжала часто, не реже, чем он, и отсутствовала тоже подолгу, но в ее поездках не было никакой необходимости, хотя она и утверждала обратное. Так и получилось, что к тому времени, когда он постепенно открыл в себе склонность к сельскому уединению, даже любовь к жизни в деревенской

глуши, к тому времени, когда взрастил в себе эту любовь, Грета уже изнывала от скуки и в душе проклинала сельский ландшафт и жизнь за городом. Страшно разочаровало ее холодное равнодушие к местам, с которыми он сроднился. Отчуждение росло день ото дня, он все больше от нее отдалялся. Если вдуматься, на самом деле не произошло внезапного резкого разрыва, скорей он был неприметным, но в конечном счете решительным и однозначным, значит, все-таки резким. А он по-настоящему не протестовал, потому что слишком хорошо понимал ее отношение или слишком спешил *«понять»* и согласиться с ее взглядами.

Увидев дом, они оба пришли в восхищение, не переставая восхищаться, тут же решили купить его и осторожно, бережно ступили на лужайку перед крыльцом, потом на садовую дорожку. Вдоль забора обошли весь участок. Тогда показалось, что им не хватало в жизни именно этого дома и этой ровной, широкой, просторной поймы… Переехали, зажили в сельском доме. Он спокойно обходился без выпивки. Учился видеть этот мягкий свет, неопределенный, струящийся, видеть, как в мягком мареве проступают деревеньки, словно замершие в тихом умилении.

Любые очертания, любой предмет, тронутые этим мягким сиянием, в тот же миг обретали возвышенный смысл. Эльза сидела на траве. Карлу было несколько недель от роду… В течение долгого времени Грета не соглашалась работать по заказам гамбургских издателей. А он над чем тогда работал? Когда не уезжал за границу, мог приходить в редакцию раз в неделю. Сидел в саду, писал. Стали не нужны встречи, договоренности, взаимные визиты, которых в Гамбурге было выше головы. От них только тупеешь, говорила Грета. Он и раньше избегал этих вечных новых знакомств, *«встреч с интересными людьми»*, все, как один, эти люди что-то делали, были известны, благодаря чему-то особенному или благодаря самым обыкновенным занятиям. В то время не хотелось даже ходить в деревенский ресторанчик, они бывали там лишь изредка и никогда не заговаривали с другими посетителями, арендатором кабачка или с его женой. Молодые люди, других посетителей там не бывало, казались пошлыми; приехав за развлечениями из города, они спьяну бормотали не пойми что и пошатываясь бродили туда-сюда, они приезжали на выходных из окружного городка и окрестных поселков с одной целью — напиться, ну и напивались.

Грохот, изрыгаемый музыкальным автоматом, тупой, рассеянный грохот, наполнял помещение. От шума мутило, лица превращались в карикатурные хари. В такие часы природный ландшафт казался особенно нежным и хрупким. Сразу пробуждалась тревога, делалось страшно за этот кусочек земли, хотелось перенести его как можно дальше отсюда, туда, где он будет защищен от людей-бульдозеров. И по-прежнему казалось — как только они переехали из Гамбурга и стали жить здесь постоянно, над окрестностью нависла страшная угроза. Казалось даже, что он неслучайно перебрался сюда именно в тот момент, когда появилась опасность, что он здесь именно потому, что должен предотвратить катастрофу. Разумного объяснения этому не было — просто чувствовал так. Но в то же время чувствовал, здесь он под мягкой и надежной защитой, укрыт в недрах огромного живого существа, которому можно доверять. Грете эта мысль понравилась. Она сказала, что каждый день открывает в пейзаже новые очаровательные детали и что жить в сельской местности стоит хотя бы ради таких открытий. Здесь не то что в других природных заповедниках — никаких тебе указателей и щитов с надписями, из-за которых всякое дерево или

кустарник превращается в наглядное учебное пособие, получает объяснение и в тот же миг перестает быть живым. Дорожки и тропки еще не приспособили для спортивных и туристских маршрутов, грубо сколоченные скамейки не оборудовали под «уголки отдыха». А уезжать отсюда ненадолго было не жаль, ведь впереди ждало возвращение — он возвращался со звенящим в ушах криком войны и беды, криком других миров. Он не соглашался, если кто-то обвинял его в бегстве от реальности своей страны — здесь реальности как раз в меру, она не душит. А ведь все это еще не прошло окончательно, и только с Гретой у них все рухнуло, она его оттолкнула, он замкнулся в себе, но все-таки часто наблюдал за ней, как бы издалека. Вообще стал внимательным наблюдателем, уверенным лишь в своем физическом существовании, ибо ни настоящих разговоров, ни понимания больше не было. Грета много фотографировала, не только детей, их снимков было множество, целые серии, — теперь снимала все, что привлекало внимание. Собирали грибы, он посадил Карла себе на плечи — Грета фотографировала. Карл выронил ведерко с грибами. Он обругал малыша. Грета подбежала, стала утешать Карла. Сфотографировала рассыпанные

грибы. Он заорал: хватит в конце концов, сколько можно, пора прекратить снимать все подряд! Как она посмотрела тогда, с каким изумлением… Не могла понять, почему он не хочет, чтобы все это превратилось в фотоснимок.

12

Хофман на полную громкость включил радио. Быстрые аккорды, длинные переливы, трели, которым нет конца, бесконечная музыка, без пауз, одни и те же, одни и те же, одни и те же ни на миг не умолкающие звуки, они вьются, змеятся, сплетаются, они как нити, как струны, протянувшиеся и перевившиеся над головой, вокруг лба, паутина, опутавшая локти, залепившая глаза, — нервные раздражители, чуждые, незнакомые, в них так легко затеряться и так легко услышать голос дали.

Хофман гнал вовсю. Лашен бумажной салфеткой вытер пот со лба. Лихорадило не очень сильно, но жар не спадал. После завтрака напала такая слабость, что пришлось лечь, на минуту все вокруг сгинуло в зыбкой черноте, то ли морской, то ли небесной. Хофман позвонил и сказал: пора спускаться в холл, они же договорились о встрече, забыл он, что ли? — но он еще немного полежал, испытывая странное неопределенное ощущение, как будто тело до того ослабло, что уже не сопротивлялось все-

возможным нелепым и навязчивым видениям фантазии. В глазах мелькали газетные заголовки, которые вроде бы никогда ему не встречались: «Civil war approaching the end?»[16] Он увидел, мелкие морщинки вокруг глаз, это были глаза Ясира Арафата, тот с огорчением смотрел на нож, его, Лашена, нож. Подумалось: наверное, воюющие стороны договорились о том, что будут по очереди нарушать перемирия. Ариана — он потонул в ее глазах — сказала: «Неужели мне не позволят взять ребенка, в ближайшее время! Скоро все дети в приютах будут детьми зачатыми и рожденными во время войны!» Опять позвонил Хофман: «Ну где ты торчишь? Я же, черт побери, жду тебя!» Он ответил: «Я мигом».

Хофман стоял посреди холла, рядом, на полу — сумки с фотоаппаратом, сменными объективами и магнитофоном.

— Да ты же бледный как покойник! — удивленно воскликнул он.

Лашен и сам чувствовал: бледный и внутри пустота. Хофман раздобыл напрокат машину — старый «мерседес» с пятнами ржавчины на дверцах и крыльях. Около часа ехали в сторону

---

[16] Примечания: 16
Гражданская война подходит к концу? *(англ.)*

Триполи по шоссе над берегом, внизу виднелись скалы, словно припорошенные золотой пыльцой, ветряные насосы и мелкие бассейны, в которых добывали соль из морской воды. Хофман всех обгонял, подрезая на поворотах. Самое время спросить, как же удалось договориться о встрече, но невозможно было стряхнуть с себя вялость и ощущение чего-то зыбкого, зыбким будет вопрос, зыбким и ответ. Он сидел сзади, силой инерции прижатый к мягкому сиденью. Музыке нет конца, бесконечная музыка. А Хофман захватил-таки инициативу — странное дело, сейчас это не вызывало досады. Охота ему — пожалуйста, и все переговоры пускай ведет. Хофман махнул рукой в окно — смотри, Библос! — но Лашен устроился полулежа на заднем сиденье и не поднял голову, чтобы взглянуть на город.

Недалеко от Шекки они повернули, дорога пошла в гору, внизу на серпантине клубилась поднятая ими желтая пыль. Они проезжали селения, в тени дремали овцы и собаки, у входа в одну из хибар сидели патрульные, парни в штатском, но при виде машины они только подняли головы, а винтовки как лежали, так и остались лежать у них на коленях. Хофман рванул вовсю, и музыка тоже рванула в открытые окна. Захохо-

тав, он обернулся назад — небритая физиономия, волосатые руки, крепко обхватившие руль. Лашен попросил сбавить скорость. Хофман поехал медленнее, закурил сигарету, бросил пачку в ящик для мелочей, где лежали паспорта и документы. За поворотом снова открылся вид на море — огромный, слепящий, искрящийся отблеск далеко внизу. Лашен подставил лицо встречному ветру. Самочувствие немного улучшилось, но щеки по-прежнему горели, пот высох, и кожу сильно жгло.

Они еще не увидели сам Эден, но впереди уже показались первые кедры, дорога поднималась выше и выше в горы, и все больше было кедров, потом вдоль дороги потянулись сады Эдена, сады на террасах, сады вокруг вилл. Хофман сказал: «Вот он, Эден, приехали». Дорога змеилась, петляла, скользила еще выше, и вдруг за очередным поворотом Хофман ударил по тормозам — впереди был полосатый красно-белый шлагбаум. С обломков скал на обочине поднялись трое в элегантных костюмах и темных очках. Двое, медленно подходя, небрежно навели стволы на машину, третий вытащил антенну радиотелефона и что-то буркнул в микрофон. Приказали выйти и предъявить документы. Хофману веле-

ли выключить мотор, он выключил, но прежде смерил тех троих долгим взглядом. Один из них открыл багажник, другой, едва отскочила крышка, наставил внутрь дуло винтовки. В багажнике были только рабочие инструменты, но Лашен испуганно вздрогнул. Эти трое источали опасность, утонченные до приторности, парфюмерно-сладкие токи. Белая кожа, изящные руки. На обломках камней, там, где они сидели, были расстелены носовые платки из тонкого полотна. Человек с радиотелефоном был в расстегнутой до пояса рубахе, на груди у него блестел серебряный крест. Документы вернули после того, как один из троих, с автоматом наизготовку, обошел и со всех сторон осмотрел машину.

— «Мерседес», — сказал он, не глядя на Хофмана.

Тот ответил:

— В чем дело? Не нравится?

— Не нравится. — Мужчина с досадой затряс головой, но смотрел при этом в сторону Эдена.

Другой постучал пальцем по своему телефону и сказал:

— Его превосходительство Тони ждет вас.

Городок оказался еще меньше, чем они с Хофманом предполагали, глядя на карту. От обстрела

здесь, кажется, пострадал только один дом, все окна в нем были забиты досками. На малой скорости из конца в конец проехали весь город, Хофман опять включил радио, музыка заливала все вокруг, никуда от нее не деться. Улица лежала в тени, кое-где возле домов, редко, припаркованы машины, людей не видно. Можно подумать — сегодня воскресенье, тихий послеобеденный час. Хофман довольно быстро сориентировался. Всего на секунду замешкался, потом уверенно свернул в кипарисовую аллею, которая, плавно поднимаясь в гору, вела к высоким кованым воротам. За ними начинался парк. Ворота открылись, пропуская их машину. Дальше, слева и справа в траншее вкопаны в землю два «бэтээра»: стволы, смотровые щели, глаза Распятого на грубо приклепанных к броне крестах и глаза лениво потягивающихся людей в военной форме устремлены на ворота. Медленно проехали между стволами. Кипарисовая аллея вела дальше и упиралась в площадку с большим бассейном, сложенным из крупных камней, кусков здешней скальной породы. В ту минуту, когда они проезжали через ворота, в бассейне забил фонтан. Показалась и сама резиденция — кусочек боковой стены, но аллея не шла прямо к дому, так что

целиком дом не был виден и в случае нападения или штурма вести прямой обстрел с аллеи было бы невозможно. Перед фасадом виллы опять открылась площадка, обсаженная пальмами, на ней стояло несколько лимузинов, черный «роллс-ройс» и броневичок, покрытый маскировочной сеткой, зачем — непонятно. Отсюда к дверям виллы поднималась широкая мраморная лестница. На верхней террасе, возле белого домика охраны, увешанного снаружи образами святых, сидел на табуретке охранник в камуфляжной форме, дремал, свесив голову на грудь.

Дверь чуть приоткрылась, и в щель выскользнули двое в бархатных безрукавках. Под мышкой у каждого в ременной петле — револьвер. Они ринулись к машине и рывком распахнули дверцы, а из виллы вышел третий, в светлой панаме, тот, для кого все это разыгрывалось. Снова обыск. Лашен был спокоен, хотя и вспомнил о пристегнутом к лодыжке ноже. А что тут, собственно, странного? Да, у него нож, на лодыжке, это, конечно, необычно; по какой причине пристегнул нож к ноге? — ладно, что-нибудь придумаем. Тем временем Хофмана обшарили с головы до пят. Его самого обыскали уже менее тщательно, при этом охранник смотрел ему в глаза, пока ощупывал

подмышки, бедра, ноги с внутренней стороны. Опустился на колени. Если нож найдут, неловко будет только перед Хофманом. Стыдно будет смотреть ему в лицо, не очень-то и удивленное — ведь находка лишь подтвердит его мнение о тебе. Он облегченно вздохнул — обыск был окончен, мужчина поднялся с колен.

Впустили в дверь, провели в зал, где на всех стенах висели ковры с восточными орнаментами, точно в каком-то караван-сарае. В каждом углу — диваны и кресла с шелковой обивкой, стиль рококо. Пошли дальше, следом за охранниками с револьверами в ременных петлях, через раздвижную дверь в коридор, по обе стороны которого расположены комнаты. Много комнат. В конце коридора двустворчатая дверь, выходящая во внутренний двор. Вероятно, два боковых крыла дома пристроили позднее, как и замыкающую двор высокую каменную стену с мелкими зарешеченными оконцами. Прямо за стеной, как они узнали потом, был обрыв — отвесно уходящий вниз скалистый уступ. Подойдя к стене и выглянув в оконце, земли не увидишь, — лишь где-то далеко внизу светлело подножие горы, обвитое тонкой желтой петлей дороги.

Посреди двора был плавательный бассейн, на

краю стояли шезлонги, топчаны, детские качели. С двух сторон в стенах были ниши, а в них столики с мозаичными столешницами — шахматными досками. Из открытого окна где-то на верхнем этаже доносились звуки фортепьяно.

Охранники удалились. Они с Хофманом сели за один из столов. Появился пожилой мужчина, темнокожий, поставил перед ними воду со льдом и арак, подал и непременные миндаль и фисташки в маленьких мисочках. На другом столе, за спиной Хофмана, лежала пачка истрепанных комиксов, на верхнем — яркий заголовок: «Сержант Бац-Бац». Хофман положил ноги на стул, взял комикс, начал листать. Снова откуда-то вынырнул слуга и предложил сигары. Лашен отказался, Хофман, не поднимая головы, взял одну. Слуга сказал:

— Его превосходительство Тони просят немного подождать.

Хофман залпом осушил стакан, встал лениво и, шаркая ногами, двинулся вокруг бассейна. Он все еще не сказал, какими хитростями ему удалось добиться приема у «его превосходительства Тони». Лашен, конечно, сообразил, что вилла-резиденция принадлежит сыну президента Ливана. Об этом Тони он знал немного: в ноябре генерал,

вернее, его личные войска, проиграв сражение, оставили Триполи. Кроме того, Тони считали ответственным за расстрел похоронной процессии палестинцев, возвращавшихся в Бейрут с кладбища.

Во дворе появились две блондинки. В распахнутых купальных халатах и бикини. Лица густо намазаны кремом. Кивнув в знак приветствия, разлеглись на шезлонгах. Хофман остановился прямо напротив женщин и принялся беззастенчиво их разглядывать, с комедиантскими ужимками, — вздернув брови, словно ему предстало *явление.* Хотя, как и Лашен, отлично видел, откуда и как они явились. Женщины поглядели с усмешкой, потом отвернулись и, не обращая на него внимания, начали о чем-то беседовать. Лашен прислушался: так и есть, по-португальски. Должно быть, бразилианки, поэтому и смуглые такие, с кожей коричневато-охристого оттенка. Многие ливанские христиане женятся на блондинках, подумал он, берут в жены немок, голландок, белокурых бразильских женщин.

Прождали еще с полчаса. Лашен чувствовал себя вполне сносно, в лицо дул приятный прохладный ветерок. Хофман злился из-за напрасной потери времени и пил рюмку за рюмкой, прав-

да, разбавлял арак водой. Из дома выбежали мальчик и девочка в купальных трусах, хотели с разбегу прыгнуть в бассейн и вдруг застыли на месте, словно по команде. Хофман вернулся и сел за стол. Помахал детям, но те не ответили. Их лица не выражали ничего, кроме холодного любопытства, вид у деток был дорогостоящий. Сколько в них вложено? — куча денег и масса знаний, вернее, уроков. Они медленно прошли мимо, не спуская глаз с Лашена и Хофмана, в нескольких метрах от них развернулись и дальше стали пятиться задом, привстав на цыпочки. Блондинки на детей не глядели, а те все пятились, пока не добрались до каменной стены, замыкающей двор. Там они занялись своими играми, уже не обращая внимания на двух незнакомых взрослых.

Слуга встал у входа в дом, придерживая дверь. Вошли все те же трое с револьверами в ременных петлях, с медлительными движениями, отличавшимися мягкой кошачьей грацией. По-арабски крикнули что-то детям, которые теперь плескались в бассейне. Блондинки тоже что-то сказали, негромко, по-французски кажется, велели не кричать во все горло. Слуга распахнул дверь — и прямо к ним вышел Тони, его превосходитель-

ство Тони, как громогласно объявил слуга, а за его превосходительством семенил, стараясь шагать с ним в ногу, какой-то тип, который вроде хотел о чем-то предупредить Тони, успеть что-то ему сообщить. Лашен сразу узнал — Рудник! Он удивился. Но в ту же минуту понял, кого надо благодарить за организацию встречи с Тони. Рудник говорил по-английски, неустанно повторяя титул его превосходительства. А его превосходительство вышел к журналистам в подвернутых над башмаками синих джинсах и белой спортивной рубашке. Лицо бледное и малость одутловатое. Радушным жестом простирая руки, Тони изобразил страдальческую улыбку. Глаза же смотрели спокойно и тепло, они были слегка навыкате, это подчеркивало горестную гримасу, но в то же время придавало лицу недоумевающее и глуповатое выражение. Слуга пододвинул стул, потом, по знаку хозяина, другой, для Рудника, который пожал руку сперва Хофману и лишь затем Лашену. На столе появилась вторая бутылка арака, виски, свежая вода со льдом, бокалы. Тони предложил для начала поплавать в бассейне, сказал, в гардеробной имеются плавки любых размеров, затем заметил, что спешить с возвращением в Бейрут ни к чему, в доме полно свободных комнат. Ла-

шен отказался: спасибо, спасибо, к сожалению, это исключено. Разговор шел по-английски, об этом попросили Хофман и Рудник. Между прочим, Рудник с подчеркнуто незаинтересованным видом поглядывал по сторонам, словно он тут свой человек, которому хорошо знакома здешняя обстановка и не менее хорошо известно, о чем генерал будет говорить с гостями. Старик держался с подобострастием, но едва Тони открывал рот, вдруг делал надменную мину, словно являлся автором всех высказываний генерала. Когда же Тони назвал его своим немецким другом, Рудник вытаращился и принялся «есть глазами начальство». По поводу дружбы с немцами Тони произнес несколько глупейших тостов, в которых ловко жонглировал словами our countries,[17] и our nations.[18] Лашен спросил, есть ли у Тони пожелания относительно интервью, — пришлось сознаться, что сам он не приготовил вопросы заранее. Хофман водрузил на стол кассетник, потом сделал несколько фотоснимков. Тони что-то шепнул слуге, и тот принес еще один магнитофон. Лашен сказал, в статье можно будет привести

---

[17] Примечания: 17
Наши страны *(англ.).*

[18] Примечания: 18
Наши народы *(англ.).*

большие фрагменты сегодняшнего интервью, а можно поступить иначе — напечатать текст в том порядке, в каком его сейчас запишут, придется, правда, сделать небольшие сокращения. И положил перед собой блокнот с карандашом. Тони вздохнул: сколько раз его слова приводили с искажениями! С досадными искажениями, злостными искажениями, и он не мог призвать к ответу тех, кто был повинен в этих искажениях, все эти люди мгновенно исчезали без следа, нынче здесь, завтра там, ищи ветра в поле.

— Англичане, все до одного — англичане. То, что со мной случилась такая скандальная, такая неприятная история, — типично. И не менее типично то, что именно англичане, два англичанина, намеренно исказили мои слова, превратили мои слова в самую настоящую коммунистическую пропаганду.

Короче говоря, Тони заявил о своем желании предварительно ознакомиться с текстом, проверить, как Лашен передаст его слова. До опубликования, разумеется. Все можно организовать при посредничестве Рудника. Тот немедленно изъявил готовность быть посредником. Лашен возразил: не получится, ведь окончательный текст статьи он напишет уже дома, в Германии.

И Тони воскликнул:

— Отлично! Согласен. Я вам доверяю. Вы немец. Какая удача! Не англичанин — немец!

Хофман фотографировал. Рудник хотел было уйти из кадра, но генерал не позволил, мягко удержав его за рукав. Вокруг бассейна блестели лужи, от едва ощутимого ветра вода подернулась рябью. Лашен задал осторожно сформулированный вопрос:

— Какова, по вашему мнению, дальнейшая судьба Триполи?

Тони наклонился к магнитофону и заговорил:

— Военно-стратегическое значение Триполи сильно переоценивают. — Он вдруг закатил глаза — как будто считывая под черепом, в мозгу, готовые, идеально правильные ответы. — Если вы полагаете, что мы проиграли битву за Триполи, то вы заблуждаетесь. Да, это неверно. Подсчитайте потери, которые понесли та и другая стороны, и вы убедитесь — итог не может служить свидетельством нашего поражения.

— Конечно, — сказал Лашен. — Не сомневаюсь. Бой шел ведь не у вас дома, а в Триполи, разрушенные дома — это дома в Триполи, не ваши дома и не дома ваших друзей.

Тони сделал оскорбленное лицо: что за мелоч-

ные придирки, продолжать разговор в таком тоне он отказывается. Рудник также состроил кислую обиженную мину. Хофман продолжал фотографировать, его ничто не интересовало, кроме съемки. Стоя в отдалении, возле стены, он снимал позировавших ему охранников в бархатных безрукавках, с револьверами в ременных петлях, — то наводил аппарат, то по-дирижерски размахивал руками.

— Минуточку, — сказал Тони. — Вы говорите, в Триполи — не у себя дома. Позволю себе возражение: в Триполи я как раз у себя дома, как и во всем Ливане. Здесь всё, слушайте внимательно, всё — мой дом, неразделимый. Вы как немец должны понимать, что значит неразделимый. Я не хочу, чтобы страна претерпела раздел. Я против раздела по многим причинам. Разделив с коммунистами страну, я разделю с ними власть. Как коммунисты распорядятся своей половиной власти, мы знаем — они же хитрецы, кудесники. Половиной власти они будут пользоваться так, как будто у них в руках вся власть. И постепенно, понемножку захватят всю власть. Такова здешняя ситуация. Коммунисты, то есть палестинцы и часть мусульман, постепенно приберут к рукам строительство наших дорог и аэропортов, начнут

работать в наших больницах и школах, как ни в чем не бывало, как будто ничего и не случилось. Обладая половиной власти, они в конце концов захватят всю власть. Старая тактика, кто ее не знает? Дай палец — отхватят всю руку. Поймите, я готов умереть, но если бы в моей гибели был какой-то смысл… А в настоящее время имеет смысл другое — вышвырнуть из страны коммунистов, то есть палестинцев и некоторых мусульман, которые уже заражены коммунизмом, уже стали коммунистами до мозга костей, да-да, пора их выпроводить.

Тони покачивался на стуле, размышляя над сказанным. Лашен задал новый вопрос:

— Вы собирались сделать Триполи христианским городом. Вместо этого вам пришлось оставить Триполи?

— Я оставил Триполи! Расспросите об этом моего отца. Таковы были условия соглашения.

— Мсье Тони, вы сказали, что коммунистов необходимо вышвырнуть из страны. Означает ли это, что должна пролиться кровь?

— Наш высший принцип гласит: мы, христиане-мароните, убиваем, лишь когда речь идет о защите нашей жизни, убиваем, чтобы не быть убитыми. Это значит, мы стараемся избежать

убийства, идем на такую меру, только когда другие методы оказываются менее результативными. Повторяю, мусульман я не считаю врагами, многие мусульмане не являются моими врагами, у меня много знакомых мусульман, и я их не убиваю. Но те, кто связался с палестинцами, — наши враги. А разве угрожают только нам? Разве другие государства, например ваше, не подвергаются гораздо более страшной угрозе? Мы взяли на себя бремя борьбы. Возможно, мы сражаемся здесь за Германию, Италию, Францию, возможно, мы — единственное государство, которое ставит перед собой цель — охранять само существо свободы. Возможно, все западные страны уже отказались от борьбы. Поймите, это не пустые слова.

Лашен сказал:

— Палестинцы в течение долгого времени воздерживались от военных действий. Но постепенно их втянули в войну, диктовали им условия, устраивали провокации в их лагерях. В конце концов они сделали то, что и должны были сделать, — нанесли ответный удар.

— Это неправда.

— Разве это не безумие — то что вы и они разрушаете страну? Разве это в интересах вашей семьи?

— Вы все поняли превратно. Мы сражаемся, чтобы покончить с безумием войны.

Тони попытался изобразить взволнованность, потрясение и, главное — сознание ответственности, однако глаза его выдали — Лашен прочел в них шкурническую старательность отличника-зубрилы. Тони ломал руки:

— Разумеется, решается вопрос о политической власти, это означает — вопрос ответственности за судьбы тех, кто всегда нам доверял. Повторяю: мы не бездушные убийцы, но мы не желаем стать жертвами истории. — Он просиял улыбкой и поднял бокал, словно произнес заключительный тост.

Рудник сидел, хмуро уставясь себе под ноги. Хофман пил. Женщины и дети купались.

— Скажите, мсье Тони, каково ваше личное отношение к тому, что в стране сохраняется феодальное господство некоторых семей? Может ли такое положение сохраняться в течение долгого времени?

— А почему же нет? Понимаю, вы хотите сказать — это анахронизм. Но что же на свете не является анахронизмом? Вся жизнь — анахронизм. — Он развел руки, эдакий меланхолик, которого не оставляют мысли о смерти, песси-

мист, не знающий радости, ибо его гнетет тяжкое бремя ответственности. — Все на свете анахронизм, вся жизнь — анахронизм… Подумайте, каким анахронизмом было бы, если бы мы сами отказались от власти в стране, сложили с себя властные полномочия, чтобы не обременять себя властью, быть свободными от власти. Освободиться от власти или хотя бы от половины власти означало бы уступить ее коммунистам, целиком или только половину. Взяв половину власти, коммунисты будут поступать так, словно у них в руках вся власть. Здесь, в Ливане, они никогда не получат всей власти. И если я говорю, что они, коммунисты, никогда не получат всей власти, вы должны понимать: это слова командующего, а не штатского болтуна, кем я не стал, это не слова археолога, кем когда-то я мечтал стать, и не слова знатока современной скульптуры, кем я нынче являюсь, — это слова командующего, более того, слова бойца.

— Ощущаете ли вы поддержку со стороны государств Запада? Кто вам поставляет оружие?

— Оружие для нас не проблема. Мы получаем оружие отовсюду, несмотря на то что платим не сразу. Отчасти оно поступает в виде помощи от правительств, которые на официальном уровне

подвергают нас резкой критике, тут причина одна — то, что в нашей стране нет нефти. Вы, конечно, понимаете, какие государства я имею в виду. Как частное лицо, только как частное лицо, я категорически отверг бы такую помощь, ах, хотел бы я быть частным лицом, да лишь ради того, чтобы категорически отвергнуть такую помощь. С детских лет я питал глубокое отвращение к конфликтам, настолько, что даже опасался прослыть слюнтяем. Ну, что таковым я не являюсь, я сполна доказал, однако отвращение к конфликтам у меня осталось — при виде страданий любых тварей божьих я и сам испытываю страдания. Я не могу равнодушно смотреть на страдания людей, женщин и особенно детей. Мне приходится принуждать себя, если необходимо применить силу, любого рода насилие. Применение силы мне неприятно: видите ли, это смущает мою совесть. Но разве можете вы понять, что это значит — быть избранным, дабы совершать необходимое, избранным и удостоенным. Необходимость же бывает то приятной, то неприятной. Я прибегаю к необходимым мерам, преисполнясь сознанием необходимости таковых мер, и мое прирожденное отвращение к конфликтам в этих случаях перестает что-либо значить, ибо такова необ-

ходимость. Хотелось бы, чтобы вы поняли меня правильно. Понимаете ли, есть рай на небесах и есть земной рай, это Ливан, где вы в настоящее время находитесь. И как же мы, ливанцы, должны поступить с народом, который посягает на жизнь другого народа? Палестинцы в Израиле посягнули на жизнь израильтян. Следовательно, у нас, в христианском Ливане, палестинцы не имеют права жить.

— Как же вы собираетесь решить эту проблему? — спросил Лашен.

Тони встал и, низко склонив голову, обошел стол. Ненадолго задержался позади Рудника и обеими руками оперся на его плечи.

— В каждом конкретном случае мы решаем ее особо. Грязные люди, настоящие свиньи. Их лагеря — рассадники заразы, раковые опухоли. Послушайте, что я скажу! Я нанесу молниеносный удар по Триполи и одержу победу. Я нанесу молниеносный удар по Бейруту и одержу победу… Нет, в Бейруте сейчас неразбериха, ввести войска в город не удастся. Я был бы никудышным стратегом, если бы вздумал пойти на Бейрут сейчас. Может быть, ударим во время одной из передышек, во время перемирия, это, пожалуй, куда ни шло… Я буду наносить молниеносные

удары и побеждать, когда пробьет мой час! Да, можете и это записать. И еще напишите, у меня много друзей, в том числе и в вашей стране. Арафату мы отрубим хвост… Этого не записывайте. Палестинцы хитры и умелы, у нас поначалу умения было маловато, но мы выждали, пока они не превратили свои лагеря в самые настоящие крепости и арсеналы… — Тони запнулся. — Ваши симпатии на стороне палестинцев?

— Вот уж не сказал бы, — ответил Лашен. — Я журналист.

— Да-да… А может быть, вы им симпатизируете как более слабой стороне? — Тони погрозил пальцем, но тут же похлопал Лашена по плечу. — Понимаю, понимаю… Конечно, разумеется. Долг журналиста. Увидев вас, я в первую минуту подумал, что мы с вами подружимся. Ну что ж, очень жаль. Долг журналиста. Это ужасно. Вы независимы, но не свободны.

Он отошел и погладил Рудника по голове. Слуга снова налил в стаканы арака. Хофман вернулся к столу в компании стройной негритянки, с отливающей синевой черной кожей. Хофман придвинул ей стул. Девице лет двадцать, темный костюм. Она вытащила комочки ваты, которыми были заткнуты ее уши, и внимательно слушала,

о чем говорили за столом, ловила каждое слово, и кажется, ей все было одинаково интересно, она на все реагировала одинаково — заинтересованно. Хофман убрал кассетник в сумку, туда же сунул микрофон. Фотоаппараты и объективы он уже уложил, сумки стояли застегнутые, оставалось только взять.

Рудник спросил, не подвезет ли Хофман его в Бейрут. Тот с улыбкой согласился. Через двор прошел слуга с миской в руках, в ней были куски сырого мяса. Тони снова предложил гостям остаться, но Лашен, покачав головой, сказал, это абсолютно исключено, им ведь возвращаться через Старый город, надо успеть дотемна. Про себя подумал, что оставаться совсем не хочется, да совершенно невозможно, эти люди ему неприятны, чужды, ни приветливость, ни радушное гостеприимство хозяина ничего не значат. В этих людях была враждебность, неуловимая, скрытная, и от него самого, он чувствовал, тоже исходила неприязнь. Пили медленно. Уже не слуга — сам генерал предложил сигары, Лашен взял одну, закурил от поднесенной Тони спички. Хофман тихо разговаривал с чернокожей девицей, у той изредка вырывался изумленный возглас. В дальнем углу двора элегантные господа

с револьверами в ременных петлях помогали слуге насаживать мясо на шампуры. Там уже стоял передвижной гриль, и один из охранников разводил огонь. Глядя на них, Лашен почувствовал: снова начало знобить.

Мягкий бархатный мох на камнях… словно головы и волосатые плечи. Ни женщин, ни детей. Вода громко булькала в сливном отверстии на стенке бассейна. Теплый ветер, налетая сверху, казалось, напрасно бился о стены. Тони что-то рассказывал, потом, разгибая пальцы, стал перечислять дружественные государства, исключая те, от которых можно получить оружие, а на другую помощь рассчитывать не приходится. На протяжении веков, говорил он, Ливан разоряли и грабили чужеземные державы, они опустошали страну, истребляли население. Османская империя и конечно же сирийцы, которые, некогда потеряв Ливан, сегодня взирают на него с тем большей алчностью. Не забудем и Францию, однако французы не были ни мучителями, ни поработителями, как раз напротив!

Девушка, не вставая с места, наклонилась к Хофману. Похоже, обшаривает его карманы? Нет-нет, она ощупала и помяла сумки. Тони замолчал, и тут девушка предложила Хофману купить еги-

петский саркофаг с мумией, всего за двенадцать тысяч ливанских лир. Можно поторговаться, хотя и так продают почти задаром. Тони зацокал языком и велел ей молчать. Из дома вышли дети, на ходу потягивая лимонад из длинных стаканов через длинные соломинки. Из дома гуськом вышли женщины с большими подносами, уставленными мисками с салатами. Тони сказал, он очень опечален тем, что новые друзья уже уходят, он, мол, чувствует себя покинутым. Хофман с явным сожалением попрощался с негритянкой, это бросилось в глаза. Рудника что-то беспокоило, подойдя к краю бассейна, он уставился в воду, и его старческий резкий профиль под ярким светом казался четко прорисованным.

13

На обратном пути Рудник с двусмысленной улыбочкой рассказывал, все больше намеками, известные ему истории о романах Тони. По-видимому, он и сам не знал, как к этому относиться: презирать генерала за амурные похождения или восхищаться им. Во всем остальном он в глазах Рудника заслуживал исключительно восхищения. Любимым выражением Рудника, когда он говорил о Тони, было «необычайно ловкий»: Тони, его превосходительство Тони — «человек необычайно, удивительно ловкий». Ведь сегодня он один из наиболее влиятельных политиков Ливана, в это прямо-таки трудно поверить, если учесть его возраст, а сколько ему, по-вашему? И так думает не только он, Рудник, это мнение единодушно разделяют все влиятельные лица. Да, Тони необычайно ловкий, невероятно ловкий тактик, более того — стратег, в этом у нас еще будет случай убедиться, как только он получит необходимую полноту власти. Пока что у него этой власти нет, слишком многие ставят Тони палки в колеса.

В Бейрут въезжали уже в темноте. Хофман предложил ехать в черте города по шоссе, которое идет вдоль порта. Сейчас-то все спокойно, сказал он, сократим путь, выиграем целый час. Рудник согласился, но попросил: «Только вы уж, господин Хофман, жмите на газ, гоните вовсю!» Там, на вилле, Рудник больше всего походил на этакого замшелого старичка пенсионера с допотопными взглядами, которые обеспечивают ему надежный тыл, и ни о чем другом не мечтает. А тут он словно встрепенулся, весь напружинился и подобрался, приготовился достойно встретить любые сюрпризы. Спросил:

— У вас, я полагаю, оружия нет?

Хофман мотнул головой. Рудник удовлетворенно кивнул:

— Правильно. Хорошо, что нет.

Лашен заметил:

— Не представляю себя с оружием в руках.

— Бросьте, это ужасно просто.

— Да, наверное, это ужасно просто. Ужасно, потому что просто. Ужасно, что оружие так просто, так легко ложится тебе в руку, что оно сделано как раз по руке. Мне кажется, эта легкость меня сразу убедила бы, и я в ту же секунду спустил бы курок.

Хофман вел машину осторожно. Стекла они подняли. Лашен старался дышать как можно ровнее. Кое-где было трудно проехать в тесных щелях между развалинами и сгоревшими автомобилями. Рудник тоже насторожился, к чему-то прислушивался. Но ничего особенного вокруг не происходило. Рудник заговорил:

— Знаете, вы установили очень полезный контакт. Будь я на вашем месте, я бы этот контакт всячески поддерживал и углублял, крайне деликатно, разумеется. Вот, например, вы, господин Лашен, говорили, что интересуетесь торговлей оружием и хотели бы встретиться с людьми, занятыми в этой сфере. Такие контакты легко можно установить через Тони.

Неподалеку от отеля «Холидей Инн» они услышали выстрелы. У въезда в подземный гараж стоял сгоревший джип. Хофман дал полный газ. Лашен пониже сполз на сиденье. «Если попали в тебя, выстрела не слышишь». Откуда эта фраза, он не помнил. На Рю Ребеиз Хофман сбавил скорость. Здесь' они были уже вне зоны боевых действий, и сразу *ожили* улицы и переулки, показались прохожие, которые и вели себя, и двигались по улицам не так, как в зоне боев, по другим законам. Лашен часто с недоумением размышлял об этой

границе, она оставалась загадкой. Удивлялся, ломал себе голову и вспоминал о тех временах, когда между городами и сельской местностью еще были промежуточные зоны, но в них была точка, вполне определенная точка, находясь в которой можно было сказать: вот здесь! здесь кончается город или — начинается. А эта бейрутская граница двух миров непостижима, и, всякий раз пересекая ее, он невольно оборачивался назад, из окна машины вглядывался в другой мир; вот и сейчас тот остался позади, большой и темный, уже недоступный.

Хофман затормозил возле ресторана гостиницы, там еще горел свет. Сказал, надо отогнать в гараж взятый напрокат автомобиль и отнести сумки наверх, в номер. Попросил заказать красного вина. Вообще-то Лашену сидеть в ресторане с Рудником не улыбалось, но он промолчал. Больше всего хотелось подняться в номер, позвонить Ариане, побыть немного одному. Ладно. Заняты были только два столика, официанты, по двое, по трое, стояли без дела, болтали. Они сели в углу, откуда хорошо просматривались оба входа — с улицы и из холла. В голову все чаще теперь лезли такие вот мелкие меры безопасности, хотя на самом деле не верилось, что они сработают,

начнись тут заваруха. Заказали бутылку красного вина. Лашен расспросил Рудника о сыновьях Жмаеля и Шамуна. Они, как и Тони, воевали, были командирами своих собственных армий, орудовали на свой Страх и риск. Однако Руднику было мало что известно, жаль, он надеялся узнать от него больше.

Они заглянули в меню, выпили. Снова вдруг начался жар, Лашен уже не ждал этого, и теперь захотелось махнуть рукой на все и заболеть всерьез, просидеть в номере несколько дней. В этом ресторане, в этот вечер он вдруг снова почувствовал: кривая жизни в очередной раз нырнула вниз, даже привиделся график. Но в конец не верилось. Верилось лишь во временные провалы, встряски, ведь он не сомневается в правильности того, что делает, и с удовольствием занимается своей работой. Лицо раскраснелось и горело, опять бил озноб, по коже словно пробегали мельчайшие электрические разряды. Пришел Хофман, сел и сразу уткнулся в меню. Да, в дороге он неплохо себя чувствовал, и в Эдене тоже, выходит, симптомы болезни можно подавить на время, а значит, и вообще можно с ними справиться. Рудник разговаривал с Хофманом. Темнокожий официант привез на сервировочной тележке

салаты и хуммус. Лашен подумал о коже Арианы, мягкой коже, вновь ощутил ее ладонями, кончиками пальцев, всем телом, несмотря на одежду и вопреки разделяющему их пространству, — ее спину, бедра, ноги. Он был весь в испарине. От вина голова закружилась, но это было приятно. Рудник вдруг обратился к нему: а что та женщина? Нет-нет, он ни в коем случае не хотел бы задавать нескромных вопросов, его интересует лишь одно — уезжает ли она, ведь скоро об отъезде не придется даже мечтать. В ответ Лашен улыбнулся так многозначительно, что самому сделалось противно, и поспешил придать своему лицу обычное серьезно-сосредоточенное выражение. Попросил Рудника не беспокоиться: сегодня вечером он их гость, они заплатят за ужин. Да-да, подтвердил Хофман, разумеется, и добавил, что уже сказал об этом Руднику. Тот поблагодарил:

— Спасибо. Но при одном условии — если расходы вам возместят, например, как представительские.

— Это и есть представительские расходы, — сказал Лашен.

Он жадно курил, в глазах все плыло. Крохотные электрические разряды теперь как будто пробегали по голове, он взъерошил волосы, на ощупь

они были жесткими, корни волос болели, словно от напряжения. Ощущался каждый волосок. Да еще десны, должно быть, воспалились, ныли. Он ел торопливо и осторожно, а когда говорил, старался не сжать ненароком зубы. Сразу после ужина попрощался, спросив Хофмана, увидятся ли они утром за завтраком.

— Ну да, да. — И Хофман сразу же опять обернулся к Руднику.

Отсюда, издали, война казалась неопасной, даже не совсем настоящей. Сюда лишь изредка долетали ее искры, и только. В местном филиале одной из авиакомпаний взрыв — подкинули взрывное устройство. В дни перемирия снайперами застрелены несколько человек. Иногда вечером случались нападения на прохожих, грабежи квартир. На улицах палестинские патрули. Жители квартала в вечерние часы сидят во двориках своих домов, в садах. Погода стоит теплая, ничего ужасного не происходит. В темное время лучше не высовывать носа на улицу. Сидя у окна в темной комнате, с несмолкающими переливами бесконечной музыки в ушах, в мозгу, во всем теле, он смотрел на красные сполохи огня в небе.

14

Началось радостное ожидание каких-то неведомых событий. В комнате было тепло, за окном разливалось мощное сияние утра, но когда он подошел к окну, лица коснулась, осязаемо тронув зрачки, холодная свежесть воздуха. Голубовато-льдистый воздух, закалка чувств в ударившем кверху жестком свете.

Он вернулся из холла, где прочитал последние телетайпные сообщения. В них даже не упоминалось о том, что палестинцы и мусульмане взяли Дамур в кольцо осады. В Ашрафие ночью до основания разрушен жилой дом, все шестеро жильцов погибли. На улице перед входом в «Коммодор» два мальчика-курьера собирали на мостовой какие-то клочки бумаги. Отвернувшись, не глядя, брезгливо подхватывали кончиками пальцев и совали в мешок для мусора.

Вчера вечером звонить Ариане было уже поздно. Он принял две капсулы хинина и хорошенько укутался одеялом. Зубы выбивали дробь, стиснуть их было невозможно, в конце концов он встал, единым духом выпил оба шкалика виски,

как обычно стоявшие в холодильнике, и написал Грете новое письмо. Первое ведь так и не отправил. Вчера вытащил его из кармана, смятое, и кое-как пристроил на старое место — на столе у ножки лампы. Произошло важное событие, писал он, по этой причине моя жизнь, вероятно, изменится, а значит, изменится и твоя… А может быть, и нет, может быть, и не будет каких-то изменений, подумал он, и ты снова впадешь в свою прежнюю, давно осточертевшую всем летаргию… Если начистоту, писал он, я жду, я хочу серьезных, нет, радикальных изменений.

Письмо не останется без последствий, собственно, это письмо и есть серьезное изменение, оно раз и навсегда все непоправимо изменит. Впрочем, надежда на то, что Грета письма получит, довольно несбыточна. С утра он принял горячую ванну, после, весь мокрый, вспотевший, прилег в халате и лежал, пока лицо не перестало гореть. Это было совсем так же, как когда-то давно, когда мать заботливо укутывала его и приносила горячего чаю. В детстве он несколько раз болел тяжело, как сейчас, и лежал в постели такой же тихий, «хороший мальчик».

Утро и правда необычайно прекрасно, его омрачают, слегка, лишь твои собственные мысли.

Бойцы сейчас спят сном ангелов в своих укрытиях, убийцы спят сном ангелов. Почему ты не такой, как любой из них? Откуда в тебе такая умиротворенность, почему ты вечно застреваешь на полпути, не в состоянии на что-то повлиять? Почему твои руки, твой мозг, твой нож, наконец, ни на что не способны? Силы ничтожно малы, словно их никогда и не было. Но ведь причина не в том, что ты в принципе не хочешь того, к чему стремятся те люди, и не в том, что ты чище, так как никогда не применял силу. Тебя останавливают на полпути и примиряют со всем, что творится вокруг, только твои собственные размышления, твой мозг — в нем, в твоем мозгу, есть область бездействия, центр бессилия, отрешенности от любых событий. И в твоем состоянии виновны только твои собственные размышления об этом состоянии. Размышления о бездействии, о бессилии — это и есть начало бездействия и бессилия. Несомненно. Отныне — ни одной мысли. Пока ты тут едва не умираешь, размякнув как тряпка от своих мыслей, снайперы чистят винтовки и запасаются патронами. Жертвы — люди, которые погибнут сегодня ночью, уже встали, вышли на улицы, у них планы, им надо много чего сделать. И с теми и с другими ясность, вот только ты — не

пойми кто, потому что для тебя все перестало быть реальным, потому что ты, едва узнав о чем-то, в следующую секунду приходишь к выводу, что *все* одинаково реально или одинаково нереально. Все существует и не существует. Ты сам себе подаешь знаки откуда-то с другой стороны. Сады цветут, солнце поднимается выше домов и заснеженных вершин. Хофман уже шныряет где-то в городе. Рудник прикидывает, какие выгоды принесут ему связи и знакомства, мелкий подонок, который даже не осознает, что давно отстал от жизни, реальной жизни, что его интриганство неуместно, несвоевременно. Рудник — комедиант на роль «кушать подано» — пустую роль. Ариана завтракает в одиночестве. Вчера вечером она не слишком долго ждала твоего звонка. А почему же не позвонил? Оставшись один, ты не чувствуешь, что она тебе близка. А если возле ее дома ударила ракета, сад взрыт снарядами, цветы смешаны с грязью, в буквальном смысле? Надо позвонить Ариане, а лучше — встретиться, немедленно. Грета. Она почти исчезла. Она существует, да, и ты это знаешь. Нет, опять не то — ты просто не хочешь о ней думать. А как же дети? Дети здоровы, тут не о чем беспокоиться. Кажется, сохранилось сильное чувство неловко-

сти перед детьми, помимо ответственности. Но есть ли оно? Неизвестно, по правде говоря.

Он сел за стол и по своим заметкам восстановил весь разговор с «его превосходительством Тони». Кассету можно будет послушать потом, когда начнется работа с корректурой. Разговор незачем публиковать в виде интервью, речи генерала Тони лучше дать в пересказе, в подробном изложении, и включить их в текст статьи. Он описал Тони: меланхолик, который, словно детеныш рептилии, почувствовав жаркое дыхание смерти, прогрызает мягкую оболочку яйца, выходит наружу и бросается в бой, он жаждет лишь одного — уничтожать, ибо лишь это дает ему ощущение жизни. Он всюду ищет сильнейших раздражителей, ему нужны жертвы, побоища, насладившись ими, он становится мягким и нежным, как моллюск. «Таким кровожадным может быть лишь нежное сердце», — написал Лашен. Разумеется, решающее значение имеют не деструктивисты, движимые садистской жаждой наслаждений, — принципиально значимы политические цели и интересы крупных ливанских кланов. Однако в здешних условиях оба фактора неразрывны, слиты воедино, и это, конечно, неслучайно.

Случайно или неслучайно, на самом деле это

все равно. Ты никогда не пишешь того, что думаешь, вернее, пишешь то, что думаешь, но помнишь о читателях и пишешь то, что считаешь приемлемым, возможным в тексте статьи. Почему так легко нашлись точные слова, чтобы охарактеризовать этого липового полководца? Может быть, сей персонаж внушает тебе такое сильное отвращение лишь потому, что ты слишком хорошо его понимаешь? В то же время с пониманием штука непростая, куда прикажете его девать, понимание? О нем же не напишешь. Важны контрасты, все дело в них и, как ни крути, в «добре и зле», да, как ни крути, хотя ни добро ни зло уже ничего не значат, потому что все спятили и, безнадежно увязнув, мыслят лишь в категориях безумия. «Добрым», по-видимому, сегодня может быть только смешной дедуля или велеречивый сектант. «Злым» же… в существование злых людей никто не верит, злой человек не по своему хотению оказался в такой роли — ведь чего он хочет? С ним по крайней мере не соскучишься…

Ага, вот почему и тебе необходимо чувствовать отвращение, ненавидеть, желать, чтобы такой тип, как Тони, поскорей свел счеты с жизнью.

Снова — мысль, которая уже не раз приходила

в голову и стала вроде хорошего знакомого, — человеческая жизнь *ничего* не стоит, и что ни день сталкиваешься с фактами, подтверждающими это, и не находишь ни одного опровержения; между тем от нас вечно требуют деклараций, будто бы человеческая жизнь является величайшей ценностью, и осуждения тех, кто пытается привести доказательства противного. Хорошо, что не согласился отобедать с Тони, иначе после, пожалуй, испугался бы своего неподдельного интереса — к кому же? — к убийце. А то и симпатии к нему, как знать.

Писал-то совсем о другом, и цель была другая — разделаться с Тони. И все-таки как же этот Тони дошел до того, что стал убийцей? Ведь он отдавал приказы убивать людей, это известно, известно и то, что он лично участвовал в убийствах. Он написал: Тони массировал один из его слуг, настоящий горилла, а в это время сам генерал читал комикс под названием «Сержант Бац-Бац».

Лашен оторвался от работы, почувствовав голод. Во рту был привкус пыли, не гостиничной, а как будто вдохнул воздуха залов или аудиторий. Жар, конечно, опять может начаться, но только если сам это допустишь. Ариане в ее большой квартире (в сотый раз пришло в голову — слиш-

ком большой) никто не нужен, ты тоже. Не надо тешиться иллюзиями. Ты становишься явственно ощутимым, с каждым днем больше, и это уже не чувство, а что-то вроде чрезмерно явственного ощущения самого себя, своей плотской оболочки. Не забывай: «Если ты молод и здоров, незачем обращать внимание на собственное тело!» Но плечи свело, не пошевелиться, голова, кажется, вот-вот расколется от напряжения, подбородок и скулы — как судорожно стиснутые кулаки или словно под гипсовой повязкой. С походкой тоже что-то не то. Иногда шагаешь широко и делаешь слишком большие шаги, но если станешь семенить, обуздывая себя, походка сделается неестественной, жеманной. Пробовал ведь уже… Но это пройдет. Еще пара дней — и пройдет, и опять будешь уделять внимание другим вещам. А сейчас, пожалуй, серьезно беспокоит лишь боль в правом глазу, там будто засело что-то и сильно мешает. И неприятно, что глаз не закрывается, хоть и уговариваешь себя: закрой, ведь это так просто. Не поискать ли в лавках повязку на глаз?

Есть хочется (и тут же картина — внутренний вид пустого желудка), да, правильно, надо поесть, но он по-прежнему сидел за столом, хотя перо отложил. Грета фотографирует. Недавно

она сделала репортаж о так называемых моделях, то есть фотографировала девушек, которых совсем с другими целями снимают другие фотографы. Однажды Грета сказала, они кажутся ей пустышками, красавицами с дистанционным управлением, но своей пустоте они сумели найти разумное применение, да какое там разумное! — не о том речь, она другое хочет сказать: они умеют использовать свою пустоту с колоссальным размахом. Грета сейчас в гамбургской квартире, занимается уборкой. Всю неделю дети были только с Вереной. Эльза плачет; когда она плачет, становится похожа на Ариану, а впрочем, он же никогда не видел Ариану плачущей. Невозможно представить себе, что дома сейчас зима, нет, конечно нет, уже весна настала, уже влажно поблескивает земля, уже подрезаны розовые кусты, по полям наискосок ползут тракторы, по реденьким озимым тянутся следы колес, на каштанах уже лопаются почки. Трубы отопления так и лежат, неотремонтированные, в разрытой канаве, сверху навалены ветошь и стекловата, камни и доски. Вольф объявился, опять посмотрел, что да как, сказал, сделать ничего нельзя. Базальт у дамбы отсвечивает глубоко-зеленым… Он бродил там тенью, его тень встречала родных,

а те уже сели завтракать. Велосипеды — успел увидеть быстрый промельк блестящих спиц — мчат по дороге. На площади в поселке люди здороваются — как будто на миг выглянули из надежных укрытий.

Он поднялся рывком. Отложил в сторону исписанные листки, надел куртку. В коридоре постучал в дверь Хофмана. Тот крикнул: «Сейчас, через пять минут, жди!» Он вернулся в номер и позвонил Ариане. Разговор получился простой. Он сразу забыл, что собирался объяснить, почему не позвонил вчера вечером. Она рассказала, что во дворе многоэтажного жилого дома по соседству ночью окотилась овца, принесла двух ягнят, уже утром они встали на ножки и сосали мать, — она видела, да и сейчас видит в окно. Мать, сказала она, выбрала для родов спокойную ночь, нынче было гораздо тише, чем все последние ночи. Ариана говорила очень нежно: ласковое касание голоса. Подумалось: наверное, она лежит в постели.

Он спросил, можно ли прийти к ней вечером.

— Да, — сказала она. — Конечно. Я не уйду.

— Понимаешь, обещать не могу, — сказал Лашен. — Но я хочу добраться к тебе и попробую это сделать.

Она ответила:

— Не надо ничего обещать. Я же сказала — буду дома. Пока не стемнеет, посижу в саду. Тебя не буду ждать. Так что, если придешь, тем большая удача для меня.

— И для меня. — Сказал и подумал: что за глупость. — Хорошо, Ариана. — Он оперся рукой о стол, чтобы устоять, — прижав к уху трубку, с сигаретой в углу рта, перед окном.

— До скорого! — сказала Ариана, и он поспешно положил трубку. Показалось, будто, с силой навалившись, открыл тяжелую дверь.

Постучав, вошел Хофман, уселся, он был в недурном настроении и всем своим видом показывал, что он такой же, как всегда. Ради бога, почему бы и нет, он всегда «как всегда». То есть на физиономии написано: все прекрасно помню, бурные ночи мне нипочем, с памятью полный порядок. Что ж, Хофман и правда прекрасно ориентируется в обстановке, нельзя не признать.

Дрожащее марево света, гудки и шум, вьющиеся волчком голоса — казалось, на улицах все происходит лишь чисто случайно. А может быть — по бессмысленной и никчемной всеобщей договоренности. Мимо пролетали краски, мимо пролетали резкие запахи, невидимая дымка

повисла над колышущимися волнами. Опять эти взгляды из укрытий — из-под покрывал и платков; и руки, сплошь в темных пятнах, изможденные протянутые руки, уже полумертвые, с просвечивающими сквозь кожу синими жилами; люди сидели на корточках — человеческая плоть, словно бросовый, испорченный товар, прикрытый влажным тряпьем; казалось, они исчезнут вместе со своими язвами, экземами, нарывами не раньше, чем их сметет и увезет на свалку мусороуборочная машина. Приходится убеждать себя в том, что это и правда люди, подумал Лашен, они умирают почти беззвучно, так же как при жизни быстро и беззвучно скатились вниз по наклонной. Растения. Индивид среди них выделяется. Индивид носит английские костюмы, в ожидании его появления шофер полирует стекла и зеркальца автомобиля. Индивид живет неторопливой, наполненной жизнью, в ней на его долю приходится больше реальности, в ней его вдобавок еще и любит кто-нибудь. Он даже смерть свою обставит с великой помпой, если, конечно, умрет, ведь глядя на него, можно подумать, что умирать он вообще не собирается. Такая публика — по ее адресу Лашен иногда отпускал критические замечания — уже давно отсутствует

в общей картине города, эти люди перебрались кто в Лондон, кто в Париж, кто на Кипр. А немногие еще оставшиеся в стране живут-поживают в резиденциях, и для этого им необходима собственная гвардия, артиллерия, вертолеты.

Он пошел к Ариане пешком. Глаз снова заболел, он прикрыл его рукой, шел, держась в тени домов и каменных дувалов. Солнце на другой стороне улицы — на фасадах, на лицах, на автомобилях — было мирным и желтым. Хофман рассказал, что перед отелем «Конкорд» вчера осколками снарядов убило трех женщин. Скорей всего — такие высказывались предположения — обстреливали посольство Саудовской Аравии, на той же улице неподалеку. Воронку закидали булыжниками, сверху песком, потом прохожие, которых там хватает, утоптали небольшой бугорок земли. Зарешеченное стекло на балконах «Конкорда» где растрескалось, где зияет дырами.

Пообедав с Хофманом, он еще около часа занимался тем, что выписывал фактические данные, их надо будет поместить перед статьей, нечто вроде введения, страницы на полторы. Если Дамур возьмут, после этой преамбулы можно будет поместить еще и рассказ о каких-то конкретных случаях, происшествиях, причем называть все

своими именами. Плюс фотографии.

Ноги гудели, наконец-то он добрался до дома Арианы. Она сидела в саду, удобно положив ноги на второй стул. По дороге он придумывал, так и сяк вертел фразы для статьи. Нет, надо попытаться описать все как есть, а не насыщать текст своими рассуждениями. Все равно фразы получались пустые, в них совершенно не чувствовалось того, что хотелось сказать, да, так было даже с отдельными словами, они оставались пустыми, выхолощенными, как будто внезапно лишились силы и выпали из круговорота человеческого общения. Да только ли слова? Может быть, ускользали и сами темы, события? Бегучие, неуловимые, их не привяжешь к словам, не процитируешь, когда тебе надо. Слишком много в них «предположительного» и «так называемого». Насколько проще держать палец на спусковом крючке, чем вымучивать какие-то словеса, насколько проще убивать, попадать в цель, быть убитым или заваленным под стенами обрушенного дома. Насколько все-таки проще и понятнее, несмотря ни на что, жуткая правда — что сам ты при этом ничего не чувствуешь. Да, мне бы надо, если я хочу написать что-то стоящее, самому сражаться и погибнуть, и при этом вести репортаж,

по-настоящему подвергаться опасности и быть убитым, жить в постоянном страхе и умереть от этого страха, огромного страха. Взять ружье и встать в строй, стать бойцом одной из здешних бригад. И не ради победы, не ради некой справедливости, а только для того, чтобы вернуть себе власть над словом, чтобы избавиться от паршивого состояния, когда знаешь: все дело в фактах, но облеченная словами суть их оказывается пустой, и нечто существенное утрачивает важность.

Кипарисы, прекрасные, темные, курчавые как мех, трава блестит сочной зеленью, на лужайке — плетеные кресла. Лицо Арианы светлеет среди светлых волос, лодыжки матово смуглы. На плечи она набросила покрывало. Он опустился на колени и обхватил ее руками. Ариана засмеялась и крепко обняла его, когда он хотел подняться.

— Настали великолепные дни, верно? — сказала она.

От этих слов он опешил и, в растерянности не найдя ничего лучшего, ответил:

— Ну да, будто в насмешку.

Она улыбалась спокойно, безоблачно:

— Понимаю, что ты хочешь сказать. Садись. Сюда садись, поближе. Ты прав. Похоже на насмешку, потому что зима на дворе и война идет.

А мы живем как раньше, греемся на солнышке, не воюем, не бежим от войны, я к тому же почти не занята на работе.

— Все очень просто, — сказал он. — Если нам хорошо, значит, хорошо. И никаких «но». И перестань смеяться. Давай будем много ходить по городу. Мне бы очень хотелось.

Он сбросил ботинки и босиком прошелся по траве, нарочно ступая твердо, чтобы подстриженная трава колола пятки. Вот так, будто любопытная птица, чуть не вывернув шею, отошел от Арианы, потом мелкими шажками вернулся и рывком поднял ее со стула. Ловко выскользнув, она расстелила покрывало, улеглась и сказала:

— Я так рада, что ты тут, со мной. Но, если по правде, не беспочвенна ли эта радость?

— Никаких «но»!

— Когда ты уезжаешь?

— Момент истины?

— Почему бы и нет?

— Тебе очень надо это знать?

— Да нет, не очень, — сказала она. — Совершенно незачем об этом спрашивать, мне вообще никогда не нужно было о чем-то знать. Я и о будущем не задумываюсь, понимаешь, не беспокоюсь о том, что меня ждет, просто не люблю этих мыс-

лей. А вот из-за тебя начала об этом размышлять.

— Почему?

— Сама не понимаю! Вдруг появляется беспокойство, думаю: что же будет, когда ты уедешь. Ах, да чепуха это, не забивай себе голову. Я же понимаю, это неправильно. Все, хватит, ни слова больше!

— В Германию я, пожалуй, еще не скоро соберусь, — сказал он. — Германия, ну и словцо… Ты слышишь, как оно неприятно звучит? Германия! Будто стальное что-то, безрадостное, упрямое. Все еще погромыхивает, не может уняться.

— Так оставайся здесь, — усмехнулась Ариана. — Станешь арабом, как я.

Он засмеялся в ответ, а все же на долю секунды похолодел от испуга. Взяв за руку, она с усмешкой заглянула ему в глаза, потом — точно, он не ошибся — разочарованно выпустила руку.

— Можешь не опасаться, — сказала она. — Я никогда не буду тебя удерживать.

Его бросило в жар, на лбу выступил пот, щеки горели. Как она осторожна.

— Я ведь понимаю, — продолжала она, — у тебя своих проблем выше головы, зачем же вникать еще и в мои проблемы. В сущности, ты ведь ничего не хочешь обо мне узнать, вот даже сейчас,

рядом со мной, ты предпочитаешь оставаться в одиночестве.

Он стиснул зубы, чувствуя, что иначе от удивления разинет рот. Попытался взять насмешливый тон:

— Надо же! Раскусила. Ну и ну, я просто растоптан, побит и парализован, так что ни на что теперь не отважусь.

— А до сих пор ты на что-то отваживался? — Она отвернулась, и он не мог видеть ее лицо. Напала страшная нерешительность — лишь после долгой паузы он с трудом проговорил:

— Ариана, я думал, не надо на что-то отваживаться, я не хотел отваживаться, не хотел чего-то вымученного или убеждать тебя в чем-то, что связано со мной, объяснять что-то тебе и себе. Я думал, все хорошо как есть. Но конечно, не хорошо, да, конечно, не хорошо. Как есть — не хорошо. Но я не понимаю, зачем же, зачем ты пытаешься поймать меня? Я ведь все время думаю, все время, мучительно, о том, что чувство, которое просто появилось и есть, наверное, ничего не стоит. Может быть, надо стараться, трудиться ради чувства?

— Думаю, да, — сказала она. — Но я о другом. Неужели ты не можешь освободиться, перестать все

время ощущать страх? — (Она говорит о трусости твоего сердца.) — Почему ты не в силах отказаться от своего метания, шараханья? — (Да-да, твоя дурацкая дерготня!) — И не бояться, избавиться от страха, что, отказавшись от этого, ты *всего* лишишься. Останется что-то другое, поверь, что-то неожиданное. Не кури так много. Вот и сейчас ты не можешь вылезти из своей скорлупы, ты же всегда, ты же вечно прячешься под скорлупой.

Непонятно — что с ним такое? Побит, разочарован или неприятно удивлен? Ариана вдруг перестала быть взрослой, спокойной белокурой женщиной, рискованно самостоятельной, она внезапно перестала понимать все без каких-то особенных слов и не могла подняться выше обиды, которую он мог бы ей нечаянно причинить. Но он же любит, и как любит, ее золотистую кожу, а ей теперь нужно что-то другое, да и не что-то, а, наверное, *все;* хорошо, но ведь к ним-то, к ним двоим, *все* не имеет ни малейшего отношения. Он чуть не взвыл в голос, но тут же понял, что готов считать, будто произошло нелепое недоразумение. Больше всего хотелось сказать: оставь, оставь меня в покое, дай мне быть таким, какой я есть, и ты тоже будь сама собой, не старайся стать другой, я не хочу ничего другого. Все во мне

— сплошная безнадежность, я фаталист, причем фатализм мой заразителен, но ведь я здесь, я с тобой.

— Эх, ты… — Ариана медленно, с силой, отвела его руки — он гладил ее по голове.

Она встала и лениво побрела к дому. В походке сквозило равнодушие, ну да, теперь она тебя презирает, уже забыла о тебе — вот что ощущалось в ее походке, когда она в легком светло-желтом платье не спеша уходила прочь. Она поднялась по ступенькам, скрылась в доме, и он буквально заставил себя *«принять решение»* и пойти за ней. Все еще казалось — чепуха, небольшая размолвка, ну, может, фальшивая нота прозвучала, а больше-то ничего.

Наливая пиво, она наконец заговорила:

— Какая красивая у тебя кожа, а руки твои я могла бы разглядывать часами, такие они родные. А вот лицо — нет, тут что-то совсем другое, к твоему лицу слишком много пристало, слишком много вероломства и каких-то оговорок, каких-то «но». И потом, ты, по-моему, очень следишь за выражением своего лица.

Итак, это случилось — Ариана застала тебя врасплох. Как раз в тот момент, когда ты, чуть не лопаясь от самодовольства, упивался мыс-

лью о безнадежности, наслаждался сознанием собственного фатализма. Но если ты и правда любишь, мало просто повалиться на землю, мало быть сломленным и смиренно отдать себя другому, в полную его власть; если и правда любишь, то не можешь быть замкнувшимся в себе, подличать, холодно рассчитывать… Грета. Ты ведь и от нее замкнулся, это началось много лет назад, и ты подличал с ней, ты был с ней холодно-расчетливым и безжалостным. И ты не вправе ни понять, ни простить себя за это. Ты всячески старался показать, что в конце концов Грета всегда может на тебя положиться. В конце концов. На пути к нему, к *концу концов,* которого они всеми силами не хотят достичь (это история их любви, любви, которой они всеми силами не хотят, история любви, отложенной на потом), ты отводил Грете лишь роль спутницы, — пусть она будет рядом, пусть испытывает привязанность, но не слишком сильную, а как бы само собой разумеющуюся. Грета и стала чем-то само собой разумеющимся, но начала ускользать и все чаще уезжала из дому. И все чаще о чем-то умалчивала. Со временем у нее появились любовники, с которыми она тайком говорила по телефону. Боль была нестерпимой, но ты ее вытерпел. И

с ревностью в общем-то справился. Тоже стал избегать Греты, немножко страдая, немножко чувствуя свою правоту. Ревниво косился на ее куртки и пальто в прихожей на вешалке, когда она уезжала.

В эти мысли внезапно ворвалась тишина. Пивная бутылка на столе пуста. Арианы нигде нет. Поискав, нашел ее — в спальне, на кровати, со стаканом пива в руке. Она лежала совсем тихо, не слышно было даже дыхания, волосы упали на лицо, и видно — впервые — ухо. В нерешительности остановился, не подходя близко. Что она думает о тебе? Ситуация, казалось, была такой, для которой не существует каких-то правил. Напало оцепенение, словно неведомые колдовские чары, взгляд Арианы из-под прикрывающих лицо волос, казалось, устремлен прямо на тебя.

— Разве тебе не понятно, — сказала она, — я чувствую себя будто немая или будто я, как говорится, милая крошка, да и та — твое создание. И должна быть довольна, чтобы и ты был доволен. Мне кажется, ты не ждешь от меня ничего, кроме банальной покорности. А если однажды расщедришься на большее, то я для таких щедрот окажусь слишком мелкой.

Он хотел ответить, но в последнюю минуту

удержался; и хорошо, что промолчал, не то начал бы беспомощно лепетать, да, пожалуй, так и лепетал бы с этих пор всегда.

— Что еще я могу сказать? Только то, что мне не нравится, как ты ко мне относишься.

— Значит, мне уйти?

— Ну что за ответ!

Слишком мало опыта, да не в опыте дело, — видимо, не дано ему находить взаимопонимание с женщинами, которые хотели быть для него чем-то большим, чем только неким контрастным дополнением. А теперь приходится признать, что Ариане он стал в тягость. Дожидаться, пока она сама об этом скажет, не хотелось, и с довольно обиженной миной он поспешил объявить, что теперь ему остается одно — уйти. Ариана улыбнулась и обняла его за шею. И с пустым, бессмысленным выражением в глазах, потянула его к себе, раздвинув ноги. Плоть на внутренней стороне бедер казалась вялой и податливой, словно бы растекающейся, это почему-то подействовало возбуждающе, и он — вместо первого слова вырвался хрип — спросил, можно ли к ней лечь. Она кивнула и, снимая юбку, отвернулась к стене, пряча лицо.

Оттолкнула? Нет, может быть, и нет. Но глаза

не закрыла: значит, все-таки отталкивает, не подпускает — вот оно что… И на все его отчаянные усилия она не отвечала, в ней была лишь глубина пустоты, и только когда он, тяжело дыша, униженный, сдался и стиснув зубы от ожесточенной, окостенелой обиды, отодвинулся, она принялась его гладить и снова привлекла к себе, медленно. Все — медленно, медленно, так ей хотелось. Взяв в ладони, она поцеловала его разгоряченное, по-детски обиженное лицо и прошептала:

— Ах, до чего же хитрая она, твоя кожа!

Услышав, как прерывисто она дышит, он на какое-то время успокоился. На одно-единственное, пусть долгое, мгновение, когда он увидел ее лицо совсем близко, совсем рядом со своим, она вдруг показалась новой, изменившейся. И промелькнула мысль — лишь теперь ты ее познал. Ее красота пронизывала как боль, красота, столь далекая от всех его прежних образов и представлений.

15

Он надеялся остаться у нее на всю ночь с воскресенья на понедельник. Стал совсем тихим и мягким, но все же держался чуточку угловато, — так она сказала, добавив, что ей это нравится, угловатость нравится и неуверенность, и строптивость, хотя в то же время, сделала она оговорку, эти повадки ей давно знакомы, и когда подобным образом ведут себя мужчины, то это, пожалуй, подозрительно.

Они вместе приготовили ужин из того, что нашлось в доме. Потом снова легли. Размолвка, или фальшивая нота, похоже, осталась в прошлом. Об этом он уже не думал. Они вдруг начали говорить, говорить не умолкая, словно никогда больше не будет такой возможности, и показалось, что Ариана тоже довольна. Да, кажется, она довольна. Но после она все-таки сказала, что пора ему возвращаться в отель, нет, сразу предложила отвезти на своей машине. Он быстро оделся.

Когда они вышли на крыльцо, отдаленные глухие удары раздались с такой силой, что они, схватившись за руки, бегом бросились вниз по

ступенькам.

Они еще застали великолепный закат. На улице Мазра мусульмане жгли автопокрышки в знак протеста против нарушения перемирия фалангистами, жирный черный дым грубо вторгся в багровое небо, и вскоре чернота заволокла горизонт.

Ариана вела машину быстро, покрышки визжали на поворотах, в свете встречных фар ее лицо было бледным, черты заострившимися от твердой решимости.

— Ты ведь понимаешь, верно? Я везу тебя в отель, чтобы немного побыть одной.

Он погладил ее по щеке.

Вот и Хамра. Улицы тихи и темны. У дверей отеля он подождал, пока не скрылись из виду огоньки ее машины. Поднявшись в номер, принял душ и, мокрый, лег. Ночью проснулся — приснилось, что его хотят расстрелять. Потом, довольно скоро, опять заснул. Утром попытался вспомнить сон от начала до конца, но теперь уже осталось только неясное воспоминание, что вроде бы снилась война. Всплыли две-три картинки, наяву он никогда не видел ничего подобного, хотя чем-то эти образы казались знакомыми. Впрочем, около полудня вспомнилось еще несколько

деталей. Среди людей, принявших решение о его смерти, был ночной портье отеля. Лицо скрыто маской, но узнать было легко — по голосу и походке. Снилось, что он сидел на стуле. Связан не был. На ковре кружком сидели мужчины, все до одного в масках и камуфляжной форме. Он чувствовал, нет, знал наверняка, что в последнюю минуту соберется с силами, вскочит и бросится наутек, очень просто, тем более что мужчины вроде не обращали на него внимания. Но в нужный момент сил не нашлось, почему — понять было невозможно. От тех, в масках, его страх не укрылся, и он пожалел, что мужчины, конечно, не догадываются, до чего же ему страшно, если бы они могли это почувствовать, то сразу отпустили бы. Человек, в котором он узнал ночного портье, время от времени подходил почти вплотную и извинялся за причиненные неудобства, говорил: «Лично мне вы нравитесь». После чего возвращался к своим и садился на ковер. По каким-то неведомым причинам Лашен твердо знал — он умрет. А к этим людям относился со странным, самого его умилявшим пониманием.

Сил не нашлось и потом — у представлений, мыслей не было решимости и силы. Нежно, смиренно подумал об Ариане, смиренность давала

облегчение, но и только, ничего больше. Затем вспомнились дети, всплыло несколько картинок, это, конечно, воспоминания, он махал детям, словно арестант, посаженный за решетку, на какой срок — бог его знает. Грета живет, все забыв, и ее забывчивость уже никак не связана с ним, он ей не нужен. У нее ведь есть доверенность, она может распоряжаться всеми деньгами. Взносы за дом внесены, долгов нет. Гроб с его телом унесли, он все оставил Грете. Глупые мысли, ну их к чертям, — сволочные мысли.

Спустился в холл, взял свежий международный выпуск «Геральд трибюн». Уже вошел в лифт, чтобы подняться в номер, и тут увидел, как с улицы в отель входит Хофман с объемистым пакетом в руках, бутылки там, конечно, что же еще. Хофман его сразу заметил, ничем не выдал своего удивления, однако даже не подумал хотя бы кивнуть, двинулся прямиком к портье. Дверь лифта с негромким скрежетом задвинулась. «Извини!» — крикнул Лашен, когда лифт пришел в движение. Присев на скамеечку в углу, постарался дышать как можно спокойнее и ровнее.

Вчера на старом базаре возле порта опять произошло нападение на мусульман. На фотографии в газете он насчитал двенадцать убитых, уложен-

ных в ряд, плотно, на тротуаре. Из-за сильного увеличения лица на снимке размыты, начисто лишены контрастов. На заднем плане — припаркованный военный грузовик, на переднем — мужчина в офицерском мундире, без оружия, одна нога выставлена вперед, должно быть, снят на ходу. Под фотографией подпись в кавычках: «Акция возмездия христианской милиции». Место? Он узнал его — угол улицы Нахр Ибрахим и площади Мучеников. Он еще раньше описал обычную ежедневную суету на этой площади, набросал несколько дней назад, теперь пригодится, остается лишь добавить к старому тексту рассказ о вчерашних убийствах. Очень просто, да, никаких возражений. А еще добавить заметки, сделанные пока вчерне, например вот эту, о том, как некоторым торговцам все же удавалось доставить на базар свое добро и тогда — правда, в течение недолгого времени — шла торговля, продавали и покупали огурцы, арбузы и баклажаны, горами наваливали капустные кочаны, бананы и большие пучки петрушки. Расстрелянный автомобиль с работающим мотором стоит в гараже, ворота настежь, за рулем толстый молодой парень со сверкающими серебряными зубами, машину он превратил в лавку менялы. Люди

должны подходить к водительскому окну поодиночке, всех остальных парень, сердито шикая и бранясь сквозь зубы, отгоняет подальше. Осколки стекла, камни, куски штукатурки, тряпье, обрывки бумаги и гнилые овощи, валявшиеся на площади, сметены в пестрые кучи. «Вот так в светлое время суток линия огня представляет собой лишь воображаемую, не настоящую границу, которую можно пересекать в обоих направлениях до тех пор, пока на площадь не явится новая банда убийц». Он отложил перо.

«Акцию возмездия» опять устроили люди в масках. Картины восточного базара и сцены убийства были сцеплены друг с другом короткими сдержанными фразами, никаких эмоций. Он написал — как будто видел своими глазами, — что офицер прошелся вдоль ряда убитых, словно принимал парад почетного караула. Сегодня, отбросив сомнения, он твердо решил, что может быть довольным своим новым очерком. Кое-где в нем выражалось и с трудом сдерживаемое возмущение, в достаточном количестве. Сегодня, впервые с тех пор как приехал в Бейрут, он снял футляр с портативной пишущей машинки. Перепечатал очерк. Восемь с половиной страниц. Он сложил их и сунул в ящик письменного стола.

16

Кажется, будто он очень давно в Бейруте, по меньшей мере несколько месяцев, а на самом-то деле всего девять дней. Дома уже лето, колышутся пшеничные поля, на лугах пестро от белых и желтых цветов, Грета в легком платье с мягкими складками у пояса словно помолодела, улыбается, в глазах любопытство.

Думая о доме, он всегда представлял себе лето. Лепестки роз начали закручиваться наружу, осенью они опадут, побуревшие розовые лепестки, но не сейчас, сейчас еще появляются новые бутоны, а розы, что раскрылись давно, продержатся долго-долго. Ариана — он старался хотя бы какое-то время не думать о ней — кажется недоступной, в сущности неприкосновенной, женщиной, которая отдалась ему лишь потому, что их связь для нее ровным счетом ничего не значит. Ни польстить ей, ни обидеть ее он не может, значит, он ее недостоин. Раз ты для нее не опасен, значит, ты ее недостоин. Да, конечно, она упрекала его, и каждое слово ударяло в самое больное место, но дальше упреков не пошла, просто не сочла

нужным. Ей легко было бы расстаться с ним, без печали и без волнения, так же как она его приняла. Чувствовал, она становится сильнее, она, сама того не желая, все настойчивее подталкивает его к чему-то более определенному. Ты ей нравишься, — именно это слово она выбрала, и оно позволяет ей сохранять полнейшую независимость и право в любую минуту прогнать тебя.

Интервью с Арафатом, на которое он рассчитывал, то ли состоится, то ли нет, эта встреча уже стала чем-то необязательным, незачем упорно ее добиваться. Ведь и в редакции, и на этаже, где кабинет главного, уже наверняка почувствовали, и читатели тоже чувствуют, что не слишком много значит, дашь ты или не дашь высказаться одному из важнейших заправил здешних событий. А все-таки жаль, что Хофман не сделал вчера фотографий старого базара после убийств. Надо попытаться получить фотографии через агентства, не беда, если в Гамбурге потом вычтут эти дополнительные расходы.

Ариана лишь чуть-чуть, намеком, дала понять, что у нее есть характер. Чтобы не почивал на лаврах и не ждал от нее услужливости. Но сразу же снова затаилась, замаскировалась. Хотела, чтобы он что-то понял, но не думал, что она оказывает

давление. Он не должен думать, что все в полном порядке, но также не должен и чувствовать, что своим разочарованием она хочет заставить его измениться.

Или дома еще весна? Над ярко блестящими черепичными крышами темное небо, тяжелое от нависших туч, но есть и просветы, и там еще угадываешь все сочные цвета и краски. Зелень, непривычно резкая, словно впервые пробивается из дождливо-снежного безрадостного запустения, вздрагивая в легком ознобе. Ветки лоснятся, и вспаханная земля лоснится, и все растения становятся плотнее, наполняются, преисполняются. Тени четче, влажный воздух теплее. Как собака, бездомная собака, он бродил по равнинам, пока еще открытым взору, пригибался под тяжелыми лапами сосен в лесном заповеднике, шел по мягкой, пружинящей под ногами хвое, был как пес со вздыбленным загривком, настороженно прислушивающийся к легчайшему шороху. Тепло, солнце пригревает, тучи мошкары назойливо вьются над головой. Глаза Греты застыли, в них безутешность, словно тоска по прошлому, которое решительно отвергнуто. Он обнял Грету, и, уткнувшись ему в плечо, она затряслась от рыданий без слез. Это было два года тому назад,

эти переживания уже умерли, ушли в глубину. А всего месяц назад было Рождество, и рождественские дни еще можно, пожалуй, считать воспоминанием. Он подарил Грете часы, она ему — светло-бежевый, почти белый шерстяной пуловер. И обняла. Несколько минут они были вместе, и ожили многие прежние чувства, но ожили как воспоминания. Дети смотрели на них лукаво и смущенно. Потом, вспомнив о плохом, они оторвались друг от друга. Ему тогда показалось, будто они встретились за пределами жизни и, обнявшись, умчались куда-то, где могло *вновь* стать важным то, что было для них важным когда-то давно. Нет, он не упрекнул себя, но лучше было бы все же вытерпеть горькую пустую правду, чем принуждать, силой принуждать себя к самообману и тешиться иллюзией своей защищенности.

Иногда эти места на Эльбе — где в потаенные минуты ему виделась собственная могила — при изменчивой игре света и тени от бегущих по небу облаков казались подводным морским миром, что летит тебе навстречу, когда заглянешь в глубину, и вдруг распадается, обратившись в широкое колеблющееся кольцо, и открывает все новые и новые глубины. Пусть Ариана придет к ним домой. Какая странная мысль. Он все рас-

скажет Грете, это может стать началом новой искренности, новой свободы, и для Греты ведь тоже; как больно будет, как мягко и терпеливо они станут относиться друг к другу… Грете он напишет, Ариане скажет, что написал, — как бы невзначай, но со всей определенностью.

Как много мыслей, обращенных к прошлому, воспоминаний, из-за них — да, в самом деле, — сдают нервы. Думаешь о прошлом, и терпения явно не хватает, ты нетерпелив, и чего-то требуешь от воспоминаний, хотя от них ничего нового все равно не дождешься. Вот и сейчас ты уже не с Арианой, и не расследуешь события войны, и не пишешь — вместо этого раздраженно, нетерпеливо сбежал в прошлое… Попытался позвонить Ариане в посольство, но телефонист ответил, по-английски, что линия отключена. Бесцельно послонявшись из угла в угол, решил пойти в посольство.

Перед дверью Хофмана стояла белокурая девица в светлом плаще из чего-то лакированного. В глазах у нее блестели слезы. А глаза она не отводила от двери. Кажется, одна из тех девиц, которые были тогда в баре. Спустившись, он отдал портье ключ и прочитал телексы. Маслах, квартал, прилегающий к скотобойням, и Карантина

вчера ночью подверглись сильному обстрелу. И еще вчера не только на базаре близ порта были застрелены мужчины в ходе очередной проверки документов — и в Карантине вчера христиане ополченцы из Катаиб согнали отовсюду мусульман, поставили их с поднятыми руками у стены, а женщин, детей и стариков взяли в заложники и увезли на грузовиках. Тех, кто не выдерживал и опускал руки, расстреляли. Так сообщалось в телексах. А он там не был. У Арианы был! Личная жизнь. Да, все чаще отводил глаза, упускал возможность той или иной встречи, все чаще узнавал новости последним. Да нет, ну как же! Ведь информация все равно поступает, а детали можно придумать или позаимствовать из каких-то других аналогичных эпизодов. Чихать, он хотел на «читателя», да только дело-то не в этом. Есть некая инстанция совсем другого рода, что за инстанция, точно не скажешь, известно лишь, что она определенно заявляет о себе. Ведь если берешься за работу, то непременно должен выполнить ее как надо, это и есть честный труд, это и есть твое дело. Необходимо быть на месте событий, если где-то гибнут люди, необходимо засвидетельствовать каждый отдельный случай, и тут у него есть обязательства, он обязан все это

видеть. Можно бросить профессию, но нельзя постоянно оправдываться тем, что читатель, видите ли, недостаточно хорош. Лашен достал блокнот и наскоро сделал перевод телетайпных сообщений… Но если бы ты всегда находился в нужное время в нужном месте, то, разумеется, ни о каких отношениях с Арианой не было бы и речи. Он выписал в блокнот несколько строк о Дамуре. Сегодня всех жителей этого города можно считать заложниками, так как Дамур взят палестинцами в кольцо осады. «Информированные источники выражают опасения, — писал Лашен, — что события будут развиваться наихудшим образом, особенно если принять во внимание факты, имевшие место в Карантине и Маслахе».

Он вышел на улицу. Хофман, наверное, злится, ну и на здоровье. Скоро их совместная работа закончится и не придется иметь с ним дело, разве что случайно будут встречаться. Очень хорошо, нет, в самом деле, это очень приятно, когда отношения ни к чему не обязывают, то есть не требуют верности.

В посольстве отдал дежурному у входа оба письма к Грете. Лишь потом попросил вызвать Ариану. Вооруженных охранников-немцев в посольстве уже не было, никто тебя не обыскивает,

как в декабре. Неприятно — дежурный не отнес письма куда полагается, не сунул в мешок или что там у них для почты, а положил на свой стол, да еще адресом кверху. Ариана медленно сошла по лестнице. Улыбнулась и, кажется, ничуть не удивилась его приходу. Но она ведь всегда очень спокойно держится, словно совершенно не понимает, какие ужасы и раньше творились в городе, и по сей день продолжаются. Она же сама рассказывала, как мужчин, привязав к машинам, волокли по земле, убивая медленной мучительной смертью, как еще живым отрубали член, как давили людей грузовиками и танками, вперед-назад, пока, расплющив, не стирали тела в кашу. Сам он здесь только раз видел — ну да, никуда же не ходил, — как погиб человек: только что был жив, в следующее мгновение — убит, мертв. В Праге он видел смерть людей, но их лица мог разглядеть, лишь когда они уже были мертвы. Здесь — да, он видел смерть старика Муслима, торговца, но и его живое лицо не успел по-настоящему разглядеть. Что-то было у них общее — то, что выдергивало этих людей из толпы, некая сила, одна и та же везде — в Праге, во Вьетнаме, в Чили и здесь — сила глубоко человеческая, такая же человеческая, как человеческая радость в долгий

и счастливый мирный день.

— Вот хорошо, что ты пришел, — сказала Ариана. — Хочешь, поедем со мной в Баабду?

И, отведя в сторону, шепотом пояснила: звонили из приюта, кажется, нашли для нее ребенка.

Лашен улыбнулся:

— Отлично! — Он был рад за нее.

— Посольство со дня на день закроют. Сам посол сегодня улетает в Бонн и в ближайшие дни не вернется. Похоже, еще на этой неделе все будет ликвидировано.

— А ты? Ты все-таки тоже решила уехать?

— Нет-нет. Я не уезжаю. Кроме меня остаются еще несколько человек. На свой страх и риск. Это сотрудники, состоящие в браке с ливанцами. Они не хотят никуда уезжать, несмотря на то что билеты на самолет оплачивают всем членам семьи. Ну вот. А из посольских остается только пресс-атташе. Почему — не знаю. Симпатичный, холостой. Наверное, остается потому, что кто-то ведь должен остаться.

И Ариана побежала наверх взять пальто и сумку.

17

Они выбрали дальнюю окружную дорогу, которая шла в объезд аэропорта, и, не проехав еще половины пути до Дамура, свернули с шоссе и начали подниматься в горы. Открывался красивый вид на заснеженные вершины Антиливанских гор. Над Бейрутом висело легкое прозрачное марево, и только южнее, очевидно возле улицы Мазра, опять жгли автопокрышки. Столбы дыма поднимались в нескольких точках, расположенных близко друг от друга, и упрямо карабкались вверх по горным террасам, медленно, постепенно расползаясь и расширяясь конусами. За одним из поворотов на дороге впереди увидели груды камней, разбросанные комья черной земли и вывороченные с корнем деревца и кусты. Ариана не сбавила скорость, а в двух-трех метрах от преграды резко затормозила и, дав задний ход, быстро отъехала за поворот, откуда они только что вылетели. Здесь она остановила машину. Людей нигде не было видно.

— Проверила. Если бы сидели в засаде, открыли бы стрельбу, когда я дала задний ход, — объясни-

ла она. — Как ты думаешь, стоит ехать дальше? Похоже, тут просто камнепад прошел.

Не дожидаясь ответа, она нажала на газ. Затормозила, почти вплотную подъехав к препятствию. Выскочив из машины, они расчистили проезд. Все дело не заняло и пяти минут. Лашен старался как можно быстрее таскать камни, по сторонам не смотрел.

Ближе к Баабде было несколько патрульных постов. Ариана подъезжала на черепашьей скорости, патрульные лениво махали, разрешая ехать дальше. Это были ополченцы Катаиб, молодые, очень молодые парни, толстощекие, довольно приветливые. Возле шлагбаума на въезде в город солдат сказал им, что ехать дальше по прямой нельзя, и махнул рукой: на юго-западе что-то ярко блестело, вроде металл, на склоне, немного ниже горного гребня. И они увидели выскакивающие из стволов огненные стрелки и отлетающие назад мелкие облачка дыма. Ариана знала, как проехать к монастырю, при котором были интернат для девочек и сиротский приют.

В привратном покое монастыря она отдала свой паспорт сестре, сидевшей за стеклянной перегородкой. Та списала паспортные данные в пропуск. При этом несколько раз поверх оч-

ков поглядела на Лашена, который стоял чуть в стороне и смотрел в коридор, откуда к ним шла еще одна монахиня. Облачение, ниспадающее широкими складками, при каждом шаге плавно, торжественно колыхалось, но подол не прикрывал черные неуклюжие башмаки, и на секунду Лашену подумалось: должно быть, ноги в этих башмаках мужские, грубые. Монахиня представилась — старшая сестра Бригитта, — протянула Ариане руку и важно кивнула, в знак того, что узнает посетительницу. Затем повернулась к Лашену, и Ариана по-французски пояснила:

— Господин Лашен — немец. Он может подождать здесь, если вы считаете, что так лучше.

Монахиня с видимой неохотой подала руку Лашену, пристально посмотрела и потом уже не спускала с него глаз. Он заметил, что Ариана из-за этого начала нервничать и, нервничая, суетиться. Все-таки он для нее что-то значит, но почему тогда она говорит, что он ее старый добрый друг, а также старый добрый друг ее покойного мужа? Ведь это ложь, и Лашен испугался, но в ту же минуту понял, что никакая это не ложь — он же действительно знает ее мужа, по фотографии, Ариана показала ему фотографию мужа. И рассказывала о нем. Франсуа. Франсуа Насар. Тонкое

лицо, коротко стриженные курчавые волосы. На фотографии лицо было подретушировано. Вспомнилось и то, что, судя по фотографии, он был очень высокого роста.

Лашен отвел глаза и, чтобы не смотреть на монахиню, уставился на белую скамью возле стены.

Бригитта заговорила по-французски:

— Так. Пожалуй, у меня есть кое-что для вас. — Взяла у Арианы пропуск, но взглянула на бумажку лишь мельком.

Привратница вернула Ариане паспорт и приветливо кивнула Лашену, с пониманием, — так ему показалось; быть может, она не одобряла сестру Бригитту, которая разговаривала сухо и отрывисто, словно соблюдая какие-то правила или устав их ордена, предписывающие определенный стиль отношений с мирянами. Какие у них тут, в Ливане, монашеские ордена, он не имел понятия, но на доске у ворот монастыря прочитал, что эта обитель урсулинок принадлежит римско-маронитской Церкви. Сестра Бригитта тронула Ариану за локоть и, обернувшись к Лашену, сделала знак: он может следовать за ними.

— Вам известны трудности, ожидающие вас на вашем пути, — сказала она Ариане. — Пре-

пятствия имелись и раньше, когда был жив ваш супруг, но теперь осуществить ваше желание еще труднее. Однако кое-что я сумела для вас подыскать. Отныне все зависит только от вас.

И она легонько похлопала Ариану по плечу. Неужели чтобы успокоить? Должно быть, Ариану мучают всевозможные страхи. Значит, ей предстоит что-то совсем плохое? А что это — совсем плохое? Что? Искалеченный войной ребенок, увечный? Каких жертв от нее потребуют? Она ведь свободна в своем решении и может отказаться, только от нее зависит, брать ли того единственного ребенка, которого согласны ей отдать. Ариана пришла в себя после пережитых ужасов, но ее твердое решение все-таки непостижимо. Жизнь никчемна, ничтожна, поле битвы как поле бойни, ход битвы — как работа на бойне, и все-таки, несмотря ни на что, Ариана хочет жить ради кого-то, жизнь нужна ей не только для себя. Она хочет иметь ребенка, он необходим ей для любви. А риск невелик. Кругом умирают, но сам ведь никогда не умрешь.

Подойдя к открытой двери, они остановились. В комнате шла жизнь детского садика. До странности тихая жизнь. Дети с серьезными глазами семенили по кругу, прижав пальчики к губам. В

центре круга стоял мальчик лет шести. У него не было ноги, он опирался на маленькие белые костыли, детские костылики, и стоял понурясь, как будто задремал стоя. Но, увидев в дверях сестру Бригитту, залился радостным смехом и запрыгал к ней, ловко орудуя своими костыликами, точно это ложка с вилкой. Стало жутковато при виде его ловкости, словно природа в насмешку, по злому, коварному умыслу наделила этого ребенка недюжинной силой воли. Он поспешно протянул мальчику руку и спросил, как того зовут.

— Жан-Клод, — ответил ребенок. — Ножку Жан-Клоду в Ашрафие отрезали. Было совсем не больно!

Сунув костыли под мышку, он потянулся к сестре Бригитте. Провел пальцами по тыльной стороне ее руки и как будто погрузился в мечты.

Лашен был раздавлен. Словно лишь в эту минуту у него отняли иллюзию, которой на самом деле не существовало уже давным-давно. Спустя некоторое время он осознал, что, сам того не заметив, схватился за руку Арианы. Они пошли дальше в самый конец коридора, слева и справа здесь были стеклянные двери большого зала. Он искоса осторожно посмотрел на Ариану, казалось, слышалось ее участившееся дыхание, а

лицо напряглось от страха что-нибудь упустить. Сестра Бригитта открыла правую дверь, и они вошла в зал, который был разделен невысокими внутренними перегородками на клетушки вроде боксов. Ариана заглядывала в них лишь мельком, кажется, боялась по-настоящему посмотреть, нервничала, быстро отворачивалась и каждую секунду оглядывалась на сестру Бригитту.

— Вот эти — самые маленькие, груднички. От двух до пяти месяцев. И тот и другой мог бы представлять интерес, если бы в вашем случае были выполнены необходимые условия. — С этими словами монахиня снова бросила взгляд на Лашена, опять проверка, опять подозрения.

Из двух крохотных ртов рвался натужный крик. Ариана быстро отошла прочь от детей, которые «не могли представлять интереса».

Монахиня лишь мимоходом показала им другой бокс, в нем, сказала она, четыре искалеченных войной младенца, их успели вынести из горящих домов в Медаваре.

— Все дети хороши, — бросила она привычно-назидательным тоном, словно Ариана искала у этих детей какие-то различия. Но Ариана казалась лишь озабоченной. В самом деле, она прекрасно владеет собой, подумал Лашен, а в ду-

ше ведь переживает и очень боится, потому что из всех детей ей предназначен один-единственный ребенок, один-единственный, которого ей готовы отдать сразу, без долгих формальностей.

Считай, что эти боксы вроде аквариумов, в которых так и кишат различные, хотя и близкородственные виды, мечутся живые существа, еще не развившиеся, сущие головастики. Но нет, в них ведь уже многое заложено, все это — непредсказуемые будущие жизни, крохотные человечки, скоро они вырастут, станут представителями населения мира, одни из них будут голодать, другие — лопаться от жира, и все они будут существовать в вопиюще гнусной системе — обыденной жизни в той или иной точке вселенной.

Сквозь оконные жалюзи падал косой свет, мягкий, словно старый желтый бархат. В каждом слове Арианы и монахини сквозь учтивость пробивалась неприязнь. Наконец сестра Бригитта показала им последний бокс, но сама не пожелала войти — сложила руки на груди, сунув их в широкие рукава облачения, и посторонилась, пропуская вперед Ариану. В лице Арианы что-то словно опрокинулось, провалилось в глубокий ночной кошмар, полный страхов и унижений. Оно стало бледным и пустым, белый шрам на

щеке исчез.

— Взгляните же, ведь это творение Божие, — ободрила ее сестра Бригитта. — Чего вы ждете? Идите, идите.

Ариана медленно подошла к боксу, словно исполняя приказание гипнотизера. Лашен — за ней. Она оглянулась, на ее лице вдруг появилось удивленное выражение.

— Мне страшно! — прошептала она.

Лашен вошел вместе с ней в бокс, поддержав ее под локоть. Они стояли в ногах детской кроватки. Глаз словно нет, подумал он, так напряженно ты смотришь сейчас ее, только ее глазами.

И в ту же минуту они оба потонули в глазах ребенка. Больших карих глазах, спокойно смотревших на них. Лашен долго не мог заметить хотя бы слабого движения век — эти глаза казались бархатными и излучали спокойный ровный свет. Черные волосы на висках и над ушами вились колечками, похожими на нежный мех. Лицо было совершенно неподвижно. Губы казались сухими, на них виднелись крохотные чешуйки светлой кожицы. Они подошли ближе. Ребенок следил за ними глазами, не поворачивая головку. Люди вызвали его интерес, потому что вошли в комнатку, но ничего другого это личико не выражало.

Сестра Бригитта все-таки тоже вошла за перегородку.

— Это девочка, — сказала она. — Ей около пяти месяцев. Шесть недель тому назад ее подобрали на улице в Ашрафие. Прошу обратить внимание: ребенок не из Ашрафие родом, хотя подкинули его там.

Лишь сейчас, при звуке ее голоса, Лашен осознал, что ребенок темнокожий. Будь я на месте Арианы, меня бы это испугало, подумал он.

— Можете забрать, — сказала монахиня.

Они, даже не обернувшись к ней, смотрели в эти глаза, в них не было ничего особенного и как раз поэтому виделось так много. Сестра Бригитта снова заговорила, и на сей раз нарушила действительно благоговейное настроение; он подумал: это монахиня виновата в том, что чувствуешь себя так, будто стоишь у детского гробика. Ариана бессильно поникла, опираясь на его руку, и, казалось, была охвачена глубокой скорбью.

— Только подпись поставить — и ребенок ваш, — сказала монахиня.

Ариана обернулась и посмотрела на нее с преданной улыбкой. Сестра ушла. Лашен погладил руку Арианы. Он чувствовал, что личико ребенка, его никем и ничем не занятый взгляд, его полная

независимость притягивает к себе и не отпускает. И так же чувствует сейчас Ариана, подумал он. И вдруг понял ее до конца, словно много лет вместе с нею вынашивал этот план — завести ребенка.

Она снова овладела собой, лицо опять было родным, бледность исчезла, она даже раскраснелась от взволнованности и смущения.

— Это он, мой ребенок! — шепнула она и стиснула его руку.

Ребенок стал реальностью, понял Лашен, а из-за ожившего лица Арианы он стал еще более реальным. Ариана молчала и улыбалась. В улыбке были решимость и уверенность, Лашена это неприятно задело. Когда они вышли в коридор, сестра Бригитта встретила их удивленным взглядом из-под темного головного платка, с таким видом, будто уже давно занималась другими делами и с трудом припоминает, кто они и зачем пришли. Потом повела их налево и дальше в следующий коридор, где находились служебные помещения.

— В данном случае ребенка не нужно у кого-то забирать, чтобы отдать вам для усыновления. Как я сказала, никаких формальностей не требуется. Вы должны письменно подтвердить, что берете его по доброй воле. Если вы пожелаете, прини-

мая во внимание наши расходы на содержание ребенка, сделать пожертвование, то величина суммы, как и само совершение пожертвования, зависят только от вашей доброй воли. Имейте в виду: пожертвования не обязывают нас принять ребенка обратно в приют, если возникнет такой вопрос.

От сестры Бригитты веяло холодом, что подчеркивалось намеренно вежливой речью. Ну да, она, конечно, давно решила отдать этого ребенка, но быстрое согласие Арианы, вообще ее согласие Бригитту обескуражило. На ее лице явно написано неудовольствие, досада, даже презрение. Просто будто другой человек читает тут какие-то формуляры. Должно быть, ей этот ребенок ненавистен, хотя по правде-то нет у нее права кого-то ненавидеть. Сестра Бригитта положила перед Арианой формуляр, и Ариана быстро его подписала, как будто тем самым брала ребенка под свою защиту, ограждая от какого угодно отношения этой монашки, которая от волнения вытаращила глаза, окруженные темно-коричневыми складками кожи. Видно, бездушная вера монахини в милосердие Бога и в свое собственное милосердие дала трещину. Ариана показала Лашену заполненный от руки формуляр. Особенно одну

графу: «Приняла священное таинство крещения 17 декабря 1975 года».

— Что скажешь?

Он пожал плечами:

— Ну да, конечно. Для них же иначе и быть не может.

— Я не этому удивляюсь. Другое непонятно: крестив, они принимают этого ребенка как равного в число других крещеных детей. Зачем? Он же все равно считается и будет считаться незаконным. — Потом она обратилась к монахине: — Какую сумму вы предполагаете получить от меня?

Сестра Бригитта закрыла глаза и откинулась на спинку стула, подол ее одеяния приподнялся, и опять выглянули черные грубые башмаки. Не будь у них тут монастырского устава, подумал Лашен, и не будь на ней одеяния, платка и дорогих очков в тонкой оправе, эта толстуха была бы простой арабской теткой, из тех, что толкутся на базарах возле порта и по мелочи подторговывают всяким барахлом. А может, эта Бригитта родилась в хорошей семье, где и без нее было восемь, а то и десять душ детей, но, наверное, кожа у нее была темнее, чем у тех, вот и пришлось ей самоутверждаться, и ради приличного образования

поступить в интернат при монастыре. А ведь ты, подумал он, хорошо понимаешь ревнивую неприязнь этой темнокожей арабки к темнокожему ребенку, которого сейчас навсегда заберут из монастыря.

— Так сколько? — повторила вопрос Ариана. Ей явно доставляло удовольствие по-деловому говорить с этой особой, коротко и ясно, только о деньгах, теперь она могла расквитаться за все обиды, которые причинили ее ребенку, отделив его от других детей, когда составили на его счет особое мнение, когда крестили, спасая душу, но презирая и впредь намереваясь презирать его тело.

— Никакие суммы не установлены, — сказала сестра Бригитта. — Мы тут не торгуем. Мы принимаем добровольные пожертвования лишь потому, что от них зависит наше существование. — Ловко ответила, хотя и смутилась, заметив, что Ариана хочет ее унизить.

— Тысячи лир хватит? Или две тысячи?

— Две тысячи? Это очень, очень много.

— Слишком много? Нет, не слишком. Это очень даже дешево, — сказала Ариана. — Удивительно дешевый ребенок, просто как на распродаже. Специальное предложение со скидкой, верно?

Что ж, зато вы не принимаете рекламаций и если что не понравится, вернуть покупку нельзя. Итак, цена не слишком высока, да, цена оскорбительно низкая, но не мне же тут цены взвинчивать. Это самый прекрасный ребенок из всех, он еще совсем маленький и безымянный, а я получаю его буквально задарма, как бросовый товар. Подпись и две тысячи лир. Подпись уже поставлена. — Она написала чек и протянула монахине. Та, не взглянув на сумму, прижала чек пресс-папье и вежливо поблагодарила. Вконец запуталась Бригитта, по глазам видно — ужасно хочется ей отказать, ан нет, кишка тонка, сила-то на Арианиной стороне. А Ариана, кажется, довольна, отстала от нее наконец. Пеленки, сказала, при случае вернет приюту. Монахиня попросила Ариану подписаться на пропуске и его тоже придавила пресс-папье.

Возвращались в Бейрут той же дорогой. Ариана попросила его сесть за руль, а сама устроилась с ребенком на заднем сиденье. Если по-честному, то наскоки Арианы на монахиню были неприятны, и она, конечно, сознает это, вот теперь и не разговаривает. Но ведь вела себя странно, прикинулась, что ли, дурочкой? Неприятно, ее умом он восхищается не меньше, чем красотой. О чем бы

она ни говорила, за каждым словом всегда оставалась уйма чего-то недосказанного. Он и раньше чувствовал, что она всегда говорит меньше, чем могла бы, но она настолько уверена в себе и нетщеславна, что прекрасно может обойтись без лишних слов. А теперь Ариана превратилась в какую-то матерь-воительницу, которая вышла на сцену и потребовала абсолютной справедливости для своего ребенка, но получилось это наивно и мстительно, только испортила все.

Они довольно долго молчали. Лишь у того поворота, где расчищали дорогу от камней и кустов, он спросил, как она хочет назвать девочку.

— Еще не знаю, — сказала Ариана. — Сейчас я просто слушаю, как она дышит, и ни о чем не думаю.

— Она спит?

— Нет. Смотрит на меня. Так смотрит, будто силится меня вспомнить. Разве это не удивительно?

Я совершено не понимаю, что со мной, что я чувствую. Вообще ничего не понимаю. Все случилось так быстро, наверное, из-за этого я пока не нахожу в себе никаких чувств, совсем никаких.

В горле вдруг пересохло, он не смог произнести в ответ ни слова. С чего бы это? Почему его

распирает от гордости, словно это он дал жизнь ребенку? Неужели потому, что его присутствие решило дело в пользу Арианы? Но совершенно не хочется каких-то перемен; о том, чем все это обернется, пока можно только догадываться, но перемены уже сейчас внушают страх. И даже представить себе невозможно, что ты, например, сидишь в комнате с Арианой. Нет, это невозможно вообразить. Она же все время теперь будет заниматься ребенком. И надо было тебе помогать ей!

Он вел машину медленно, особенно на поворотах, с преувеличенной осторожностью.

Она сказала:

— По-моему, я совсем спятила от радости. Вот он, мой ребенок, я держу его на руках, это же совершенно, совершенно невероятно. Еще недавно, по дороге туда, в монастырь, я ничего не знала о нем, а теперь это мой ребенок. Ну все, хватит! Уж как-нибудь не свихнусь. Я чувствую себя очень сильной и в то же время очень слабой. Всего боюсь и за все готова взяться. Ни есть ни пить не буду, мне теперь ничего не нужно. Ну что, веришь теперь, что я и правда сошла с ума?

— Нет. Не верю. Прекрасно это, вот что.

— Не знаю. Я вконец растерялась, и так все

легко и свободно, просто не вынести. Что бы я теперь ни сделала, ничего не изменится. Совсем, совсем ничего не понимаю. А как хорошо, что он мне пока чужой, мой ребенок. Ах ты… — сказала она, не сводя глаз с ребенка, — ах ты… — И ничего больше сказать не смогла. И снова и снова, пока они не доехали до Бейрута, она заговаривала о том, что чувствует. Ариана хотела не упустить ни малейшей подробности своего волнения и медленного осознания своих чувств. Все надо было закрепить, выразить словами. В какой-то момент Лашен собрался с духом и посмотрел на нее в зеркало — все та же улыбка, полная решимости, в которой ему виделась угроза.

— Георг, — сказала она вдруг. — Спасибо тебе.

— Неужели это прозвучало как прощание? Или только показалось? Не показалось.

Дотянувшись свободной рукой, она погладила его по голове. Не так, как походя, небрежно, иногда ерошила ему волосы Грета, а медленно и серьезно, и вот опять, несколько раз, пока он до конца, полностью не успокоился. Но вскоре снова зашевелилась неприятная мысль, что это чувство прочной связи с Арианой и ее ребенком непозволительно — у него же есть свои дети, он несвободен. Чепуха. Своих детей он не предает,

предать их невозможно. А то, что происходит сейчас, это тоже часть его жизни, вот именно, и он рад, потому что все, что он испытал здесь, было особенным и неповторимым. Все, все имеет значение. А теперь надо по-настоящему заняться работой, писать. Он почувствовал, теперь сумеет писать так, что каждое слово станет значительным и весомым. Вот странно: почему вдруг, без всякого повода, вспомнил о работе? И в ту же минуту снова напала страшная слабость, проклятое, слишком хорошо знакомое состояние, когда ты что-то находишь или должен что-то находить, отыскивать, что-то особенное, очень важное, в этой вездесущей и неизбежной борьбе за жизнь или — за смерть, уж это смотря как подойти, в борьбе, которую всегда описывают так, будто она является отклонением, чем-то ненормальным. Ведь ты уже не веришь в нее, нет, не то: ты хочешь верить и, стараясь быть честным, иногда начинаешь верить сызнова, — какая слепота. Нет, нет. Ты заставишь отступить сокрушительное чувство тщетности всех усилий; с одной стороны, для тебя это так и есть, но в то же время ты слишком охотно, слишком легко соглашаешься с этой своей истиной. Да, но где же это слыхано, чтобы события, которые происходят

с массами — объективно — только с массами, — журналист показывал, снова и снова показывал на судьбах отдельных людей? Чтобы журналист выхватывал из всего изобилия массовых убийств — или массовых смертей — что-то особенное, какую-то одну, отдельную судьбу, дабы выставить и увидеть ее в ярком впечатляющем свете? И что видишь, что, в конце концов? Наверное, надо ослепнуть, чтобы вообще хоть что-то разглядеть, стать бесчувственным, чтобы хоть что-то ощущать, и сумасшедшим, помешанным, чтобы хотя бы одну мысль выдержать до конца.

На площади — зарывшиеся в землю танки. На островке, вокруг которого бежал поток автомашин, круглым валом нагромождены мешки с песком. Здесь же — расстрелянная смятая машина, из нее валит дым, на водительском месте — труп мужчины, с черным морщинистым лицом, шея сломана, голова запрокинулась за спинку сиденья. Лашен с первого взгляда понял, что водитель мертв, а поняв, почувствовал смирение и покой. Мертв — в этом не было ничего, кроме утешения. Для этого человека все уже закончилось — какие бы муки, какой бы кошмар он ни пережил, они позади, окончены навсегда. Дверцы машины распахнуты, в этом ощущалось

нечто театральное, сценическое. Весь островок в центре площади, некогда зеленый, превратился в сплошное пятно мазута и копоти. Видимо, никто и не пытался потушить загоревшуюся машину.

Ариана только посмотрела туда, но не сказала ни слова. И опять занялась ребенком. Вскоре их остановил патруль. Лашен подал через окно оба паспорта, затем вышел, открыл багажник. Трое вооруженных парней сунули головы в окна машины, поглядели на Ариану, на крохотное черное личико, на белые пеленки. Лашен сел за руль. Проверяющие, очевидно, впервые держали в руках немецкие паспорта и торопливо совещались. Лашен нажал на сцепление, выбрал скорость, правой ногой нащупал педаль газа. А мысленно прикидывал, далеко ли успеет отъехать, прежде чем патрульные откроют огонь. Нет, похоже, шансы невелики. Он незаметно переключился обратно. Один из патрульных, тот, что взял паспорта, пошел было прочь, к какому-то бараку, но вернулся и по-арабски спросил Ариану, чей ребенок, ее? Она ответила: «Да, мой». Солдат отдал Лашену паспорта и разрешил ехать.

18

Пешком возвращаясь в отель, Лашен почувствовал — Ариана с ним рассталась. Он предложил ей свою помощь, может, надо что-нибудь купить? — она задумалась, но потом все-таки ответила, нет, не надо, и поблагодарила с особенной, подчеркнутой вежливостью. Сказала, в доме есть все, что нужно, — в это как раз совсем не верилось. Ариана позвонила в посольство, предупредить, что сегодня прийти не может. Объясняя посольскому сотруднику, в чем дело, заговорила восторженным тоном: настолько фантастическая, настолько невероятная история, она сбивчиво лепетала что-то невнятное. «Да, это в самом деле так, это правда, — уверяла она, — я действительно взяла в приюте ребенка, ну да, вот он, рядом, я же говорю, здесь, он здесь, со мной, честное слово». Еще сказала посольскому, что имени у ребенка пока нет и что давать ему немецкое имя она не хочет, а впрочем, почему же? Мария. Мария — немецкое имя, и вместе с тем не немецкое. Но надо подумать еще — может быть, она назовет ребенка Даниэлой.

Когда они возвращались в Бейрут, в памяти всплыл странный образ — сперва Лашен не придал ему значения. Вспомнилась крестьянка из деревни неподалеку от их загородного дома. Эта женщина часто разговаривала с Гретой, но для этого ей почему-то непременно нужно было стоять у забора, должно быть, чтобы между нею и Гретой была преграда. На деревенской площади или на дороге среди полей она обычно всегда уклонялась от разговора, только робко здоровалась и, не замедляя шага, спешила дальше. И вот однажды она подозвала к забору Лашена, и оказалось, в подоле синего передника у нее лежал розовый мертвый поросенок. Лашен не мог взять в толк, что ей, собственно, нужно — то ли решила показать ему, городскому человеку, забитого поросенка, дело обычное в их деревенской жизни, то ли хотела немедленно сообщить о чем-то, чего не сумела высказать. Все приговаривала: «Вот, вот!» — растягивая в стороны концы передника, чтобы он как следует разглядел поросенка. На секунду померещилось, что крестьянка показывает ему одного из своих детей, мертворожденного младенца. «Вот!» Такие вещи наверняка с нею не раз случались. И теперь в смерти поросенка она вдруг открыла для себя всю тщетность и ни-

чтожность трудов человека? Мертвый поросенок, лежащий в синем переднике, и изумленно-растерянное лицо крестьянки в тот день еще не раз вспоминались.

Добравшись до Рю Хамра, он хотел купить кое-какие детские вещички, но ни одного открытого магазина не нашел. Кто-то его окликнул с другой стороны улицы. Это был Хофман — помахал из дверей и тут же скрылся в глубине кафе. Лашен перешел через улицу. Столы и стулья перед кафе были сложены штабелями и привязаны цепочками, хотя предвечернее солнце еще тяжело падало на улицу, проливая как бы смягченный светофильтром свет; от этого света и суеты прохожих создавалось приятное, расслабленно-ленивое настроение. За столиком вместе с Хофманом сидел Рудник, он тоже махал рукой.

— Вы позволите вас угостить? Пожалуйста, заказывайте!

Он заказал для Лашена пива. Хофман хмурился и прятал глаза. Лишь когда Лашен спросил, есть ли какие-нибудь новости, ответил, хотя и вопросом на вопрос:

— Позволь узнать, а ты-то чем все это время занимался? Я тебе прямо должен сказать — меня просто распирает от злости, так и знай, скоро

я соберу монатки и улечу домой. Так вместе не работают.

— Мне кажется, вас интересовала тема торговли оружием? — вмешался Рудник.

Лашен пропустил его вопрос мимо ушей. А Хофману ответил:

— Совершенно не понимаю, из-за чего ты злишься. Тебя-то лично что обидело?

— Сегодня в полдень мы должны были ехать в Дамур с военной автоколонной палестинцев.

— Тебе позвонили?

— Халеб оставил информацию у портье. Не позднее четырнадцати часов мы должны были прибыть в штаб-квартиру палестинцев на улице Мазра.

— А что, Халеб упомянул в своей информации, что речь идет о Дамуре?

— Интересно, о чем еще, по-твоему, могла идти речь?! Ты, что ли, не слышал, что их артиллерия лупит с гор по Дамуру? — Хофман покачал головой, на его лице была тупая злобная улыбка. — Он сказал, что теперь проехать в Дамур по дороге вдоль моря невозможно, причем до города не добраться ни с севера, ни с юга. Значит, остается один путь — через горы, а это дольше. И везде в горах полным-полно вооруженных людей, то ли

военных, то ли каких-то разбойников-бандитов. Они не станут спрашивать, на чьей ты стороне. Но ты же у нас молодец, — съязвил Хофман, — ты ни на чьей стороне. В общем, я договорился. Завтра утром, в семь, мы должны быть на улице Мазра. Оттуда пойдет новая транспортная колонна, они должны доставить оружие в Бейт-эд-Дин, а может, и дальше. Мост через Нахр-эль-Дамур взорвали, ну значит, от реки пешком придется топать. Надеюсь, мы не опоздаем. А если опоздаем, что ж, опять будешь из пальца высасывать всю историю или спишешь с американцев.

— Меня это не касается. — Рудник откинулся на спинку стула. Лашен и Хофман, оба как по команде повернулись к нему. — Ваш друг, — сказал Рудник, — сердится только потому, что ему самому пришлось просить и обо всем договариваться. Я ездил с ним в штаб ООП и смог, скажу без ложной скромности, кое-чем помочь. Я вам уже говорил, господин Лашен, у меня в этой стране очень хорошие связи, и я всегда рад, если при моем посредничестве перед вами откроются кое-какие двери. Но вам решать, что вас интересует и о чем вы предпочли бы не сообщать вашим читателям.

Лашен от смущения только бормотал «да-да»

и ухмылялся. Вот педанты, своими упреками они здорово его пристыдили, и он не мог даже разозлиться. Хофман сидел отвернувшись и вообще с таким видом, словно он с удовольствием предоставил Руднику выполнять всю грязную работу. В этом смысле Хофман, конечно, оценил старика абсолютно правильно, понял, что тот с удовольствием берется за грязные делишки и с особенным удовольствием — ради других людей, которые настойчиво просят, чтобы он сделал грязную работу вместо них. Итак, старикан на побегушках у Хофмана, так же как у его превосходительства Тони; возможно, он на побегушках и у Халеба, причем уже давно, да, несомненно, Рудник — человек Халеба.

— Между прочим, — сказал Рудник, — в Маслахе вчера вечером состоялась карательная акция. Убито пятнадцать мусульман. Минимум пятнадцать. Эти парнишки из «фаланги» ни с кем не чикаются. Вот, посмотрите-ка, снимки сделал сирийский фоторепортер. Я ими разжился не просто так, а чтобы отдать вашему другу. Купил по эксклюзивной цене, за пять тысяч долларов. Господин Хофман уже позвонил в Гамбург и все согласовал насчет расходов.

Хофман покачивался на стуле. Он закрыл глаза

и всем своим видом показывал, что не желает участвовать в разговоре. Рудник раскрыл на коленях папку с фотографиями и начал перебирать их. Лашен наклонился вперед и смог кое-что разглядеть, хотя и не все. Трупы на земле. Кто-то в маске поднял и держит двумя пальцами отрезанный член. Человек — нет, измочаленный, изодранный в клочья кусок мяса, летит в облаке пыли над землей, он привязан тросом, который прикреплен к джипу. Мужчины, кто-то в арабской, кто-то в европейской одежде, поставлены в ряд у какого-то дома, лицом к стене, руки за головой. В этом же кадре слева — стволы автоматов. Рудник пояснил: стена — это каменная ограда местной бойни. Не кажется ли вам, господин Лашен, что это символично? Дальше. Серия снимков. На них — двое из тех людей, обернувшиеся на охранников, расстреляны и сползают по стене на землю.

— Когда я первый раз увидел эти фотографии, — сказал Рудник, — мне чуть дурно не сделалось. Но надо уметь смотреть правде в глаза! Любой правде! Чтобы каждый понял, что такое реализм. Мне кажется, журналисты должны понимать это очень хорошо.

Лашен содрогнулся — этот голос был хуже, чем сами фотографии. Потому что в голосе Рудника

не звучали нотки садизма, наслаждения. В нем была лишь бесчувственная деловитость, и она вывела из себя Лашена; этот липовый принцип — никогда и нигде не закрывать глаза, что бы им ни предстало, эта самодовольная гордость тем, что ты способен смотреть широко открытыми глазами на все, что бы ни происходило вокруг, эта убийственная объективность, с которой такой вот человек, как Рудник, никогда не поддастся искушению себя самого поставить на место умирающего, убитого, увидеть пустоту, небытие, в которое низвергнуты убитые, представить себе, что оно ждет, небытие, что оно готово поглотить тебя; или хотя бы на миг стать другим, отстраниться от своего собственного взгляда на вещи.

Вот такого человека я мог бы убить, подумал Лашен, в отместку за то, что он так ловко осваивается с реальностью, в отместку за то, что он так много видел, но абсолютно ничего при этом не почувствовал. Такой человек не должен размножаться, не должен сеять свое семя. Не разум ведь завел его так далеко, и не знания или опыт научили его принимать все, что бы ни случилось, с хорошо темперированным презрением к людям. Его презрение к людям ничем не обусловлено; бронированный типчик и незаурядный органи-

заторский талант… а ведь это хорошо, подумал он, что сам ты мучаешься как тяжкой болезнью своей журналистской объективностью, — тем, что корреспондент ни в чем не участвует и ни за что не отвечает.

На последнем фотоснимке был кто-то» е маске и сверкающих высоких сапогах. На шее у него висели на цепочках несколько распятий — кресты разной величины. В одной руке — ручной пулемет, ножки на плече, другой рукой схватил за волосы девушку и тащит ее в подворотню.

Рудник сказал:

— Очень *живо* и *пластично* можно вообразить все, что произойдет в следующую минуту там, в подворотне. — В его голосе послышалось отвращение к поступкам, которые по собственному произволу кто-то совершает в порядке нарушения воинской дисциплины. А знает ли господин Лашен, спросил Рудник, что значит быть изнасилованной для девушки мусульманки?

Лашен встал и сказал Хофману:

— Пожалуйста, заплати за меня. Вечером приходи, если хочешь, — поговорим. Я буду у себя. Или можем встретиться завтра утром, за завтраком. — Кивнув Руднику, он ушел.

Поднявшись в номер, позвонил Ариане. Она

плакала, буквально захлебывалась рыданиями:

— Что они сотворили с моей девочкой! Нет, это невозможно описать, что они с ней сотворили! Раньше, когда я еще не знала ее, когда еще ничего не могла сделать! Все тельце в коросте. У нее жар. На всем тельце ни пятнышка здоровой кожи. Ах нет, конечно, я преувеличиваю. Сейчас врача жду, с минуты на минуту должен прийти. Знаешь, я вдруг стала жутко мнительной. И постоянно воображаю, будто весь мир ополчился на моего ребенка. Знаешь, я в страшной обиде на весь мир.

— Я очень хотел бы помочь тебе чем-нибудь. Может, мне прийти?

— Нет, не надо. Не приходи. Сперва я должна сама во всем разобраться. И пусть врач придет. Мне надо побыть одной с моим ребенком. Уж ты, наверное, это понимаешь. — Она повесила трубку.

19

Джипы и бронемашины с установленными на них орудиями выстроились над ущельем, где резко обрывалась ухабистая пыльная дорога. Молодые палестинцы принимали на плечи ящики со снарядами, которые сгружали с автомашин. За все время пути ни один из парней не произнес ни слова, почти никто и не посмотрел на Лашена и Хофмана. Сейчас палестинцы со своей поклажей быстро спускались по осыпям, исчезая среди темно-зеленых пиний. Доносились лишь одиночные выстрелы, вроде бы беспорядочные, раздававшиеся в разных местах. Хофман фотографировал автоколонну на фоне нарядной сочной зелени, симпатичные картинки, будто снимки авторалли где-нибудь в тропиках. Раз-другой, обернувшись, навел фотоаппарат на Халеба, который курил, привалившись спиной к крылу грузовика. Следом за теми, кто шел с грузом, спускались, чуть отстав, двое в черных шапочках, как у лыжников, и с завязанными на шее платками, держа палец на спусковом крючке и туго натянув плечевой ремень своих «Калашниковых». Халеб поманил к

себе Лашена с Хофманом. Предупредил, что идти надо позади солдат, не вылезать вперед, строго выполнять все распоряжения. «Что бы вам ни пришлось увидеть, не забывайте: Дамур — это наш ответ на Карантину и Маслах, — сказал он. — А теперь идите! И не отставайте, держитесь впереди замыкающих».

Они спускались следом за несшими груз. Хофман на ходу менял пленки. Лашен тащил сумку с фотоаппаратами. За ними шли два бойца, оба в плотно обтягивающих оливково-зеленых куртках с капюшоном. Эти двое иногда останавливались и смотрели по сторонам с небрежно-снисходительным видом. Если Лашен, замедлив шаг, оглядывался, они без слов давали понять, мол, нечего тут застревать, иди, и вполне красноречиво наводили на него стволы.

Вскоре спустились на берег Нахр-эль-Дамура и впереди увидели последних палестинцев, несших груз. Вода была прозрачна, там, где она падала с уступов, в воздухе искрилась розоватая пыль. На другом берегу, довольно высоко, на одном из выступов скалы Лашен увидел минометную огневую точку. На бруствере, болтая ногами, сидели четверо и смотрели вниз. Несшие груз осторожно переправлялись на тот берег,

прыгая по камням, которые были навалены в ручье, чтобы можно было перейти, не замочив ног. Ниже по течению Лашен увидел разрушенные каменные опоры, взорванный мост. Там, на другой стороне ручья, полоса щебенки продолжалась, — до того как мост взорвали, эта дорога связывала Бейт-эд-Дин и Дамур. Ниже развалин моста она змеилась вдоль берега, бежала дальше как ни в чем не бывало, как будто ничем и не прерывалась, но никто из палестинцев, несших груз, не направился по дороге — они держались ближе к воде, хотя и приходилось с тяжелой ношей карабкаться по камням и перебираться через валуны. Теперь стали слышны крики: казалось, люди о чем-то сообщают друг другу, стараясь перекричать шум. Раздалась пулеметная очередь, и все стихло, затем снова послышались голоса, с той стороны, очень близко. Голоса, полные глухого недовольства, — люди что-то искали. И снова тишина — опора и основа нового шума. Никаких сомнений — произошла ошибка. Не может быть, что стреляли намеренно, подумал он. Нет, не намеренно, хотя в это и не верится. Иначе и быть не может. В теплой куртке и свитере он взмок. Над ручьем мельтешили бабочки, со свистом летали какие-то пестрые птицы. Надо

будет написать, что в расселинах и между камнями еще цветут горные фиалки. Он подумал об Ариане, о том, как она баюкает ребенка, поет ему песенки. Подумал о доме, о сосновом питомнике, в котором после дождя курится туман; там он однажды мог умереть. Он ехал в машине по самым непроезжим, заросшим, узким дорогам, чем дальше, тем менее проходимым, ехал, не думая о том, как будет возвращаться, отказавшись от возвращения, и в конце концов остановился, застряв в чаще, ударился головой о боковое стекло и долго сидел, прислонившись к нему лбом. Несколько часов просидел, в спокойном одиночестве решившегося на самоубийство, но в то же время что-то уже минуло, вот так, наверное, после несчастного случая весь мир для тебя становится совершенно пустым и прозрачным, и можно смотреть на него с полнейшим спокойствием. Он увидел лишь тонкие стволики сосен, нежную, чисто омытую дождем траву, влагу. Это воспоминание всплыло сегодня утром, едва он проснулся, и было таким непосредственным и близким, что он решил, должно быть, все это приснилось, а теперь промелькнуло в мыслях, словно что-то случайное, незначительное, и как раз поэтому в воспоминании он во всей полноте

осознал свою отчужденность от самого себя, во всей полноте — утрату своей жизни. Но в то же время прекрасно — иметь такое воспоминание, такой образ утраченного, ведь благодаря ему чувство потерянности и потери уже не блуждает вне времени и пространства… Ариана сейчас смазывает и припудривает тельце своего ребенка. Он мысленно пожелал ей, чтобы все обошлось. Ничего страшного, кожа заживает быстро. Сам он уже не огорчался из-за того, что заболел. Надо претерпеть это до конца, хотя бы ради того, чтобы оставить в прошлом. Хорошо бы, хворь разыгралась по-настоящему. Она оправдала бы его теперешнее… состояние? — да что уж там, его несостоятельность, вот только ни перед кем он не захочет оправдываться. И не захочет считать себя неудачником, искать сочувствия… И вполне возможным показалось, что Грету и детей он оставит, что будет жить с Арианой.

Хофман, порядком обогнавший его, теперь остановился и подождал. За спиной они слышали шаги двоих замыкающих с автоматами. Фотокамеры болтались на груди у Хофмана, едва не ударяясь друг о друга, и, перепрыгивая с камня на камень, он их бережно придерживал.

От дороги, которая вела вдоль берега, они отда-

лились всего, наверное, на сотню метров. Снова послышались стрельба, крики, раздался треск огня, они увидели, как из-под крыш м |убами валит дым. Мягко поблескивало море, мягко и заманчиво, в полукруглых арках виадука. Звонили церковные колокола, и видно было, как они раскачиваются на колокольне.

Они шли за людьми, несшими груз, эти люди уже выбрались из ущелья и карабкались по склону все выше. Поднявшись наверх, они опустились на усыпанные хвоей и поросшие мхом камни; кругом на земле ящики с оружием. Рядом, под прикрытием нескольких пиний, находилось пулеметное гнездо. Стрелки, кажется, радовались, что им дали передышку. Отсюда, со склона, были хорошо видны ближайшие сады, в которых валялись на земле вещи, одежда, посуда, детали автомобилей.

В этом ракурсе город предстал тесным и плотным скоплением взбежавших вверх по склону желтых домов; с большого расстояния казалось — все там в порядке, но стоило подойти ближе и ты видел — все края, контуры, стены снесены бурей, раскрошены ударами, а приблизившись еще, ты видел — от них осталась лишь тень, намек. Но, несмотря на это, Лашену снова и снова приходило

в голову, что его одурачили, обвели вокруг пальца, что он присутствует при каких-то не особенно важных военных учениях. Хофман видоискателем обшаривал Дамур. Потом повернулся в другую сторону и сфотографировал палестинцев, неподвижно сидевших среди ящиков с оружием, снял хорошо укрытое под деревьями пулеметное гнездо и скаливших зубы стрелков.

Двое с автоматами, все время шедшие позади них, теперь подошли и спросили, готовы ли Лашен с Хофманом продолжать путь. Они поднялись и пошли. Дальше, внизу, через сады почти бежали, согнувшись в три погибели, хотя стрельба как раз теперь стихла. В конце длинного, совсем пустого и с виду заброшенного переулка они увидели быстро мелькавшие машины — там был центр города. Хофман решительно шагал впереди, шея и плечи напряжены, руки слегка согнуты. Маленькая площадь, вернее, перекресток двух улиц, на нем собрался весь солнечный свет, как на подмостках, на которых самозабвенно играют актеры и одна безумная сцена мгновенно сменяется другой. На тротуарах трупы, в оконных и дверных проемах сонные бойцы Фатх, молодые друзы, левые мусульмане из Южного Ливана. Переулки заставлены грузовиками и джипами.

Из горящих домов выносят мебель, вещи, тюки, рулоны материи, ковры, сундуки.

Их привели в маленький дом, вернее, барак под плоской крышей. Welcome to Lebanon! Хороша сцена… Мальчишка с колючим быстрым взглядом принес им кофе в бумажных стаканчиках.

— Напишите, — сказал офицер, — битва за Дамур состоялась. Это наш ответ на резню в Карантине и Маслахе, наш ответ империалистам, фашистам и сионистам. Каждая капля пролитой крови — это наш шаг на пути к освобождению Палестины. — Офицер выдержал паузу и продолжал: — Можете все здесь осмотреть. Но передвигаться разрешаю только в сопровождении вооруженного бойца. Здесь больше ничего не будет, только чистки, работы по разборке завалов.

— Сколько убитых? — спросил Лашен.

Офицер поглядел в окно на площадь. Некоторое время он молчал, затем сказал, что брать заложников очень не любит, однако лишь таким способом удается достичь равновесия сил.

— Нужно иметь залог, это гарантия жизней наших соратников, — сказал он, — а нередко и наших женщин и детей. Убитые, сэр, убитые были до зубов вооружены, все как один.

Лашен кивнул. Хофман позволил мальчишке

поглядеть на площадь через видоискатель. Офицер сказал, фотографировать можно все — они ничего не скрывают, пусть весь мир узнает о том, что здесь творится. Лашен понял: убитые даже не стоят того, чтобы вести им счет, их попросту не принимают во внимание. Они ведь уже не имеют ценности, это просто трупы, неприятное напоминание о том, что придется заниматься их ликвидацией. Он ощутил ужас — как же быстро и без всякого внутреннего сопротивления ты соглашаешься с любой необходимостью. Тебя засасывает, подумал он. Это понятно, и все-таки понять это невозможно, ты соглашаешься с необходимостью уничтожать врагов и все же не хочешь соглашаться. А эти жуткие трагические фигуры, эти солдаты в диковинном подобии военной формы, у них твердый взгляд, в котором есть хотя бы вера в то, что их дело — правое. Все, что произошло, должно было произойти, и произошло. Нужен заголовок. Три варианта: «Битва за Дамур»; «Гибель Дамура»; «Бойня в Дамуре». Через площадь несли раненых на носилках.

— Наши люди, — сказал офицер. — Посмотрите, посмотрите. Прекрасные бойцы… Но мы из этого боя вышли окрепшими.

Стали слабее и окрепли… Лашен глубоко за-

думался. Это как тишина и шум. Из тишины родится шум, из шума — тишина. Неотвратимо. Неотвратимый шум рождает неотвратимую тишину, неотвратимая слабость — неотвратимую силу. Все искажено и вывернуто, все превращается в свою противоположность. Всемогущие превращения и взаимодействия намерений… или преднамеренность взаимодействий и превращений. А мысль? Мысль, как раз наоборот, существует по ту сторону всей этой химии, в бесчувствии. Мысль не чувствуешь, как не чувствуешь и своего знания о чем-то. Мертвое тело, лежащее на земле, не имеет ничего общего с твоей собственной смертью, так же как не имеет ничего общего с живым человеком, которого можно схватить и сделать заложником. Ты же не думаешь, что убитый встанет и пошатываясь отправится куда-то по своим делам. Убитые мертвы, по-настоящему мертвы, и ужас, который испытываешь, увидев их, подготавливался заранее, стал привычным задолго до этой минуты. На черные от копоти босые мертвые ноги садились мухи. Офицер встал и куда-то повел, сказал, есть нечто более приятное, они подошли к потрескивающему костру, над горкой углей крутился громадный вертел, унизанный кусками мяса.

Хофман фотографировал лишь изредка и очень быстро, на него почти не обращали внимания. С улицы убирали трупы, взяв за ноги, волокли куда-то на задворки. Руки и лица убитых казались вылепленными из воска. Волосы — точно приклеены, на груди тоже; выражение на всех лицах — угасшее, скрытное, словно в последний миг люди решили утаить что-то, о чем никому уже не удастся узнать.

Раненые являли собой, можно сказать, оптимистическое зрелище. Едва не погибли, выжили, — это он очень хорошо понимал. Мимо быстро пробежали с носилками, на которых лежал подросток, раненный в бедро, кровь стекала на землю, мальчик несколько раз поднял руку, словно хотел помахать, но рука бессильно падала. Нужно немедленно остановить кровь — других мыслей не было. Хофман сфотографировал, как носилки подняли в кузов грузовика и задвинули с яркого света в темный туннель. Хотелось подгонять людей, чтоб живей шевелились.

Завоеватели теперь без дела слонялись всюду небольшими группами. На подбородках — торчащие черные клочья отросшей щетины. Молодые бойцы не грабили, вообще ни к чему не притрагивались. Лашен и Хофман сели в джип, на заднее

сиденье, офицер, прихвативший стаканчик кофе, сел впереди, рядом с водителем, и они поехали по одной из улиц, поднимавшихся в гору. Вскоре снова увидели сверху крыши Дамура, а за зелеными волнами банановых плантаций ярко заблестело море.

В конце улицы многие дома горели, ветер раздувал пламя, оно гудело, слышался треск дерева. Черной метелью кружил пепел сгоревшей бумаги. Люди в штатском — ни одного военного — выбегали на улицу и снова бросались в дом, выносили вещи, костюмы, платья и одеяла, накинув на плечи или перебросив через руку, сундуки и холодильники тащили вдвоем. Все грузили на большие старые лимузины, крупные вещи привязывали к крыше кузова.

— Какому риску они подверглись, когда ехали сюда на машинах?

Офицер разъяснил:

— People from Saida, they must pay and tey must pay an admission, to take the se things away.[19]

Лашен кивнул. Правильно, зачем же допускать, чтобы добро сгорело? Если в домах есть убитые — сгорят. Не станут же мародеры выносить из

---

[19] Примечания: 19

Они из Саиды, им пришлось заплатить за разрешение забрать вещи *(англ.).*

огня трупы. В Карантине, если верить рассказам, фалангисты швыряли убитых в горящие дома. Трупы сжигали также на берегу среди скал и под всеми мостами. Хофман сфотографировал мародеров и спросил: «А ты не хочешь что-нибудь записать для памяти?» Он ответил «нет». Хофман пожал плечами, не отрываясь от видоискателя. Правильно — обычно он всегда делал заметки для памяти, даже на ходу, это было нетрудно, или сидя в машине. Но сейчас на него снова всей тяжестью навалилось чувство тщетности всего, и оно парализовало волю и лишило возможности хоть что-то сделать, даже подумать о том, чтобы что-то сделать. Не беда, попытался он оправдаться перед собой, ведь у тебя отличная память; он уповал на свою память, но на самом деле надеялся, что увиденное здесь как можно скорее забудется, сотрется, уйдет из памяти, чтобы никогда больше не возвращаться. Как хорошо ты знаешь этот паралич воли, сколько раз он одолевал тебя вслед за ощущением тщетности, как хорошо знакома тебе и полная неспособность возмутиться тем, что видишь, что удается увидеть. Ты не в состоянии сказать хоть слово против кого бы то ни было, даже против мародеров, сил у тебя не хватает даже на презрение. Ты стараешься

поменьше размышлять, отбрасываешь мысли об этом. Он почувствовал, что инстинктивно избегает самой возможности таких мыслей. И завидует американским журналистам, тем «ударникам», их непрошибаемости — может, и напускной, конечно, — их умению делать дело уверенно, как подобает мужчинам, то есть сохранять деловой подход в любой, абсолютно любой ситуации.

Они вышли, джип уехал. Двум мародерам офицер приказал убраться вместе с осевшей под тяжестью груза машиной, в которую они все таскали и таскали вещи, заталкивали внутрь пучки зонтиков, латунный самовар, фен для волос. Оба с обиженными, даже оскорбленными лицами сели в машину и укатили.

В доме неподалеку раздались выстрелы, офицер оттеснил Лашена с Хофманом за угол. В том доме никого не было видно, все окна выбиты, перекосившиеся рамы болтаются на петлях. Еще несколько мародеров попрыгали в свои машины и умчались. Посреди улицы стоял на коленях человек, друз, — судя по красному, повязанному белым платком тарбушу,[20] и пытался подняться. Ранен в ногу. Его губы шевелились. Наконец он

[20] Примечания: 20
Арабское название фески.

повалился набок и, опираясь на локти, пополз с мостовой в тень дома. Рядом с Лашеном и Хофманом под прикрытием стены поставили пулемет, затем осторожно придвинули его ближе к углу. Очереди длинными пунктирными линиями прошивали штукатурку стен. Через мертвую зону под окнами, низко пригнувшись к земле, перебежал молодой палестинец, бросил в окно гранату. После взрыва, когда из окон повалили дым и пыль, Лашен услышал несмолкающий жалобный вопль, ему не было конца.

Офицер покинул укрытие и стал по-арабски отдавать приказы. Группа людей в военной форме бросилась в дом, другие с разбега прыгнули в окна. Раздался выстрел, один, затем настала тишина, в которой не умолкали жалобные причитания женщины. Из дверей вышли человек со сцепленными на затылке руками и двое мальчишек, один лет шестнадцати, другой, наверное, на год младше, они тоже шли с поднятыми руками, последней — женщина с мертвым ребенком на руках. Вернее, первыми, пятясь, с автоматами наизготовку, вышли солдаты. За ними тот мужчина, он все оглядывался, старался не терять из виду женщину с ребенком. Теперь к ней подошел еще один человек, с чемоданчиком как у врача,

с белой нарукавной повязкой, на которой был красный полумесяц. Женщина протянула ему ребенка, не переставая жалобно причитать. Врач послушал ребенка, но тут же убрал стетоскоп, отвернулся и пошел прочь. Женщина прижала ребенка к себе. Мужчину и старшего сына привели за угол дома, туда, где стоял пулемет на треноге. Офицер махнул солдатам, и один из них, отойдя метров на пять, повернулся и поднял автомат. «Нет!» — крикнул Лашен и обеими руками схватил офицера за плечо. Тот стряхнул руки и посмотрел на Лашена с сожалением. «Нет!» — снова крикнул Лашен, увидев, что офицер, глядя на солдата, кивнул. Потом пули ударили по двум телам — не очередь, а несколько, много, очень много одиночных выстрелов. Тела стояли у стены дома, лиц не видно. В наставшей тишине они соскользнули вниз, послышался шорох, и еще звук, похожий на глубокий выдох. Рука офицера крепко сжимала плечо Лашена, в следующую минуту перед ним возникло лицо Хофмана, и тот сказал:

— Успокойся, нельзя же терять голову. Я сделал снимки. На них все останется.

— Это хорошо, — сказал Лашен и увидел, что упавший мужчина согнул и подобрал под себя

руку.

Последним движением. Больше тела не шевелились. Лашен смотрел на лицо парнишки, мягко светлевшее на булыжнике мостовой. Еще минуту назад его выражение было вполне осмысленным. Лашен смотрел на его ноги, еще минуту назад парень шел в нескольких шагах от своего отца; вот теперь, подумал он, теперь ты наконец способен ненавидеть офицера и всех этих людей.

Женщину с мертвым ребенком и вторым сыном не пускали обратно в дом. Дом горел. Женщина, словно ничего не понимая, рвалась в дом. Потом она просто стояла в стороне, прижав лицо к мертвому ребенку. Лашен подошел к ней, офицер за ним.

— Как вас зовут? — по-английски спросил Лашен женщину.

— Горайб, — сказала она и снова принялась по-арабски умолять о чем-то.

Офицер перевел:

— Она спрашивает, куда увели ее мужа и сына, спрашивает, когда им разрешат вернуться.

Лашен изо всех сил старался сохранять спокойствие, выдержать в течение короткого мгновения присутствие этого проклятого офицера. Двое мужчин с нарукавными повязками, на которых

был красный полумесяц, санитары, попытались забрать у женщины ребенка, но она не отдала, а отнять его силой санитары не решились. Женщину и второго сына отвели к грузовику, помогли забраться в кузов. Ребенка ей пока оставили.

Они вернулись за угол дома, оба трупа были уже убраны. Лашену вспомнился сон, от которого однажды проснулся среди ночи: он входит в дом, где все комнаты пусты, а на лестницах еще ничего не отделано, как будто дом не достроен. Все полы покрывает серая цементная пыль, в углу брошен кусок гофрированного картона и на нем лежит ребенок. Возле него — Грета, и ребенок, сначала он был мертвый, вдруг шевелится. Грета говорит: ребенок тяжело болен, теперь все зависит только от нас с тобой. Это маленькая девочка, Лашен впервые ее видит, впервые в жизни, но личико как будто знакомо, оно словно явилось из какого-то другого сна, и Лашен твердо знает — это его дитя. И смотрит в окно на площадь. От нее две параллельные улицы ведут к другой площади, на которой стоит большой памятник, но что это за памятник, в честь кого поставлен, в память какого события, неизвестно.

Однажды он с Арианой проходил по площади Мучеников, и она рассказала, что ополченцы

из Катаиб вспарывали штыками животы беременных женщин, живых, да, не умерших, жаль, что не умерли раньше, все еще живых. Когда она говорила об этом, Лашен смотрел на большую рыбину, лежащую на прилавке, она хватала ртом воздух и дергалась. В глазах рыбины почудилось какое-то выражение, скрытое, какое же? Он не знал и не мог отвести от нее взгляд. Рассказанное Арианой было правдой, об этом он прочитал потом и в сообщении одного информационного агентства, там приводились важнейшие, наиболее часто практикуемые зверства. Читая, снова как наяву увидел глаза той рыбины.

У офицера сделалось такое лицо, будто ему нанесли личную обиду.

— Вы хотели впечатлений и получили их, как мы и договаривались. Не из приятных, конечно, согласен, но мы неоднократно предупреждали жителей города, что они не должны пытаться оказать сопротивление, оно бессмысленно.

И опять ты киваешь. Все, что происходит, все, что утверждают, говорит само за себя, все внезапно приобрело убедительность, с которой не поспоришь. И сам ты все понимаешь и со всем согласен, сознаешь мерзость происходящего, но ты согласен.

Как же написать? Дать повествование в настоящем времени, чтобы добиться так называемого эффекта присутствия? Гораиб. Семья Гораиб — записал в блокнот. Небо, видное между домами, синее, по небу тянутся пряди дыма, артерии дыма, но свет в улицах прозрачно-белый, как трупные черви. Не может быть, что этот свет настоящий; город тоже ненастоящий, и время — дикое, ненормальное время. Иначе и быть не может, все это наверняка существует только в твоей собственной голове, в безумном мозгу, убитые — лишь порождения твоей фантазии. И все-таки яростная ненависть к палестинцам не стихала, они нанесли ему удар, по мозгам; палестинцы, которым он симпатизировал. Нет никакой справедливости в их требованиях, требования аморальны, потому что аморальны методы. Он всегда и при любых условиях считал, что цели, какие угодно, не должны оцениваться — только путь, только средства приближения к цели мы можем оценить. И сейчас он не хотел проводить те или иные различия — все одинаково, все аморально. Что толку теперь от того, что палестинцы долгое время воздерживались от боевых действий? Теперь это не имеет значения.

Офицер спросил, видел ли он зверства фалан-

гистов в Карантине.

— Нет? В таком случае вы не можете справедливо судить о том, что увидели здесь.

— Мои суждения не так уж важны, — сказал Лашен. — То, что я увидел здесь, ужасно.

— Значит, вы не видели, как они убивали наших детей в Карантине и Маслахе! И в Дбие. Как они убивали наших людей после страшных пыток, как насиловали, оплевывали, сжигали и волокли, привязав тросом к автомашине, и как при этом веселились!

— Вы приказали убить того мужчину и его сына! — Лашен почувствовал, что начал колебаться; слова прозвучали назидательно, почему — он сам не мог понять, ведь глупо было напоминать здесь кому бы то ни было о заповеди «не убий».

— Да, приказал. И чувствовал себя при этом не лучшим образом, — сказал офицер. — Они сами напросились, зная, чем рискуют. Но я не приказывал их мучить, хотя эти фанатики оказали нам сопротивление. Они с оружием в руках выступили против самоотверженных борцов за освобождение Палестины.

Лашен махнул рукой. Осточертели эти пышные фразы. В самом деле, смешно и трагично, что от тех и от других слышишь подобную ерунду. И

те и другие что-то скрывают, за что-то приносят извинения, что-то стараются замять. Все изолгались, всюду ложь. Любые оправдания смешны и трагичны. Что это вообще за чушь — право, данное историей, возвращение себе этого права? Разве из-за средств, из-за методов это право не обращается в свою полную противоположность?

Офицер, выслушав его, сказал:

— Вы фаталист. Я ваших взглядов не разделяю. Я принял решение — бороться за восстановления справедливости, воевать за освобождение Палестины. Вас я просто не могу понять.

Лашен удивился. Оказывается, он свое личное мнение преподносил будто некий всеобщий нравственный закон. Но ведь он не отрицает — ему нравятся решительные действия, целеустремленные люди. А сам не в состоянии по-настоящему решительно схватить за руку человека, который убивает другого человека. И в решающий момент не верит в себя, только и может вопить: «Не надо!», но на поступок неспособен. Палестинцев убивают — существует заговор, поставивший своей целью ликвидировать палестинскую проблему, — их убивают, следовательно, они тоже убивают. Правое дело, неправое дело — понятия переворачивались с

такой быстротой, что становились неразличимо похожими, их так долго меняли местами, что все различия между ними исчезли, правое дело, неправое дело — их уже не было, их словно не существовало никогда. Только пространства и времена будут побеждать другие пространства и другие времена, одна версия — другую, одна история — другую. Многосерийная смерть, она будет продолжаться, для того чтобы могла уцелеть лишь одна-единственная правда, одна-единственная, чья-то, версия правды. Если бы только не было этого яркого света, этого прекрасного синего неба, гор, сверкающих в полуденном солнце. Сейчас свет не дает успокоения, изощренная синева не дает успокоения именно потому, что кажется неистребимой, потому, что под ее сенью может случиться все что угодно, и случается неизбежно и со всей определенностью.

Они вышли на какой-то перекресток, здесь были согнаны и сбиты в тесную толпу женщины и дети. Губы у всех сжаты. Дети не капризничали, стояли держась за руки матерей. Детей успели аккуратно одеть, но на коленях у многих краснели ссадины, многие были с перевязками, в бинтах, носки и воротнички грязные, запылившиеся. Детей вырвали из привычной жизни и втолкнули

в неожиданную ситуацию. Было заметно, что эти улицы им незнакомы или же они изменились до неузнаваемости. На детских лицах была непреклонность, та же, что и у матерей. 1 Отдельно от них под охраной стояла маленькая группа мужчин, в основном стариков. Их, подталкивая в спины стволами и велев положить руки на затылок, первыми повели к грузовикам. Затем женщинам и детям помогли забраться на другой грузовик, и, несмотря ни на что, в обращении с ними было нечто вроде вежливости.

Ну что за идиотизм, опять ты стоишь в стороне и наблюдаешь, а кто-то другой помогает более слабым залезать в кузов. Доброе сердце, да? Таким ты был в детстве, но, став репортером, ты превратился в бессердечное чудовище. Все твое несчастье — в любой ситуации занимаешься тем, что ворошишь воспоминания, перебираешь подходящие к случаю чувства. Тебе это дается не просто, но ведь ты от этого и получаешь кое-что, разве нет? Будь ты палестинцем, действовал бы как палестинцы, поступал как они, во всем, да, это вполне вероятно. Откуда ты взялся? Как ты поступаешь? А Хофман? Какие диковинные принципы определяют его поведение, что означает торжествующая беспристрастность его

взгляда, профильтрованного через видоискатель, эта агрессивная цивилизованность? Но главное, Ариана? Ведь все это, здесь, связано с нею, эти лица, их безмолвие, их решимость убивать и быть убитыми. Все это тебя угнетает, лишает уверенности и твердости. Эти лица так близки тебе, прекрасные, непроницаемые. А оружие, которое в руках у людей, — откуда бы оно к ним ни попало, какого бы ни было калибра, это оружие слабых, списанных со счетов.

Дым ел глаза; руки и затылок ощущали безыскусное тепло январского солнца. Пахло горелой краской. Конечно, Ариана давно уже в глубине души согласилась, пусть молча, со всем, что здесь творится, стала пассивной соучастницей событий, и это соучастие тем более страшно, что о нем можно лишь догадываться, ничего не зная наверняка. Разве Ариана, при всей ее мягкости всегда идущая напролом, не велела тебе стать арабом, последовать ее примеру, она же стала арабской женщиной? А ты от всего отстраняешься, ты отводишь глаза и от убийц, и от их жертв, потому что ты легко и просто исключил ее и себя из истории. Муж Арианы был католиком-маронитом. Тот, кто не сражается сам и не посылает в бой своих сыновей, должен откупиться, заплатив довольно

большие деньги. А ты что? Ты все отвергаешь, ты способен лишь твердить о том, как тебя ужасает бесчеловечность. Ужасающийся господин из Германии. Ужас вызывают как раз те события, из-за которых ты приехал сюда, приехал, чтобы писать о них, рассказывать о них, события, которым ты в конечном счете обязан тем, что тебе платят. Хорошо тебе страдать от бессмысленных жестокостей. Ты же, разумеется, не веришь, что хоть одна твоя корреспонденция хоть для кого-то может стать предостережением. Ты думаешь как раз наоборот — что за деньги пичкаешь читателей ужасами, потому что на ужасы есть спрос, ненасытный спрос. *Людям все больше хочется знать, как там дела на их войне; это их война, только ведут ее не они сами, а подставные лица.* Вот она, правда, это она тебя подхлестывает, и в то же время она — как витринное окно из толстого стекла, и от этого в глазах муть как при катаракте. Смотришь и не видишь взаимосвязей; но невидящий взгляд можно назвать и по-другому: *чистым.* А где же чувства? Куда подевалась та правда, которую знает твое тело, где его боль, где неутолимое и безутешное сострадание, где ярость, пускай бессильная, и яростная скорбь по жизни всего мира, по твоей жизни, твоей, Лашен, скорбь, которая

должна бы повергнуть тебя в прах? В тебе не стало правды, и ты уже не хочешь, ты определенно не хочешь быть кем-то, тебя вполне устраивает быть сторонним наблюдателем, послушным исполнителем указаний, которые поступают издалека, инструментом читателей, зрителем *с чистым взглядом.* Если все это верно, то разве ты сможешь писать для своей газеты такие прекрасные, исполненные боли слова? Вряд ли. Значит, надо и дальше работать, как того требует профессиональный имидж, то есть тратить все силы на то, чтобы в статьях худо-бедно припоминать свои чувства и симулировать переживания. Он позавидовал офицеру — вот уж кто непогрешим, реален, правдив, и в своей правдивости всему находит объяснения, если вообще в них нуждается.

Сегодня утром — Хофман разбудил его звонком — он опять почувствовал, как тяжело держаться на ногах, какая это тяжкая ноша — его тело, ослабевшее от жара, как сильно ломит кости. Потом хотелось сию же минуту вернуться в номер, задернуть занавески, чтобы стало темно. И забиться в угол. Вместо мыслей приходили куцые объяснения, все одни и те же, непрестанно вертевшиеся в голове мысли: чем объясняется куцее, опять же куцее и непрестанно возвраща-

ющееся ощущение своего физического бытия. Бесчувственность была такой, что он чувствовал себя мешком с костями (бесчувственность все более явно выступала как инструмент, с помощью которого чувствуешь). Суставы будто вывернуты и не дают друг другу двигаться. Когда вышел на улицу, свет сбил бы с ног, если бы не тело, которое, устояв, не повалилось наземь и сохранило видимость вертикального положения, но словно в иной реальности. Шел и слышал, как в животе булькает кофе. Все вокруг казалось удивительно мягким, удивительно напоминающим мягкость губ. Еще ничего не совершив, только от одной мысли, что надо что-то делать, почувствовал себя выжатым как лимон. Сумасшедший, бивший по мозгам гул и гудки, крик и гудки, — от них еще сильнее захотелось сбежать, как можно быстрей, самым коротким путем броситься к Ариане.

Он шел к маленькому кафе на улице Хамра, где ему назначил встречу Хофман. Из кафе Лашен хотел еще раз попробовать дозвониться до Арианы, но Хофман, едва увидев его в дверях, расплатился и встал.

Офицер, сославшись на дела, сел в джип, который за ним прислали, и уехал. Пожалуй, подумал Лашен, все-таки удалось немного испортить ему

настроение. Офицер сказал, они с Хофманом могут самостоятельно осмотреть город, на свой страх и риск разумеется. Лашен довольно давно уже мысленно сравнивал этого палестинца с другими военными Фатх, те казались замкнутыми и непостижимо уверенными в себе, совершенно не нуждающимися в чьем-то одобрении. А вот общительность этого офицера была, пожалуй, подозрительна. Предупредительность какая-то скользкая, готовность обсуждать что-то и спорить — уклончивая, разговаривал он с ними, видно, лишь потому, что вообще любит поговорить. А этим мальчишкам-палестинцам на них с Хофманом наплевать. Никто не полюбопытствовал, зачем они сюда явились. Только один спросил: «Do you want to see a family sleeping?»[21] Пошли. Он привел их на первый этаж дома, весь верх которого сгорел. Над крышей еще поднимались тонкие, слабые струйки дыма.

Иногда многие места сливаются в одно, и все события, где бы они ни произошли, стягиваются в проклятый символ, который врезается в память и навсегда остается в ней как гнетущий ночной кошмар. Жилые комнаты еще не были разграб-

---

[21] Примечания: 21
Хотите посмотреть на спящее семейство? *(англ.).*

лены: вероятно, мародерам помешали. Прежний порядок в доме не сдавался, несмотря на смерть. На всем, словно печать, нетронутый тонкий слой пыли. На каминной полке тикали часы под лапой мраморного льва. Льющийся в окна свет (в коридоре на окнах были цветные витражи со сценами детства Христа), казалось, так же надежен и добротен, как все убранство комнаты, как точеные балясины перил на лестнице, панели на стенах, шкафы и буфеты, блестящие и твердые, темно-красные, напоминающие деревянную обшивку корабля.

Потолок в гостиной обвалился и наполовину засыпал труп мужчины. На шахматном столике с перламутровой инкрустацией — шкатулка, тоже украшенная перламутром, а в ней шахматные фигуры. Знать бы еще, была ли крышка шкатулки открыта уже *тогда* или ее открыли те, кто ворвался в этот дом. Нигде ни разрушений, ни следов погрома. И никаких следов борьбы. На ковре, рядом с головой женщины, высохшая лужица крови. На женщине, поперек ее тела — двое мертвых детей, сбоку — грудной ребенок с закрытыми глазами. А глаза женщины остались открытыми. Казалось, в последнюю минуту она успела подсунуть руку под головку ребенка.

Вместе с ними в дом вошли еще два палестинца. Никто ни к чему не прикасался, но один парень вытащил из кармана перетянутую резинкой пачку фотографий и протянул их Лашену. Снято «полароидом». Рождественские семейные фотографии. Почти на всех видна на заднем плане пластмассовая рождественская елка, вот на столе подарки и игрушки, и на ковре тоже, там, где теперь лежит вся семья. Палестинцы негромко заспорили — откуда, из какой точки сделана та или другая фотография. На одном снимке только два мальчика, оба лет двенадцати, сейчас они лежат ничком и лиц не видно; еще на одной фотографии — мать, высоко поднявшая своего малыша. Можно разглядеть, что пальцы у нее унизаны перстнями, они и теперь у нее на руке. На обороте одной из фотографий малыша написано: ребенок уже держит головку. Нет, лучше не знать, отчего погибла эта семья. На голове у мужчины не видно ран. Хофман сделал несколько снимков, отойдя к дверям, щелкая затвором, приговаривал: «I'm sorry!».[22] Управился быстро. Лашен вернул фотографии и отбросил явившуюся было идею сторговать их, предложив парню

[22] Примечания: 22
Извините! *(англ.)*

деньги. Потом, позже, Хофман об этом спросил, но Лашен только покачал головой. Все вышли из дома, и парень бросил фотографии туда, откуда взял — на пол в коридоре. На улице уже собралась целая свора, мародеры обрушились на солдат со злобной руганью — их не пропускали в определенные дома и они возмущались: что за безобразие — их надули, взяли деньги за вход и не пускают. Они же заплатили, а теперь им не дают грабить там, где они чуют самую жирную поживу. Накричавшись, они прикрыли головы и плечи мокрыми тряпками и бросились в горящие дома. Может быть, постепенно здесь сгорит все, тогда мародеры наверняка проникнут и в этот дом. Какая-то женщина собрала уже целую гору одежды и теперь, кивая с довольной улыбкой, прикладывала к себе то одно, то другое платье. Мужчины, охваченные яростной, ненасытной жаждой наживы, с побледневшими от возбуждения лицами, выносили из домов на тротуар все новые вещи, они собирали и собирали скарб, хотя машина уже была перегружена. Они громоздили и громоздили товар, складывали в штабеля, пересчитывали вещи, бросая вокруг взгляды, полные радостного упоения завоевателей.

Церковные колокола давно молчали. Выстре-

лов тоже не слышно. Неудержимо ширилось беззаботное настроение и, кажется, даже ощущение стабильности. Захватчики ходили по улицам свободно и спокойно, оружие небрежно повесили на плечо. Лашен и Хофман свернули на набережную и тут снова услышали треск и гудение огня, который рвался вверх, к крышам жилых домов.

— Горелым мясцом пахнет, — сказал Хофман.

— Да? Не чувствую. По-моему, пахнет гарью, пожаром.

Почему тебе непременно надо возражать, если Хофман ерничает, как вот сейчас? Почему ты против, если Хофман мимоходом, по мелочи, опошляет ужасное? Считаешь, что ты лучше его? Что твоя мнимая мораль и щепетильность, которые служат тебе отговорками, дают на это право? Хофман просто соблюдает принятые условия. Он способен смотреть на все равнодушно, работа дает ему уверенность, а другие люди чувствуют себя уверенно, если исполняют чьи-то приказы. А тебе как достичь уверенности? Ты же знаешь, что будешь продолжать делать то, что делаешь теперь, что делал и раньше, но, продолжая, ты будешь все сильнее ненавидеть себя как самого лютого врага.

20

Бесчисленные смерти; цифры; переведенные на твой родной язык имена кошмара. Только не давай себе опомниться, лучше уж пиши в торопливом репортерском стиле, быстренько все перечисляя и сбывая с рук, помня о читателе, нельзя, чтобы ужасы слишком долго гуляли на воле без узды и поводьев, ужасы надо обуздать, а чем? — словами, тогда они и сами станут только словами. Каждая фраза пусть будет деловитой, сухой, факты, даже самые достоверные, излагай объективно. Написал: «Рай, в котором все это творится, эти прекрасные места еще долго будут напоминать о совершившихся здесь убийствах. О том, что люди совершают с другими людьми!» Написал о том, что убийства не преследуют каких-то явных политических целей, но, вне всяких сомнений, вызваны политическими причинами. Затем последовала беспощадная, резкая как по стилю, так и по содержанию атака на христианские кланы Ливана, сохранившие феодальный уклад.

Ты, коротышка, жирный паршивый софист, ты

же все размазываешь, фактов можешь приводить сколько влезет — все равно они размазаны. О феодально-христианских семействах — тут все правильно, но как раз то, что ты правильно их оцениваешь, лишь ухудшает дело, потому что ты не видишь силы, которую им можно было бы противопоставить. В запасе у тебя лишь несколько затверженных еще дома фраз, которыми ты привык выражать свое возмущение. Возмущение… возмещение… Так бы сразу и сказал: возмещение затрат на возмущение.

Целый день он просидел в гостинице, раз двадцать пытался позвонить Ариане, безуспешно. Хофман будто сгинул. Вчера вечером он был очень оживленным и довольным, так как не сомневался, что сделал прекрасные снимки. Вернувшись в Бейрут, они договорились встретиться попозже вечером в баре, но когда он пришел туда, Хофмана уже окружала компания белокурых девиц. Посмотрел так, будто не знает, куда от них деваться. Видимо, до этой минуты буйствовал по обыкновению свирепо и весело.

Разговор зашел о кадрах, которые он снял во время расстрела отца и сына Гораиб, и Хофман с ходу придумал, как к ним подверстать текст, в общем весь «лэйаут». Свою идею решил по воз-

вращении в Гамбург пробить любой ценой.

В газетах напечатали всего одно информационное сообщение о взятии Дамура. В нем говорилось, убитых триста человек. На второй полосе была довольно подробная заметка о расстрелах, которые устроили христиане в лагере заложников на пляже бывшего курорта Святого Симона, это произошло вчера вечером. В конце заметки высказывалось предположение, что мусульмане и палестинцы, вероятно, не заставят ждать и ответят аналогичным образом. И в самом деле, в двенадцатичасовых новостях передали, что палестинцы расстреляли заложников-христиан в Сабре. После четырех Лашен вышел из гостиницы и сразу перешел на другую сторону улицы, в тень. Глаза воспалились — покраснели и опухли. Снова вернулось ощущение, что во всем теле вибрируют, отзываясь болью, какие-то мембраны. Свет и шум наносили множество мелких уколов и тычков. Со всех сторон летели гудки автомобилей, казалось, эти звуки издают органы какого-то огромного цельного организма. Железные жалюзи на дверях и окнах магазинов наполовину подняты, хозяева лавок и кофеен готовятся принять посетителей. Меняла лишь чуть-чуть приоткрыл свое окошечко, и Лашен,

наклонившись к этой узкой щели, в полумраке увидел блестящие глаза, почудилось — глаза стрелка. На углу Рю Садат сметены в кучу стеклянные осколки. На верхних этажах не осталось ни одного целого окна. И в других домах, подальше, многие окна забиты картонными листами или затянуты полиэтиленовой пленкой. Откуда-то вынырнул мальчишка, крепко схватил Лашена за рукав и потянул к своему табурету — почистить ботинки. Нахально заломил цену — пять лир. Лашен сбил ее до двух и дал мальчишке три. Потом, еще не решив, куда пойти, направился по улочкам, более или менее параллельным Рю Хамра, на саму эту широкую улицу не выходил, лишь временами видел ее в просветах между домами. Там торопливо бежали волны, напомнившие суетливую жизнь, которая раньше кипела в бейрутском порту. Казалось, все стремится к некой критической точке, все должно завершиться до определенного часа, и Лашен тоже зашагал быстрей, он решил вернуться в гостиницу; осталось отчетливое ощущение, будто не сделал чего-то очень важного, но надо было немедленно покинуть улицу, вырваться из зловонного и теплого, липнущего к коже воздуха. Все вокруг внезапно предстало оборотной стороной того, что он пере-

жил вчера, явило суетливую ничтожность любых событий. От этой мысли, ясной и четкой, было не уйти, но в следующий миг она сама ушла, словно сама себя поглотила.

Когда он проходил мимо бара, ему помахал Рудник, который как бы случайно именно в эту минуту повернулся на высоком табурете. От отвращения заныло под ребрами.

— Где вы пропадали? — спросил Рудник и тут же сам ответил: — Знаю, знаю, в Дамур ездили. Ах, как жаль города! — Оказалось, Рудник когда-то бывал там с друзьями. — Неописуемо красивый город, прекрасные сады, дома, площади.

Лашен извинился и сказал, что торопится, мол, ненадолго оторвался от работы, решил немного пройтись.

— О да, актуальность, — сказал Рудник, — Любимая поговорка одного из моих друзей: самое устарелое — это вчерашняя газета. Но, может, не откажетесь выпить стаканчик, всего один, это не задержит вас надолго.

— Хорошо. Выпью мартини.

Сейчас все равно ведь никаких планов нет, подумал он, и не стоит принимать какие-то решения, пока не дозвонился до Арианы и не договорился с ней о встрече вечером.

Рудник снова заговорил. Он отнюдь не хотел бы показаться навязчивым и заранее просит извинить за нескромный вопрос, но все же ему очень хотелось бы узнать, действительно ли имела смысл их вчерашняя поездка в Дамур. И еще, сказал он, позавчера у него остался неприятный осадок, вероятно, он был излишне любопытен?

Ну да, зато теперь раздражала его фальшивая деликатность и подчеркнутая ненавязчивость. Просто невозможно ответить ему сейчас, не нагрубив. И действительно, на вопрос о поездке в Дамур ответил очень резким саркастическим тоном, но Рудник вроде не обратил на это внимания. Стоило ли ездить? Еще бы! Очень даже стоило. Переварить увиденное, конечно, непросто — слишком щедро их попотчевали, да и жирноваты куски, в смысле здорового пищеварения это не полезно. Что же в таком случае делает репортер, прошедший огонь и воду? А вот водой-то и разбавляет, разводит водицей материал, чтобы похолоднее был, да еще режет помельче, чтобы читатели восприняли информацию как фактически достоверное сообщение.

Закрыв за собой дверь номера и повесив на вешалку куртку, он почувствовал сильную боль в челюсти и десне. И сразу подумал об Ариане:

боль — это телесный симптом его жадной тоски. Он явственно ощутил ее прикосновение. А запах вспомнился еще явственнее, — словно Ариана вошла в комнату. Но одновременно закралось подозрение — она не хочет с тобой видеться. Нет, нет, никаких подозрений! Ариана совсем не такая, она бы сама обо всем сказала, ясно и однозначно. Но может быть, еще скажет? С другой стороны, что тут, собственно, странного, если ей хочется некоторое время побыть одной со своим ребенком, если в эти дни ей просто нестерпимо чье-то присутствие, твое присутствие. Она теперь работает только до обеда, она же сказала, и еще сказала, что все время хочет проводить с ребенком. Но сегодня утром в посольстве ему ответили, да, какая-то дама сказала, что Арианы нет на месте, потом дама пообещала передать о звонке и сказала, Ариана обязательно перезвонит. Он представил себе, что сидит рядом с Арианой и рассказывает о своих страхах и подозрениях. Конечно, конечно, она засмеется и как следует вправит ему мозги.

Он повалился на кровать; устал до изнеможения от этих мыслей, подумал он, протянул руку, включил радио. Попытался поймать радио Монте Карло, надо послушать их новости, но на обыч-

ной частоте раздавались только сухой треск и шипение. Радио Тель-Авива? Тоже не удалось выловить, сплошные помехи, наконец вроде поймал какую-то сирийскую станцию, но там передавали арабскую музыку, больше ничего; непрестанно выписывающая петли мелодия то взвивалась, то опадала, плачущий женский голос, подгоняемый быстрыми аккордами струнного инструмента, кажется щипкового, голос, подстегиваемый им, все новые нескончаемо долгие витки. В этом пении, подумал он, нет ничего, кроме кульминаций, ничего, кроме единого непредсказуемого движения голоса. Все пелось этим голосом, и ничего не оставалось не опетого, сама немота пелась им, претворялась в песню. Аплодисменты, раздавшиеся, когда песня все-таки подошла к концу — или ей положили конец? — ошарашили, и Лашен почувствовал разочарование и обиду, хотя не мог взять в толк, что вызвало это чувство, которому он не в силах противиться.

Дверь в ванную, как обычно, была открыта, и время от времени слышно было, как Хофман ворочается во сне, там, за стеной, или напускает воду в ванну. На крюке, которым крепится труба горячей воды, облезлом, с облупившейся краской, повисла ржавая капля. Везде на мебели

— на столе, комоде, холодильнике и кровати — вдруг стали заметны мелкие сколы, царапины, отставшее покрытие из ламината. Холодильник то включался, то выключался, и внутри негромко позвякивали бутылочки с выпивкой. Всегда, лежа на кровати, он с любопытством думал — доносятся ли различимые здесь голоса из других номеров через приоткрытое окно или звук проникает сквозь стены. Однажды он услышал визгливые возгласы женщины, веселый, возбужденный голос. Ей коротко отвечал мужской — полный глухой угрозы. Должно быть, мужчина пытался поймать женщину — голоса раздавались то совсем рядом, то подальше — а она каждый раз ускользала, дразнила, чтобы сильнее возбудить. Невольно в голове замелькали картинки — то, что за тем начнется или продолжится. Картинки в воображении раскрылись наподобие веера, словно по какой-то неизменной схеме, и, когда женщина, уступив, повалилась на кровать и сдалась, Лашен, зевая от скуки, констатировал собственное возбуждение.

Позвонил Хофман, спросил, поедет ли он с ним в Штаура. Говорят, там самая вкусная меззе. Рудник тоже едет.

Он отказался, сказал, вечером у него назначена

встреча. И, сказав, снова почувствовал уверенность, что Ариана все-таки позвонит.

— Ну ладно. — Голос Хофмана прозвучал угрожающе, но может, и нет — просто тон у него такой неизменный, такой однообразный, ровный.

— Ты откуда звонишь? — спросил Лашен.

— Из холла. А что?

— Да нет, ничего. Просто подумал, ты ведь мог бы и откуда-нибудь из города позвонить.

— Хм, почему бы и нет. Мог бы позвонить и из города. Конечно.

Он-то надеялся, что опять прервана телефонная связь с городом. Если бы так. Это было бы прекрасным объяснением, почему Ариана до сих пор не позвонила.

— Мы уже заказали машину, — сказал Хофман. — Дело за тобой. Решай: едешь или нет?

— По-моему, я уже сказал — нет.

Он услышал, что, вешая трубку, Хофман о чем-то заговорил с Рудником.

Звонить в посольство в послеобеденное время не имело смысла, но он все-таки опять набрал номер и долго слушал редкие длинные гудки. Наконец ответили. Мужской голос сказал что-то по-арабски. Лашен попытался заговорить по-французски, по-английски, но в ответ раз-

давалась только гортанная арабская речь. Она звучала сварливо, словно ругань, хриплая брань.

Он набрал домашний номер Арианы и стал смотреть на крыши далеко внизу за окном, еще окрашенные крепким пурпуром солнца, словно завешенные тончайшей тканью.

Ариана сняла трубку:

— Ах, это ты! — Голос, пожалуй, был радостный. Она сказала, что очень занята, совсем нет времени, куча дел, минуту назад вошла в дом. — Сегодня уехали последние, те, кто не уехал раньше. Остались пресс-атташе и сотрудница, с которой ты говорил сегодня утром. — Она замолчала, Лашен глубоко вздохнул, пытаясь сообразить что к чему. — Послушай, — сказала Ариана, — мне очень жаль, но пока я не могу с тобой встретиться.

— А я, ты знаешь, я очень хотел бы прийти, — мучительно выдавил он.

— Да-да.

— Мы вообще увидимся когда-нибудь?

— Ну конечно. Просто дай мне некоторое время.

— Как дела у девочки?

— Да не в ней дело. Ты пойми, я не ребенком так сильно занята. Все, что нужно ребенку, у меня получается просто само собой, легко, как во сне,

как в мечтах. И сейчас все в полном порядке, но я не должна да и не хочу отвлекаться. Пока, временно. Мне надо было бы вынуждать себя, понимаешь, чтобы встретиться с тобой.

— Господи, до чего же я назойлив, наверное. Назойлив и неприятен.

— Неправда. Вот ты не хочешь меня понять. А ты, пожалуйста, все-таки пойми. В любом случае мы еще увидимся.

Это «еще» окончательно выбило у него почву из-под ног. Он уставился в одну точку и почувствовал, как нарастает боль, она усиливалась с каждой секундой и в конце концов, кроме этой боли, не осталось ничего, никаких ощущений, но боль была все же недостаточно сильной, чтобы пробить неколебимо мощную стену бесчувствия, которая окружила его словно раздувшийся до гигантских размеров спасательный круг, от этого бесчувствия хотелось заорать, но он не мог произнести ни слова. И все-таки после долгой паузы, собрав последние силы, проговорил:

— Мы еще увидимся, да?

— Ну конечно. — И Ариана повесила трубку.

Он сел к столу и принялся за свои заметки. Писал от руки, начерно, изложил некоторые наблюдения, сделанные вчера и сначала пока-

завшиеся не слишком важными. Записал слова одного австрийского востоковеда, их он услышал от Арианы: «Мои милые христиане в Ашрафие и Айн Румманех обезумели, вообразили, что они не арабы, а финикийцы, смех да и только. При всем том они живут как арабы и ведут себя как арабы. Потому что они арабы и только арабы, а лучше всего постигаешь их арабскую сущность по тому, чего они *не* делают. Христианского вероисповедания эти люди или мусульманского — они арабы, потому что они страстные бездельники, именно это качество у них опять же общее с арабами, оно характеризует их как арабов и только как арабов».

Вдруг пришло в голову, что Ариане с ее ребенком сегодня ночью, возможно, будет грозить опасность. Ведь от ее дома всего километр до Рю Дамас, по которой ведется обстрел. Решено, он пойдет туда и будет находиться неподалеку, но Ариана об этом не узнает, а если что, он подоспеет на помощь. И она обнимет его. У ребенка жар. Он обещает раздобыть необходимое лекарство. Возвращается, и она говорит — это уже потом, вечером, — не надо идти в отель, не ходи на улицу, это слишком опасно.

Он захлопнул блокнот, торопливо застегнул

рубашку, взял куртку и спустился в холл. Спросил портье, давно ли уехали Хофман и Рудник. Минут пять тому назад. Сожаления не почувствовал, хотя сейчас, пожалуй, был бы не прочь поехать с ними в Штаура, до которой было сорок километров по шоссе на Дамаск. На этой дороге всякого можно опасаться, впрочем, известно, что на машины такси нападения совершают довольно редко. И все-таки на обратном пути через горы будет уже совсем темно, а в темноте может случиться все, что угодно, просто по недоразумению. В холле, как и днем, сидели арабы, в белых и коричневых кафтанах. На головах платки, лица светлокожие и холеные, бородатые, но с тщательно выбритыми скулами. Всякий раз, увидев их, он не мог отделаться от мысли, что эти арабы ухитрились выпрыгнуть из потока времени и превратились в монументы ожидания.

Прикинул, не пообедать ли в гостинице или лучше пойти куда-нибудь в город, недалеко, но вместо этого снова поднялся в свой номер. Лежа на кровати, от начала до конца прочитал все черновые заметки, просмотрел и те строчки, которые вычеркнул, после того как включил их в чистовой вариант статьи. И вдруг нахлынула страшная обида на Ариану, да такая, что, обозлившись на

самого себя, он повернулся лицом к стене. Потом вдруг подумал, что в последнее время почти совсем не вспоминает о Грете и своих детях. Грете ведь так больше и не написал. Но если он забыл Грету и детей, то и они забыли о нем. Конечно, он их любит, вот и сейчас, в эту минуту, любит, но не может быть с ними вместе, слишком далеко все зашло. Быть вместе с Арианой — это совсем другое. Сейчас она, наверное, баюкает ребенка, тихонько напевает, а может, входит в гостиную с подносом в руках. Или вкручивает новую лампочку вместо перегоревшей на крыльце, над входной дверью. Вот она ходит по комнате — лицо красиво в своей сосредоточенности; ребенок лежит в кроватке под пологом и спит. А сам он в этих видениях отсутствует, и неспроста. Рано или поздно тебе ведь придется уехать, подумал он. Хофман торопит с отъездом, все счета уже оплачены, на улице ждет такси с включенным мотором. Но нет — он никуда не уехал, живет, как и раньше, в отеле, Рудника не встречает. Работает с утра до вечера, а вечера проводит с Арианой и ее ребенком. Каждый день он работает над аналитическими обзорами политической жизни, это ему по душе, в статьях удается увязать здешние события со всеми процессами и движениями на

Ближнем и Среднем Востоке, удается и показать роль великих держав, само собой. Вот это работа, не то что ерунда, которой он занимается сегодня. Ариана в посольстве не слишком загружена переводами. Она вяжет из шерсти разные вещички для ребенка. Он фотографирует ее с ребенком на руках «полароидом», который подарил Ариане.

Блокнот для черновых записей соскользнул с кровати, он ничего не заметил, но встал, почувствовав, что заснет, если сию же минуту не займется чем-нибудь. Достал из холодильника бутылочку бурбона. Уже стемнело. Казалось, что за окном сплошные развалины. Вместо цветущего сада и виллы — груда камней и щебня. Он широко раскрыл окно, и лица коснулся сладкий дух цветущих деревьев. Из глубины медленно поднялись знакомые очертания, тени, пятна. Сад цел и невредим. Это впечатление, будто все сады уничтожены, появлялось уже не раз, и Лашен быстро, чуть ли не радостно, описал его, набросав несколько слов на каком-то клочке.

Потом надел новую куртку, вынул из бумажника паспорт и журналистское удостоверение — бумажник был спрятан в шкафу под одеждой — и сунул документы в карман. В шкафу, под бельем, лежал и нож, после поездки в Эден Ла-

шен ни разу не пристегивал его к ноге. А теперь пристегнул, отмахнувшись от мысли, что предосторожности на самом деле смешны. Ничего подобного, он теперь прекрасно вооружен и ко всему готов, он теперь, пожалуй, не прочь во что-нибудь ввязаться. И он еще раз тщательно пригладил волосы.

21

Спустившись в холл, он увидел сидящего в кресле молодого араба с иссиня-черными с сильной проседью волосами, тот, зевая, обернулся на звук шагов. Должно быть, сынок одного из нефтяных королей Кувейта или Саудовской Аравии, юный принц, каких много среди студентов бейрутского Американского университета. Но занятия в университете вот уже несколько недель как прекращены.

Рудник однажды сказал, по обыкновению шепотом, с таинственным видом и под великим секретом, что отель «Коммодор» «контролируют» палестинцы. Однако вчера и сегодня утром в ресторане не было хлеба. Даже тонкие лепешки отпускались строго нормировано. Наверное, опять закупили пушки вместо хлеба. Или сообразили, что в нынешней ситуации не очень-то важно, будут ли постояльцы отеля довольны обслуживанием; возможно, подумал Лашен, постояльцы для них и вообще лишь прикрытие, удобный предлог до поры до времени не закрывать гостиницу, за этой ширмой торговцы

оружием могут спокойно проворачивать свои сделки.

А ведь Рудник собирался познакомить тебя с каким-то торговцем оружием из Джунии, подумал он, но ты ему не напомнил. Просто интерес к делу вдруг пропал, не хотелось этим заниматься. А раз тебя это больше не интересует, подумал он, значит, и читателям будет неинтересно, да, наверняка; следовательно, ты не просто так, а в интересах читателей решил не заниматься этой темой. Особенно после Дамура. Но разве в этой теме не вскрылись бы некоторые тайные пружины здешних событий, в том числе взятия Дамура? Да, некоторые, а сколько их вообще… Но ведь тебе это совершенно безразлично, а читатели… Да пропади они пропадом, шли бы подальше со своими неудовлетворенными запросами.

За прожитые здесь дни он успел узнать всех служащих «Коммодора», сменявшихся ежедневно ближе к вечеру. Почти все они отличались одинаковой приторно-сладкой предупредительностью, и, кстати, в любой ситуации — когда обслуживали и когда заставляли ждать. Но иногда Лашен случайно перехватывал чей-нибудь бдительный, полный решимости взгляд кого-то из них, пожалуй, они и в самом деле «контролировали» холл.

Ни на ком в особенности не задерживаясь, такой взгляд скользил, не привлекая к себе внимания, никто не мог почувствовать, что за ним следят, персонал отлично владел собой и сохранял незаинтересованное выражение, если посмотришь на кого-нибудь из них в упор. Как проворны официанты — Лашен зашел в бар выпить кофе по-турецки, — они с самого начала показались ему подозрительными. Однажды он открыто наблюдал за официантами, которые занимались своими делами, причем с работой справлялись умело и все же с таким видом, словно одновременно еще чем-то заняты, чем-то несравнимо более важным, и Лашен почувствовал тревогу. Значит, когда на них не смотришь, эти люди, зная, что за ними не наблюдают, замышляют что-то против тебя. Нельзя забывать, напомнил он себе, они же арабы, глядя на них, невозможно отделаться от ощущения, что даже среди своих, в своем лагере, они то и дело становятся перебежчиками; коварство, интриги — это же у них в крови, это неискоренимо.

Обедать он пошел в маленький ресторан на улице Манара; не ресторан, собственно, а лишь пара столиков на террасе под навесом. Со стороны улицы у входа горели две лампочки, наверху

висел инфракрасный обогреватель. Время было раннее — половина седьмого. Он заказал бифштекс с печеным картофелем и поллитра божоле. Вино хозяин подал вместе с фисташками, затем принес на тарелке белые лепешки и мисочку с хуммусом. На хозяине был длинный белый передник, порядком замызганный, в пятнах жира, и почему-то это сразу внушило бесконечное доверие к этому человеку. Наконец-то человек, который занимается по-настоящему нужным делом, причем в одиночку, хозяин заведения прежде всего сам заинтересован в том, чтобы ему доверяли, не лезет из кожи вон, чтобы угодить, а просто работает на совесть. Наконец-то человек, в котором чувствуется нечто определенное, не то что все эти старательно заметающие следы лакеи с их тактикой вежливости. Еда была очень вкусной. Пожалуй, все свои опасения он прогнал, настолько все здесь отвлекало от неприятных мыслей. Он почувствовал в себе удаль — теперь не сплоховал бы, случись что-то непредвиденное, вызывающее содрогание. А пускай случится, пускай даже с ним самим стрясется что-нибудь страшное. И уверенность появилась — он все-таки сумеет убедить Ариану в том, что нужен ей. И Грете решил написать письмо, но уже совсем

другое, завтра же напишет, откровенно, определенно и ласково, напишет, что он предлагает насчет детей, а что предлагает? Это наверняка придет в голову сегодня вечером. В деталях он еще ничего не представлял себе, но знал, что непременно оставит им все материальное — дом и тому подобное. Туда он скорей всего уже не вернется, а значит, отдаст Грете и весь тот край, места, которые любил больше всего на свете. Да, придется, в любом случае, это будет — если не считать детей — самое дорогое, от чего он откажется. А с детьми можно встречаться где-нибудь на стороне, пожалуй в Гамбурге, он к ним будет приходить или пусть они приезжают к нему.

Все это он решил написать Грете, как только станут ясны детали. Надо рассказать и Ариане, без долгих хождений вокруг да около, довольно уж хожено, вот тогда их отношения наконец станут реальностью. А еще можно поговорить в редакции — пусть направят сюда на постоянную работу, тогда он и после окончания войны сможет остаться с Ариадной, насовсем остаться, здесь, в Ливане, или в Дамаске. Почему бы и нет?

Он вытер пальцы, закурил и попросил принести еще чашку кофе. В углу террасы на столике стояло несколько клеток с птицами, одна на

другой, целая иерархическая система птичьих клеток. Оказывается, он смотрел на них вот уже несколько минут.

22

Он был уже неподалеку от дома Арианы, как вдруг в небе вспыхнуло зарево, раскрылись глубокие, сверкающие ларцы, переливающиеся дарохранительницы, и свет в них был обращен внутрь. Гранаты свистели и выли, взрывались с глухим рокотом, доносившимся будто из-под земли. Земля содрогалась, грохот такой, что весь воздух и даже взгляд вздрагивает, подумал он, а ведь живущие в этих кварталах спокойно сидят дома и ужинают. А на душе легко, даже весело, правда, чего-то для настоящего веселья все же не хватает.

Несмотря на такое настроение, он шел осторожно и, если поблизости раздавался шум, чаще всего — неопределенный, нырял в подворотню или подъезд ближайшего дома и ждал, когда видимый из укрытия отрезок улицы озарит сияющий поток, который то набегал, то откатывался назад. Он по-прежнему был спокоен, вот только от неизвестности начало сосать под ложечкой, боль была тупой, словно пытался куснуть какой-то беззубый зверек. И чем ближе он подходил

к дому Арианы, тем больше казалось, что все его недавние размышления попросту бездарны, он отвергал свои планы, один за другим. Пусть встреча и объяснение с Арианой будут короткими, конечно, пусть все будет гораздо короче, определеннее, по существу дела, лишь чуть-чуть можно будет поколебаться между «да» и «нет». Снаряды пролетают, кажется, над самой головой и все метят как раз туда, где он сейчас идет. Осторожность вошла в привычку, он уже не отшатывался назад и не испытывал внезапного сокрушительного страха — в теле была медлительная податливость, — ничего похожего на ту тревогу, которая охватывала его раньше, несмотря на сознательно сохраняемое спокойствие, ничего общего с прежней, внезапно нападавшей мелкой нервной дрожью, которая била все сильней, угрожая вот-вот разорвать на куски; уверенность лунатика, вот что это такое, и она напрямую связана с риском.

Только вот неуверенность насчет Арианы никуда не делась. Почему его переход по этим улицам, по кварталам, откуда до ее дома еще идти и идти, ощущается как униженная попытка достичь близости? Что он, собственно, хочет сказать ей, что объяснить, на чем собирается настаивать? А как

будет оправдываться? Он же пренебрег ее нежеланием встретиться, ну да, пренебрег, но ведь один раз всего, один-единственный раз. А с какой стати она должна ему верить, если он так быстро и послушно принимает ее условия — он же готов принять их. Кроме того, далеко не просто будет устроиться здесь корреспондентом, после войны-то все изменится. Да и не всерьез он обдумывал эту возможность, скорей просто рассчитывал на то, что обстоятельства вдруг сложатся благоприятным образом. Но сейчас, по крайней мере так казалось, он придет и предложит себя Ариане как начинающий с нуля, потому что он действительно хочет начать жизнь заново. К прошлому пусть тянется ниточка, думать о нем надо скупо и забывчиво, оберегая детей, да, это единственно надежная позиция. А до того — дрейф смутных отсеченных глав проклятой биографии.

Шум игрушечных сражений наплывал, обволакивал, автомашины, низко осевшие, повисли, съехав на обочину, на краю сточных канав, спущенные шины торчат из-под кузова, словно башмаки, — напоминают сидящих на корточках людей. Свистящие снаряды означают смерть, но только означают. Вспомнилось выступление одного писателя, в Гамбурге, в самый разгар кам-

пании против войны американцев во Вьетнаме. Голос писателя иногда взвивался и переходил в завывание, с особой ожесточенностью он произносил слова «замешательство», «гнев», «возмущение». Если память не подводит, тогда слово «замешательство» и в самом деле заставило его почувствовать замешательство, а вот рассказ о зверствах американцев скорей вызвал недоумение, потому что был заранее тщательно выстроен и изобиловал патетическими возгласами. Вот и сейчас он снова очень ясно почувствовал «замешательство», хотя все пережитое вчера уже ушло в прошлое, стало далеким и поблекшим, словно обо всем этом он прочитал в газете.

Чтобы сократить путь, он свернул на поперечную улицу, но слишком рано. Теперь, значит, опять налево, а потом направо. Почти на всех окнах шторы затемнения, пробивавшийся кое-где свет казался скудным и тусклым. Мимо промчались два автомобиля, тот, что впереди, непрерывно гудел. Может быть, водитель сигналит, чтобы позвать на помощь, подает знак, что его преследуют. Может быть, его догонят, заставят остановиться и убьют. Прежде чем повернуть направо, Лашен остановился и быстро скользнул к стене — впереди, напротив одного

из домов, стояла группа вооруженных людей. Конус света, прожектор, медленно обшаривая фасад, проникал сквозь занавеси и шторы затемнения, освещал комнаты. Лашен увидел лампу под потолком, верхнюю часть шкафа. Медленно попятившись, он отступил и дальше пошел другой дорогой. Послышались крики, щелкнул выстрел, где-то совсем близко. Впереди взлетела ракета, часть улицы озарилась ярким светом, он быстро пробежал по освещенному отрезку, и снова вокруг сгустилась безопасная тьма, которая была еще чернее и непрогляднее, чем раньше.

Лампочка над входной дверью горела, в одном окне теплился свет. Лашен пригнулся и бесшумно взбежал по ступенькам. Постучав в дверь, почувствовал слабость, но решил, что стоять на свету все же лучше, на тот случай, если на крыше соседней многоэтажки сидят снайперы. В доме не раздавалось ни звука, но дверь открылась; Ариана, увидев его, улыбнулась.

— Ариана, — выдохнул он, — извини, пожалуйста.

Она и правда улыбалась. Только в доме, когда он вошел и сел, принялась его упрекать: почему не отнесся всерьез к ее просьбе — не нарушать ее одиночества. Она же выразилась, кажется,

достаточно ясно, — эти слова неприятно резанули и вообще прозвучали как-то неуместно. Она снова заговорила: ей надо побыть одной, нет, не по-настоящему одной, ты же понимаешь… И снова улыбнулась.

Почему она держится так, словно что-то изменилось? Почему допускает, что он чувствует себя лишним, каким-то незваным гостем? Ясно же, приветливостью она только старается скрыть свое равнодушие. А когда сказала, что из-за ребенка у нее, с самых первых дней, полностью изменилось отношение к жизни, что многое, что она раньше считала вполне обыденным, предстало в новом свете и многие склонности, многие чувства уже не кажутся ей столь важными или вообще какими-то исключительными, что исключительным в ее жизни теперь является только ребенок, — Лашена бросило в жар. Он был совершенно не готов встретить такой решительный отказ. И стало стыдно — неужели ждал чего-то другого, чего-то большего, чем та роль, которую она отвела ему, сказав все это?

Может быть, устала, ведь ребенок отнимает у нее силы без остатка, и мысль о близости с тобой внушает ей страх, да, ее страшит жизнь с тобой, жизнь, которую ты заранее расписал себе во всей

красе, о чем она, конечно же, догадалась.

Ариана сказала, что в ближайшие дни обдумает все, что касается ее самой и его. Зачем лгать? Она же, без сомнения, давно все обдумала, и обдумала хорошо.

— Скажи мне правду, — попросил он, — как я понял, ты больше не хочешь меня видеть?

— Да почему же? — Кажется, она искренне удивилась. — С чего ты взял? Ты мне очень нравишься, и быть с тобой мне приятно. Но я не понимаю, чего ты вообще хочешь от меня?

Что он мог ответить? Он знал: на этот вопрос у него есть несколько хороших ответов, он и ответил бы, но только не сейчас. Ариана стояла рядом, положив руку ему на плечо.

— Мне приятно, что мы с тобой познакомились. Но сейчас мне так хорошо с моим ребенком, это что-то исключительное, и я так этому рада, мне хочется продлить эту радость как можно дольше. А потом все опять пойдет по-старому, все будет совершенно нормально, и этому я тоже радуюсь, уже сейчас, заранее. Ну почему ты не хочешь меня понять? Кто ты вообще такой, почему позволяешь себе что-то требовать, на что-то претендовать? Ты же приехал сюда на время. И хочешь, чтобы в это время я себя полностью

посвятила тебе, как будто эти несколько дней — вся моя жизнь? В общем, чего ты хочешь?

Сейчас нельзя было ответить. Пришлось бы возражать, а сейчас это было невозможно. И он только покачал головой.

— Видишь ли, — продолжала Ариана, — у меня есть еще один, другой, друг, он, как и ты, кое-что значит в моей жизни. Но он никуда не уедет. Пожалуйста, пойми меня правильно, я не упрекаю тебя за то, что ты уезжаешь, но я не хочу все время бояться, что ты уедешь.

— Да, да… Но ты не все знаешь. Я, может быть, никуда не уеду, останусь здесь насовсем.

— Глупости. Я же в шутку сказала, что тебе надо стать арабом.

Лашен сказал, что ему хочется посмотреть на ребенка. Кажется, покраснел, подумал он, покраснел, потому что она тебя обидела или от стыда — стыдно, что обиделся. Черт, нельзя быть таким обидчивым, нельзя чувствовать себя несчастным и побитым, как когда-то в детстве. Почему он не может убедить Ариану? Ах да, с самого начала надо было действовать решительнее. Но в то же время, ведь не будь его, Ариане не отдали бы ребенка из приюта, так разве можно считать его непричастным? Он причастен уж никак не мень-

ше, чем тот неизвестный, который произвел этого ребенка на свет. А она выставляет его за дверь.

Она вошла первой, попросив соблюдать тишину. Девочка лежала с открытым ртом, раскинув ручки. Ариана наклонилась и прислушалась к ее дыханию.

— Иногда, — сказала она шепотом, — у меня бывают приступы страха, мне чудится, что она не дышит. — Дверь в коридор Ариана оставила открытой, на вышитое одеяльце падала полоса слабого света. Маленькое личико находилось в тени. Ариана сказала: — Высыпания на тельце уже проходят. Я так рада, просто описать не могу!

В последние дни Лашен часто думал о ребенке, думал озабоченно, с сентиментальной растроганностью. Уже воображал себя крестным, думал, что ребенок немножко и от него зависит. Он обнял Ариану за талию, она быстро поцеловала его в щеку и взяла за руку. Неужели ребенок стал препятствием, преградой, которая их разделяет? Нет, это глупость, думать так глупо и подло по отношению к ребенку, но сейчас эта мысль помимо его воли снова вернулась. Это спящее, еще не мыслящее нечто, существо, из-за которого столько сложностей, это чуждое, не сознающее

и требовательное, безмерно требовательное создание стоит у него на пути, до последней капли высасывает внимание Арианы, делает ее своим безраздельным достоянием, это существо с чертами первых попавшихся родителей, которых, быть может, давно нет в живых, то есть дитя мертвецов, уже зарытых в землю или сожженных. Вспомнилась вдруг та монахиня в громадных башмаках — жирная бронзово-смуглая физиономия под белым головным платком, не способная выразить ничего, кроме презрения к этому крохотному комочку, а заодно и к Ариане, потому что Ариана, вопреки ожиданиям, презрения не испытывала.

Он почувствовал себя скверно — низменные мысли, он сам такого не ожидал. Что с тобой? Где твоя уравновешенность? Приди в себя, ты же способен сейчас буквально на все.

Они тихо отошли от кроватки. Ариана закрыла дверь. В кухне на буфете стояло несколько бутылочек, одна, с чаем, была даже в специальной грелке. В ванной горел свет, на веревке висели желтые полиэтиленовые подгузники. Как-то все это слишком, как-то утрированно, подумал он, нарочито, а уж сколько стараний поскорей принять участие в не слишком убедительной и

сентиментальной возне мамаш всего света.

Он был слишком уверен и слишком рано перестал сомневаться в том, что они уже стали единым целым, что связь их прочна и надежна, как тандем гангстеров-напарников. Они стояли друг против друга в гостиной, Ариана о чем-то раздумывала, вяло опустив руки, он уставился вниз, на ее щиколотки, на прожилки дерева на полу. Самообладание не привело к успеху, однако он решил и дальше не позволять себе распускаться. Ты можешь, подумал он, взять ее силой, разумеется один-единственный раз.

Они все стояли на том же месте, и он почувствовал страх перед ее решением. Потому что она явно решила поставить точку. Может быть, эта любовь и не настоящая — так, дешевая интрижка, приключение человека, который окончательно сломлен и разбит; и вдруг почему-то, невзирая на любые «но», его губы в величайшем волнении уверяют, что он любит эту и только эту женщину и отныне хочет разделить с ней жизнь. Калека, глубоко униженное, уже смирившееся с гибелью существо вообразило себе невесть что, размечталось о союзе с женщиной, принадлежащей к избранным. В детстве он ничем не отличался от других детей, и все-таки с самого начала был со-

чтен ни на что не годным. Глубокие потрясения, например потрясения большой любви, для него уже тогда были чем-то недоступным. Теперь он снова понял это по тому, что чувство к Ариане ему самому показалось убогим и мелким, и в то же время из-за страха потерять ее больше всего хотелось сейчас же наброситься, овладеть ею. Да ведь все события его жизни были чем-то «невозможным». Слишком часто его выталкивали из круга претендентов. Брак с Гретой тоже надо считать очередной нереализованной возможностью.

С улицы донеслись звуки, похожие сперва на звон, потом — на стук по железу. Нервы мешали всерьез подумать о чем-нибудь, в голове вертелся только один вопрос: вот сейчас, сию минуту, бросит его Ариана или спасет? Хватило бы мягкого прикосновения, вполне хватило бы, чтобы он снова почувствовал себя хоть чем-то стоящим. Все-таки он твердо решил направить свою жизнь в новое русло и обходиться без фальшивок в журналистской работе. И тут Ариана медленно начала возвращаться — посмотрела ему в глаза, в последнюю минуту решившись спасти, и зиявшая в нем пустота мгновенно заполнилась. Она все поняла, теперь она знает о нем больше, чем он мог бы рассказать сам. От ее тепла к нему

вернулась цельность.

— Ну хорошо, — сказала она, — но ты должен обещать, что потом уйдешь. И пока мне требуется время для себя и для ребенка, ты ничего не будешь предпринимать, в этом все равно не будет никакого смысла.

Всю ночь не смолкал грохот обстрела. Они лежали за пределами всех линий огня. Под утро они услышали тихий плач ребенка, Ариана встала и ушла кормить, в эти минуты Лашен снова почувствовал в себе довольно силы и дерзости. Он решил еще раз побывать «на театре военных действий», иначе говоря — посетить здешнюю достопримечательность, эта мысль оказалась сильной и благотворной, мысль, полная насмешки.

Возвращаясь в гостиницу, он не встретил ни души. На какой-то улице услышал музыку, лившуюся из раскрытого окна. Сразу вспомнилась Грета. Утро, в кухне горит свет, Грета разводит в чашке кофе, добавляет молока. Через улицу переходили крысы, он подбежал, шуганул их. Балконная маркиза издала протяжный звук, похожий на стон, он остановился и спокойно осмотрел весь фасад до самой крыши.

Сегодня надо, пожалуй, написать ô том, как

проходят ночи здесь, на окраинах гррода, о том, что ночью здесь настает крепкое, устойчивое отсутствие событий, упокоение пред воскресением, затишье, возможное лишь на пороге величайшего грохота; не в оптимистических тонах, а просто описать ночь, какой он видит и чувствует ее сейчас, хотя предрассветные сумерки уже ясно очерчивают контуры домов. Телесную оболочку Арианы он оставил в темноте. Сегодня, когда он займется работой, фальшивки не будет, даже если придется «услужить» читателям и удовлетворить их жажду ужасного. Он без всякого стеснения угостит их доброй порцией побоищ, которая им, миролюбцам, ежедневно требуется. Уж я выдам вам вашего реализма сполна, вашего кровного, кровавого!

Он добрался до гостиницы. После завтрака Хофман объявил о своем решении ехать домой.

— А ты, что ли, совсем свихнулся, а? Из-за женщины? — Но сказано это было — Лашен не ошибся — сочувственным тоном.

23

О Дамуре надо было писать снова и снова — Лашен что-то набрасывал, но тут же наваливались другие впечатления, еще и еще, куски, которые он не успевал прожевать, забивали рот. Описания того, что он действительно пережил, внезапно превращались в целый спектр, где было множество иных, нередко — лишь потенциально возможных версий случившегося, а также форм выражения. Нужно было ограничивать себя и расходовать впечатления экономно, но в памяти снова и снова всплывали многие детали, о которых он еще не рассказал.

Он работал как одержимый, лихорадочно, одержимость сметала любые преграды, все становилось возможным. Пресловутый читатель, этот призрак, начисто лишился прав контроля. Любую написанную фразу можно, зачеркнув, заменить другой, но этого не требовалось — слова рождались верные, по сути «правильные», в том смысле, что он наконец перестал слышать в них вторичные, дополнительные оттенки и призвуки, кривлянье исподтишка, выверты, в итоге

никого не обманывающие. Он понял, что очень часто примерял чужие маски, пластичные и мягкие, легко становящиеся обличьем фальшивого, ловко все перекручивающего журналистского подхода.

Написанное сейчас и то, что он писал дальше, было совсем другим. Он все это пережил, пережил так, словно его впервые в жизни, совершенно неожиданно *повела* к событиям некая высшая сила. Он все это пережил, хотя, конечно, пережил в иных пространствах и в ином темпе. Все жило в его памяти, каждая деталь была точной, но, вспоминая, он не мог сказать, что в Дамуре пережил все именно так, как представлялось теперь. Эта правда, ее ощущение и наконец наставшая уверенность будоражили. Текст динамичен, да, впечатление не исчезло и после перечитывания. Став весомым благодаря этой вновь обретенной правде, подумал он, текст обрел динамику, непрерывную динамику душевного переживания.

Никаких — в отличие от прежних статей — нравоучений, никакой морали, сводившейся к авторскому взгляду на вещи, морали со шкалой ценностей, с иерархией уровней. В словах было выражено все, что он пережил, была и моральная оценка. Работая, он не чувствовал ни тени того

странно двойственного возбуждения, которое охватило его в Дамуре, когда у него на глазах расстреляли отца и сына Гораиб, но в каждом предложении и каждом слове было сочувствие к этим людям, чьи тела, он видел, лежали, сведенные судорогой и одновременно расслабленные, на пыльной, грязной мостовой, неестественно вывернув руки и ноги. У обоих были тщательно заглаженные складки на брюках, аккуратно причесанные волосы почти не растрепались, словно оба хотели остаться в памяти живых опрятными. Патетическим, но не напыщенным было описание женщины в черном головном платке с мертвым ребенком на руках. Она не желала плакать, хотя слезы катились по ее губам и подбородку. Она знала о том, что стало с ее мужем и сыном, но шла, высоко подняв голову, с выражением решимости на лице, — нет, это был лик — решимости не верить в *это* и никогда *этого* не понять.

Он не знал, откуда пришла эта правда, это новое качество слов. Может быть, из отвращения к старому, привычному методу работы, который состоял в том, чтобы из какого угодно материала приготовить нечто свеженькое и актуальное, и вот этот свеженький соус подавать порциями до

тех самых пор, пока однажды не отпадет надобность в самих фактах.

Прежний холод и прежний пыл! Баста, никаких холодных голых фактов, никакого холодного циничного тона, никаких точно и трезво построенных, бьющих в цель фраз, никакой нарочито облегченной подачи реальных фактов, которая служит самоутверждению ничтожества с комплексом неполноценности. В новой статье не было также признаков того, что сугубо деловая информация должна послужить предостережением и вправить мозги читателю, наставить на истинный путь.

Наконец Лашен почувствовал спокойное удовлетворение, теперь ничего не надо было ни добавлять, ни улучшать. Подумал даже, не передать ли статью с Хофманом; первая версия написана от руки, но это мелочи. А что, пускай отдаст редактору, все надежнее, чем держать статью здесь. Но вдруг понял, что несоизмеримо важней сейчас другое — надо прочитать статью Ариане. Готова ведь и другая статья, она, конечно, написана по старинке, в привычной, никуда не годной манере, но не беда, сойдет. Вот ее и отдать Хофману. Ариана сказала, что сегодня ей не нужно в посольство. Сейчас она с ребенком

на руках ходит по квартире, что-нибудь делает, может быть, проверяет, приложив к щеке, достаточно ли нагрелась бутылочка с питьем. И в ту же минуту явственно увидел Ариану у себя дома, на кухне, она просто заняла место Греты. А где Грета, он сейчас не мог себе представить, она исчезла, пропала вместе с детьми. Новая отчетливая картина — он посылает им деньги, переводит на какой-то точно известный адрес. Они договорились о встрече. Идет дождь, нет, град, дети вылезают из машины Греты, надевают капюшоны, подбегают и садятся в его машину. Картина ничуть не испугала. Он был согласен со всем, даже с неожиданными осложнениями, от которых обычно становился злобно-нетерпеливым. Он ни о чем не жалел.

В последнее время было плохо как никогда, но теперь началась хорошая полоса, и отныне, он уверен, во всем будет удача. А дело — в Ариане, в ее силе, это не значит, что она как бы дала ему взаймы свою силу. Эта сила была и осталась в ней самой. Но теперь Ариана всегда рядом, совсем близко, даже если и не разрешает прийти к ней, а вместо этого преспокойно занимается исключительно ребенком, будто так и надо. Кто же он такой, ее «другой друг»? Разве может быть

кто-то еще, чье присутствие, внешность, мысли ей интересны? Неужели она сравнивает его с тем, другим? Да разве можно сравнивать, ведь он, Лашен, погибает, разваливается от своей непохожести на других? Но что же тут странного, если у нее есть друзья? Наверное, это пресс-атташе. Нет, никогда в жизни он больше не придет к ней без приглашения. Все должно распутаться, все должно повторяться, повторяться, повторяться и стать правилом. Они живут в одном городе, не очень далеко друг от друга, город он, пожалуй, полюбил. Военные действия — плохо, конечно… Подходя к лифту, он порадовался своей твердой походке, на которую вдруг обратил внимание, и ощущению себя самого, уже не разваливающегося, своего тела, плотного, как бы собравшегося, ставшего целым. Хофман пускай себе едет. Какая разница, это неважно, так же как неважно и то, что Хофман думает о твоем нежелании уезжать. Странно, что Хофмана еще нет в холле, зато Рудник тут как тут, вездесущий старикан.

Рудник опять предложил выпить, — очевидно, только это и приходит ему в голову, когда встречает тебя. Сегодня он в сером с блестящими' крапинками костюме, а брюки явно коротки, из-под них торчат ноги в сандалиях с безобраз-

ными блестящими заклепками. Вертлявость Рудника чисто стариковская, нарочитая, как будто ему нужно всем на свете показать, что он еще молодец хоть куда. И мина соответствующая — прекрасно гармонирующее со всеми его повадками подчеркнуто внимательное выражение, как будто он настороженно прислушивается. Вне всякого сомнения, интересы у него широкие, он забрасывает приманку подальше, как принято у распространителей рекламы и тому подобной информации, а с тем, что удается сцапать, поймать в сети, непременно вылавливает и крохи собственного гонорара. Кажется, Рудник всегда наготове, только и ждет, чтобы с ним заговорили. Никакой сюрприз не поставит его в тупик — молниеносный поворот на сто восемьдесят градусов, и вот он в мгновение ока стал высшим авторитетом для кого-нибудь или, в случае нужды, убедил врага в своей незначительности, так что и враг его не тронет.

Лашен прошел с ним до перекрестка и, хотя уже заранее тяготился необходимостью провести в его обществе ближайшие полчаса, был доволен — не один все-таки в шумном потоке высыпавших на улицы людей. Рудник что-то говорил, он, не слушая, улыбался. Они вошли в маленькое кафе

не то бар и сели за столик, маленький, у большой, разрисованной орнаментами витрины. Теперь даже приятно стало поговорить с Рудником, слушать его, а может, и не слушать. Рудник уже знал, что Хофман завтра уезжает в Дамаск, а оттуда полетит в Германию. Вообще-то Рудник тоже хотел полететь вместе с Хофманом, но передумал. Решил остаться еще на неделю, может, и на две. Ему здесь очень нравится, а с Хофманом — при всей симпатии — в Германии они вряд ли еще встретятся. Рудник говорил взволнованно, как будто хотел убедить Лашена в том, что действительно имеет смысл пожить здесь подольше.

— Вы ведь тоже не уезжаете? Мне об этом господин Хофман сказал. Ну что ж, господин Хофман не очень рад тому, что вы остаетесь, а я вот рад за вас.

— В самом деле?

Рудник сказал, что здесь он просто ожил, он давно не чувствовал себя так хорошо, вопреки предсказаниям врачей. Главное его удовольствие — наблюдать. Наверное, сказал он, ему тоже надо было в свое время стать журналистом.

— Вы уж извините, настоящему журналисту мало обладать хорошим чутьем, нужно нечто большее. Все, что я узнаю здесь, господин Лашен,

не может мне пригодиться, это не приносит ни малейшей выгоды, но я многому учусь. Никогда в жизни я не учился так прилежно и так вдохновенно, как здесь. Борьба! Что тут скажешь, да и слов таких у меня нет.

Лашен извинился — он опять отвлекся и упустил нить, а Рудник, заметив это, умолк. Очень опасно ведь оставаться здесь надолго, сказал Лашен, особенно опасно заводить много знакомств и вообще быть на виду.

— Несомненно, — подтвердил Рудник. — Но, представьте, я человек больной, а живу — вот уж на что не рассчитывал! — в состоянии, так сказать, эйфории. Ни дня не проходит без чувства глубокого удовлетворения, ибо я причастен к событиям. А иногда удается оказать кому-нибудь услугу. Приятно быть нужным, и я за это очень благодарен людям. Но главное — я больше не испытываю страха. Становлюсь все более спокойным, даже шум меня успокаивает. Я стал более выносливым, чем был в молодости.

Лашен спросил, каким образом Рудник познакомился с тем генералом, с Тони.

Оказалось — в одном клубе в Айн Руммане. Спустя несколько дней Тони пригласил его в Эден и представил своему отцу, президенту Ливана.

— Как раз в те дни, — рассказал Рудник, — случилось нападение на президента, он был обстрелян бандой мусульман, когда ехал из Бейрута в Триполи, водителя тяжело ранили, через некоторое время он скончался. Оба телохранителя бросились. в ущелье и отстреливались, а президент сам сел за руль и на бешеной скорости погнал по горным дорогам. Сущий ад. Эти старики, в том числе Шамун и Бешир Жмаель, кстати особенно Жмаель, отличаются невиданным упорством. Они скорей дадут себя уничтожить, чем согласятся уступить крупицу власти. Разумеется, у каждого в рукаве спрятан кинжал, а настоящего вождя как не было, так и нет. Все нынешние вожди мечтают о высшей власти, амбиций им не занимать, а вот всего прочего, необходимого *одному* вождю, как раз не хватает. У палестинцев, — продолжал Рудник, — шансов нет. Если сами не уберутся из страны, их вышвырнут. Но если покинут страну, их вытеснят и оттуда, куда они придут. Потому что палестинцев всегда вытесняют, куда бы они ни подались. — Рудник поднял бокал. — А вы слышали, господин Лашен, о сокрушительных ударах возмездия за Дамур?

Лашен ответил, ему известно, что обе стороны расстреливают заложников.

— Ужасно, — сказал Рудник. — Но вероятно, ни одну из этих акций не удалось бы предотвратить, даже если бы кто-то поставил себе такую цель. — В темной полированной столешнице отражалось помрачневшее лицо Рудника, сокрушенно качавшего головой. — Странный этот мир, — сказал он. — Вот и дома у нас, в Германии, мир стал странным, да, дома это особенно заметно. Спрашивается, располагает ли наше правительство такой информацией, которая известна нам с вами, господин Лашен? Нет. Вместо этого летают туда-сюда некие христианские политики, передают от немецких христианских политиков заверения в солидарности, обещают принять определенные меры, оказать помощь, и действительно оказывают ее — в виде поставок оружия. Но, вернувшись домой, эти господа не отваживаются сказать, у кого в гостях побывали. Вы, наверное, понимаете, почему я не называю имен. Вы журналист, а уж я-то знаю, что такое ответственность.

Несмотря на протесты Рудника, Лашен заплатил за него. Пожалуй, можно будет, вернувшись домой, устроить скандал, и не маленький, напечатав специальную статью, подумал он, надо только кое-что расследовать, разобраться во всех

этих вещах, которые так хорошо известны Руднику. Запросы мелким бонзам, запросы важным шишкам, обычная торговлишка и надувание щек, баланс интересов тех или иных партий, извечная тягомотина. Эти мысли сгинули так же быстро, как явились.

Он вернулся в «Коммодор» и еще раз от начала до конца прочитал новую статью, все четырнадцать страниц. Остался доволен, ничего не хотелось исправлять, и лишнего нет, хотя кое-где глаз отметил шероховатости.

Странно, почему не возразил Руднику? Хотя бы одним словом? Мало того, почувствовал что-то вроде почтения к этому жутко нормальному очевидцу событий, нет, не почтение, конечно, но все же интерес. А разве не удивительно, что подобный тип до сих пор хранит верность идеалам непреклонности и бездушия, смолоду вколоченным в его башку? Они уберегли его от повторного инфаркта, но ни в коей мере не гарантируют, что он не присутствовал при событиях, О которых говорил. Возможно, его участие в событиях было куда более непосредственным, чем твое. Да, никаких сомнений, это так. И в таком случае не имеет значения, что Рудник — отвратительное ископаемое, порядком опустившийся, раздавлен-

ный, убогий и пронырливый символ Германского рейха, который изо дня в день благополучно выживает и вдобавок что ни день одерживает маленькие победы то в одной, то в другой точке на карте мира. Сколько таких вот монстров, жилистых, прямых как жердь, все еще шныряет по свету, не замечая, что уже не вписываются в окружающий ландшафт, а тем временем сама-то махина, ее останки уже превратились в грозные и громадные машинные парки, в анилиновые красители, в блеск, видимый всему миру. В сравнении с ними Рудник — маленький, больной и отважный, больной приверженец больной идеи, и такой, что ни говори, обходительный в своей интеллигентной, цивилизованной злобности. Он сказал, что пребывает в эйфории, но имел в виду, конечно же, не эйфорию в буквальном медицинском смысле, это всего лишь некое модифицированное пристрастие к порнографии. Наверняка можно найти выход — сделать так, чтобы никогда больше с ним не встречаться. Можно выбросить его из головы, а можно иногда пропустить с ним по рюмке, это совершенно безразлично.

Он быстро набрал номер Арианы. Дыхание перехватило, хотя он стоял на месте. Сказал, ему

бы очень хотелось прочесть ей одну статью, ему необходимо узнать ее мнение, это очень важно.

— Конечно, я не против, — сказала она. — Погоди-ка. Знаешь, давай на следующей неделе. Во вторник. Я и так собиралась пригласить тебя на ужин. Будет еще один друг. Или он тебе помешает?

Лашен поспешно ответил:

— Нет!

24

Она разрешила прийти во вторник вечером, а сегодня четверг. Впереди пустые дни, дни-подделки, дни, точно коврики на полу, впереди свет — когда с огорченно поджатыми губами смотришь в окно утратившим блеск безнадежным взглядом, и тьма — когда не до сна, потому что ожидание во сне еще мучительней и бесплодней.

Он ходил куда-то, перемещался в пространстве, заглядывал в бары, спускался в холл и тотчас снова поднимался в лифте на свой этаж, что-нибудь съедал в дешевой закусочной и тотчас чувствовал, хорошо бы выблевать съеденное и отправиться на поиски другого кафе. Работать, писать, не мог, но после статьи о Дамуре, в которой разом реализовались все прежде не исполненные благие намерения, надо было хоть немного перевести дух. Очертя голову броситься сейчас в схватку с новыми статьями о войне означало бы неизбежно вернуться к старому тону лживых и предательских, сочащихся кровью репортажей. В сущности, убеждал он себя, война

не дает даже писать о ней. Война — гремящее взрывами понятие войны стояло на пути и было слишком огромным в сравнении с отдельными стычками, происходящими там и тут, с убийствами из-за угла, с актами мародерства. «Война» как понятие в конечном счете все объясняла, и относительно понятия все были единодушны, читатели тоже. А вот реальность войны не давала писать. Иногда приходило в голову, что было бы куда легче писать статьи, не обращаясь к реальному материалу.

После долгого перерыва он снова думал о Грете и детях, неотступно, подолгу; поводом обычно служило чувство обиды на Ариану. Он вспоминал дом и видел самого себя: вот он втыкает светлые деревянные палочки в землю возле кустиков роз. И всегда вспоминалось светлое и теплое воскресное утро, и всегда Грета готовила обед. Дети на садовой дорожке играют камешками в божественно-безмятежном самозабвении. Безоблачные минуты, предвестники неведомого будущего в голубоватых раздольных лугах. Лашен с благодарностью ощущал, что снова способен думать о них.

Что так сильно привязывает его к Ариане? (Глупо выспрашивать самого себя.) Что же еще,

если не перспектива остаться с нею таким, каким ты стал теперь, оторвавшимся от прошлого, сбросившим тяжелую толстую шкуру, на которой, словно это не шкура, а некий мозг, все познанное и осознанное оставило борозды и следы. Раньше он удивительно часто оказывался в неблагоприятных ситуациях, все его дальние поездки были из-за этого ущербными, омраченными, и различные события, кроме тех, которые гарантированно должны были стать его «удачей», раз от раза убивали в нем предприимчивость, независимость и веру в добро.

Вот такой человек, который сам себя считает новорожденным, вот такой *взросло* — рожденный, неужели ему решительно нельзя предложить себя Ариане? Он не тот, кем был, но нельзя же запретить Ариане спрашивать о прошлом, о том, откуда он такой взялся. Не может он сказать ей, как здорово поднаторел в этом искусстве — наедине с собой начисто отрекаться от своего детства и юности. А когда всплывали воспоминания, вполне обычные, он понимал — вовсе не было его детство несчастливым, скорей самым обыкновенным, если брать в расчет чисто внешние события, скорей похожим на неведомое пространство, которое отводится в потусторон-

ней жизни людям, не принявшим крещения, место, где не «царят» ни радость, ни горе. Столь же сумрачное. Столь же напоминающее — без слов — родителей, их лица, всегда либо улыбавшиеся, либо с застывшей гримасой насмерть перепуганных людей.

Стыдно, как все это стыдно — и сам ты, и твои психологические этюды, в которых ты пытаешься как-то объяснить подобные вещи, но все твои объяснения одинаково логичны и неубедительны. Что может быть хуже, чем эта логика: ты же видишь в собственной жизни лишь подтверждение каких-то научных законов. Ты стыдился, подумал он, своей покорности. Но никуда не денешься, всякий раз снова охватывала слабость, ты плыл по течению и, опускаясь все ниже, смотрел на себя как бы со стороны и ощущал гордость и нежелание быть каким-то другим, хотя бы по единственной причине — ты стал таким. И поэтому ты снова и снова многое бросал, легко и радостно бросал события, еще не взявшись за их описание в громоподобных статьях. Вот и в Дамуре ведь на самом деле не был, ничего не испытал в этом городе, нет, ты прочувствовал там свой собственный взгляд на вещи, но теперь он, твой собственный взгляд, кажется тебе самому

суждением некой инстанции, а не живого человека. Живого… живых… В Дамуре число живых сократилось за считанные часы, а у мертвых нет чувств, на которых кто-то мог бы спекулировать как очевидец событий. Потом начался новый отрезок времени, и в этом новом времени ты сидел с Хофманом в ресторане, недавно приняв душ, с еще влажными волосами. Потом были часы, когда вы с ним напивались, но не для того, чтобы забыть, избыть ужас, а чтобы постепенно, так тебе казалось, вернуть себе способность принимать этот мир; потому что ужаса не испытывали, ни ты, ни тем более Хофман, уж он-то, с его натурой, конечно нет. А ты просто забился в твердый прочный кокон, потому что не мог, не в силах был уйти от мысли, что это *твое* тело швырнули наземь выстрелы. Вот так обстоит дело со мной, думал он, или не совсем так. Мог же спокойно толковать с Хофманом о непостижимом, говорил: «для меня непостижимо» то, что внезапно исчезли мысли об убитых, чувство, с которым смотрел им в глаза за несколько минут до того, как выстрелы швырнули их тела наземь. Да что там, Хофман не хотел тебя понять, именно не хотел, на самом деле прекрасно понял бы. Скорей всего и Ариана не задумывается о подобных вещах, а твои мыс-

ли, они тоже не только сентиментальны, они — кубики, из которых ты строишь свои фальшивки, свою якобы чистую совесть, которую ты так пристально изучаешь! Ты способен проследить, как поднимается — ступенька за ступенькой, все выше, — смятение в твоей душе, но что толку, ни один вопрос не проясняется. Выходит, ты ни от чего не можешь освободиться, куда уж там — от собственного прошлого…

Когда отец подпустил к себе смерть (целых два года он знал о своей болезни и неотвратимом скором конце), он перестал говорить о проблемах, которые раньше казались ему самыми важными, ограничивался лишь краткими замечаниями относительно погоды, грозы в горах и на равнине, о том, что привлекло его внимание, когда он в последний — неотвратимо последний — раз рискнул выйти из дому. Но и эти замечания становились все короче, а в последние месяцы уже приходилось громко и четко задавать отцу вопросы. Кто знает, подумал он, может, отец вдруг осознал со всей ясностью, какое благо — молчание и какая это ценность — неизреченное слово. Может быть, очень важно как раз не сообщить о чем-то, приберечь, и тогда оно станет тем, что другие люди узнают сами, постигнут на собствен-

ном опыте. Отец перед смертью о многом молчал, и тебе это многое дало самостоятельность.

25

Из номера Хофмана доносились шорохи, как будто там шла уборка. Шумела вода, что-то напевал женский голос, должно быть в ванной, потом чем-то твердым несколько раз стукнули по полу, а вот опять, и опять, тупое повторение ударов казалось глупым. Он выглянул в коридор — на полу возле двери Хофмана свалено в кучу снятое постельное белье. Тут же стоял поднос с целой батареей пустых гостиничных бутылочек из-под виски. Он быстро закрыл дверь.

Тихое гудение пылесоса струилось сквозь стену, а может, просто струилось, словно мелкая, ничем не истребимая пыль. Он лег на кровать, но лежать было невозможно, он сел, уперся руками в колени и уставился в пол, сидел на краю кровати, будто на вершине горы. Так легче выносить нервное напряжение — все органы, кажется, опять начали функционировать нормально, а прежде они, упрямые, как детали механизма, только мешали друг другу. Из-за этой «домашней уборки» по соседству возникло ощущение влаги и робости, как бывало в детстве, когда в доме

устраивали «мытье» и из чистых, освобожденных от завес окон открывался нестерпимо четкий вид на бесконечную однотонность.

Жалюзи он опустил, сразу подумалось о зиме, да ведь зима и есть, январь же, а он и забыл, что январь. Дома «они» еще ходят тепло укутанные. На деревьях ни листочка, но кое-где попадаются старые орехи в черной подгнившей скорлупе или мелкие сморщенные яблоки, выглядит все это, правда, лишь как нарочно оставленная деталь, необходимая, чтобы понять, где находишься.

Лашен подумал, что ожидание встречи с Арианой можно сделать приятным. В любом случае необходимо дать ей достаточно времени, чтобы она поставила точку в своих отношениях с другим другом. А пока надо написать Грете самое важное письмо, в котором все будет изложено ясно, пункт за пунктом. Это письмо, пожалуй, придет раньше, чем те два, отправленные раньше, такое уже не раз случалось, а значит, те два будут не в счет. И поскорей отправить письмо в редакцию с уведомлением об уходе. Не исключено, что в ответ они пришлют телеграмму — будут просить не увольняться, приняв во внимание «настоящую ситуацию», отказаться от этой мысли совсем или хотя бы повременить до возвращения в Герма-

нию. Вполне возможно также, что Грета сунет куда-нибудь его письмо, ни на секунду не поверив во «все это». И придется явиться собственной персоной, чтобы она постепенно привыкла к правде, нет, чтобы ошеломить ее этой правдой.

Словно быстрая ухмылка, промелькнула мысль, что слесарь Вольф за это время, наверное, подал на него в суд, и, может быть, как раз в эти минуты Грета читает письмо от нанятого Вольфом адвоката. Забавной была и другая мысль — что он предстанет перед судом и, уж конечно, толком не воспользуется возможностью изложить суду тогдашнюю историю со своей точки зрения. Вольф будет стоять по стойке смирно, уверенный, что ему нанесен ущерб. И пришло в голову — в судебном деле, где перечислены все его личные данные, будет написано: в настоящее время ответчик, оставив семью и постоянно проживая в одной из восточных стран…

Подняв жалюзи, он невольно закрыл глаза и сунул руки под мышки. Прошло некоторое время. Внизу на улице шел, кажется, Марк Паднос, несший на плече сверток, похоже скатанное одеяло. Когда они возвращались из Эдена, Рудник рассыпался в похвалах двум американским журналистам, не собиравшимся уезжать отсюда,

мол, эти парни настоящие молодцы, вот такие бравые ребята ему по душе, подумать только, не боятся бывать на передовой, то на той, то на другой стороне. Американцы — Марк Паднос и его фотограф — самое меньшее на десять лет младше, чем они с Хофманом. Оба уже давно здесь, живут постоянно. Поставляют актуальную информацию, а еще работают над книгой о войне на Ближнем Востоке. Раньше, в декабре, ему нередко случалось перекинуться словом с Падносом. А на днях, встав необычно рано, он спустился в холл, чтобы прочитать последние сводки новостей, и увидел, как эти двое возвращаются в гостиницу. Куртки и штаны заскорузли от налипшей грязи, высохшей и побелевшей, а сами парни продрогли, несмотря на то что куртки теплые, на меху. На лицах — младенческое довольство жизнью, Лашен почувствовал раздражение, особенно потому, что оба топали через холл беззаботно и не стараясь привлечь к себе внимание, словно вернулись домой после самой обычной работенки, «джоб» по-ихнему. Младенческое самодовольство, уверенность, что никто не даст в обиду, и радость золотоискателей, которым удача достается тяжкими трудами. Американцы взяли ключи от комнат и погрузились в лифт вместе

со своим туристским снаряжением, сумками и зачехленными штативами. Оба кивнули, ничем не выказав пренебрежения к коллеге, который сам непосредственно, ни в чем тут не участвует, а статейки, живописующие боевые действия, пописывает лежа в теплой постели; наверняка ведь они так думают.

Он рассказал Хофману о впечатляющей сцене возвращения американцев с передовой, хотел его позабавить, но Хофман реагировал сдержанно, сказал, да, у них-то все о'кей. И он с досадой ответил: «Паднос и фотограф, вот уж типичные представители американской журналистики, "ударники из бит-группы"».

Он жадно выкурил сигарету, несколько раз включил и выключил радио. Он думал о Дамуре: о той мертвой семье в разрушенном доме и о семье Гораиб, которая теперь, наверное, тоже стала мертвой семьей. Да что там, досужая ведь мысль. Гораздо важнее сейчас подумать о письме к Грете; важнее и то, что он опять проголодался. Пока не встретится с Арианой, все время, едва насытившись, через минуту снова будет чувствовать голод. Он выпил обе бутылочки бурбона из холодильника и лег. Завтра надо еще разок попробовать договориться об интервью с лидером

Организации Освобождения Палестины. Пока лежал, обдумывал свои вопросы, но как только поднялся, они сразу показались неудачными и глупыми. Не намерены ли вы, господин Арафат, со своей стороны предпринять что-либо с целью предотвращения в будущем кровопролитий подобных тому, что произошло в Дамуре? Признает ли господин Арафат, что любой реванш, независимо от того, правы или неправы те, кто на него идет, лишь способствует эскалации насилия? А остальные вопросы — сплошная лесть, можно подумать, он участник палестинского движения, но вынужден скрывать от общественности этот факт.

Должно быть, приснился сон, а во сне ведь любой предмет имеет лишь свое собственное значение и любой образ, любое слово весомы и отчетливы только сами по себе, а все прочее, даже смерть, своенравно и настолько обобщенно, что кажется лишь чем-то мимолетным. А что же твоя любовь к Ариане? Почему ты ее полюбил? Этот вопрос он во сне задал себе. Или Арафату? С того, пожалуй, сталось бы ответить цитатой из Ленина. Ариана, наверное, нужна тебе только здесь и теперь, ведь только здесь она означает для тебя то, что ты всегда искал — любовь, кото-

рая существует лишь для того, чтобы все прочее, все, что не-любовь, распрощалось с тобой, став чудесным и далеким. Ведь тебе все далеки, никто не похож на тебя. Ни один человек здесь, раненый и павший на землю, отчаянно хватающийся за землю, не может быть *таким же,* как ты, для этого ты сам должен был бы стать тем, другим человеком. Но довольно хорошо помнится: в детстве ты принимал чужую боль очень близко к сердцу, почти как свою.

Вопросы, которыми можно было бы вызвать на откровенность Арафата, давно уже следовало задать лидерам ливанских христиан. Ведь на самом деле именно они — «заинтересованная сторона». Сразу представилось: он сидит напротив них за столом в штабе командования, который находится в Ашрафие. Убеждает их посмотреть фотографии искалеченных людей, увидеть лица, застывшие от последней боли, точно покрытые стеклянной глазурью. Голос срывается, захлебывается. Возбуждение нарастает еще больше от вида убитых, от боли жертв. Лидеры палестинцев равнодушны. Его возмущение смешно. Слова вдруг начинают бить мимо цели, они не способны пробудить то чувство, какое должны. И права на возмущение у него на самом деле нет, потому

что возмущается он только на словах, потому что не находит в себе христианской любви к ближним, все эти тела и души остаются дальними, очень дальними. Щеки пылают, голос срывается, а весь этот пафос, призывы покончить с кровопролитием… Господь всемилостивый, как же он смешон. Довольно, хватит, уж если на то пошло, лучше бесчувственность, — может быть, дойдя до бесчувственности, он постепенно вернет себе способность чувствовать.

Но чувство к Ариане крепло и росло, жажда быть близко, видеть ее лицо, узнавая, касаться в темноте ее кожи. Должно быть, подумал он, то, что ты не можешь просто взять и написать письмо Грете, решающее, все окончательно проясняющее письмо, как-то связано с запретом Арианы приходить к ней. Но ведь ты до сих пор держишь ее в полном неведении относительно твоих намерений. Наверное, она думает, у тебя вообще их нет.

Быстро стемнело, небо отсвечивало сталью. Он опустил жалюзи, и в ту же минуту с новой силой навалилось тягостное, унылое оцепенение. Опять включил радио, лишь бы не слышать этой мучительной тишины без единого звука. Свет от лампы был желтым и теплым, но находиться в

нем невыносимо, и так же невыносимо сидеть тут и тупо пялиться в сумерки за окном. Прочь, немедленно прочь отсюда. Желание уйти из комнаты показалось вдруг исполненным непостижимо глубокого смысла. Он закатал штанину и пристегнул к ноге нож. Паспорт сначала спрятал в шкафу под бельем, но затем вытащил и снова сунул в карман.

Практичная штука. Нож плотно прилегал к голени. И не видно совсем, не то что в кармане куртки или брюк. Ладная, неброская экипировка. Удивительно, сам ведь додумался обзавестись ею. Паспорт, кошелек и нож, больше ничего. Пригладил перед зеркалом волосы. Да, пора уж научиться, всегда надо держать при себе такие вот практичные, дельные вещи. Всю жизнь был непрактичным и вдобавок дотошным, въедливым и безобразно педантичным в любой работе, и с каждым годом все больше, а ведь это от тщеславия. Попробовал пару раз смастерить что-то мало-мальски сложное без посторонней помощи, и сам же нарочно провалил дело, а последующие аналогичные опыты остались безуспешными, хотя тогда, наоборот, очень старался, искренне. То же и с одеждой — вечно на тебе что-нибудь смешное и неуместное. Ничему не научился

— не способен ведь помочь человеку в трудном положении, не знаешь простых, чисто тактических приемов, которые для этого нужны. И очень искренне сожалеешь, что опять ничем не смог помочь. А сам великодушно принимаешь любую помощь. И разом теряешь терпение, столкнувшись с таким же недотепой, который тоже во всем полагается на везение, импровизацию да, пожалуй, еще на интуицию. Потому что, сам знаешь, события ты оцениваешь поверхностно и описываешь их словами, которые только кажутся полными глубокого понимания. Как бы то ни было, все настоящее, действительное, остается где-то далеко за рамками твоей работы, даже печатать на машинке — это, что ли, настоящая работа? Весьма сомнительная деятельность, занятие, которое в самой яркой, издевательской форме выражает всю твою никчемность.

Но репортажи необходимы, Ариана должна это понять. Однажды он поделился с ней, рассказал, как часто самому бывает трудно не отречься от своих же статей, потому что знаешь, сколько в них не вошло, помнишь реальные события, неописанные.

Выслушав, она тогда ни о чем не спросила да, наверное, по-настоящему и не поняла, что он

хотел сказать, — он же ничего не сумел объяснить, только вконец запутался. Репортажи необходимы, но при этом и сам он должен быть необходимым и чувствовать свою необходимость, а нет — скрыться, сгинуть, чтобы и следов в тексте не осталось. Быть необходимым и погибнуть — как марафонец, упавший замертво с криком: «Мы всех потеряли!» Спортивная борьба интересов и сил день ото дня все более очевидна, мир меняется; а он и тысячи его коллег сообщают об этом, растолковывают, то есть делают еще более очевидным.

Если поверишь в свои силы, то напишешь аналитическую статью о замыслах Сирии относительно Ливана (с рассуждениями вроде тех, какие хоть каждый вечер можно услышать в баре отеля), о том, готовят ли, например, в Дамаске новое наступление, каких реакций и ответных ходов в таком случае ждать от Израиля и других заинтересованных политических субъектов Запада. И твоя статья не станет очередной порцией ужасов для цивилизованных читателей, она сотрет в порошок их иллюзии насчет того, что виды способны и дальше выживать на земле. Конечно, есть доводы в пользу обратного, это текущие события, правда лишь сиюминутные,

мелкие, но вот и здесь, в Бейруте, несмотря ни на что, идет обыденная жизнь, она сохраняется во всем своем многообразии, незыблемость ее существования обеспечена тем, что тела людей горят, издают вопли, валятся на землю; все продолжается, с хлебом в городе перебои, но все-таки пока хлеб есть, привозят в достаточном количестве, всюду разводят огонь, варят еду, готовят быстро и по возможности вкусно, и многие, как обычно, садятся за стол, вечером ложатся в постель. В человеческой истории всегда как заведенная продолжалась эта рутина, «нормальная жизнь» буквально в немыслимых условиях, об этом рассказывали бывшие узники гитлеровских концлагерей, эта «нормальная жизнь» когда-то шла и в Лондоне во время чумы, о чем здорово написал Дефо. В сообщениях о всех катастрофах, имевших протяженность во времени, неизменно говорится о непрекращающейся «нормальной жизни». Писать репортажи — точно такая же «нормальная жизнь», это всегда было в порядке вещей.

И значит, ни один человек, если, конечно, сегодня считает себя человеком, не вправе возвращаться к неведению, к незнанию; выходит, все правильно, хотя и не хорошо, все правильно,

хотя несет смерть. Репортажи из всех стран света необходимы, хотя, вызывая резонанс, придают куража убийцам: о чем пишешь, сбывается, часто — с лихвой. И нужно писать, нужно обо всем говорить, лишь тогда произойдет окончательное уничтожение, а после него — обновление, и, как знать, может быть, что-то станет лучше, так как будет осмыслено, пойдет по плану и полнее будет отражаться в репортажах. Ты написал хорошую статью, ну да, разумеется, в момент подъема и обострения чувств после встречи с Арианой. Бывает, значит, такое. Странно — подобным образом достичь обостренного чувства правды. А с какой стати ты решил — или, может, только предположил, — что твой личный кризис это вообще кризис репортажа?

26

На базаре посреди площади Мучеников торговцы, их жены и дети кидали в корзины товар, увязывали свое добро в узлы и быстро разбегались. Утром заключили новое перемирие, правда с известными оговорками парламентеров, а ближе к вечеру оно уже было нарушено и палестинцами, и христианами, хотя те и другие обвиняли в нарушении своих противников. Площадь Мучеников зияла пустотой с той стороны, где начинался квартал Баб Эдрис, границу здесь образовали груды камней, развалины, над которыми тянулись к небу струи дыма. На одном из разбитых снарядами зданий висела киноафиша, пестрый плакат во всю ширину фасада с изображенной на нем арабской влюбленной парой в костюмах словно из восточной сказки; афиша, изуродованная дырами от пуль, стреляли прицельно — по лицам. Люди бежали, низко пригнувшись к земле, такси со скрежетом и визгом сворачивали в боковые переулки, и все-таки показалось, будто первые раздавшиеся выстрелы служили прелюдией к чему-то или были вроде

репетиции, — в стрельбе слышалась некая абстрактная интонация еще спокойного наигрыша. В подворотне стоял продавец кофе, вокруг теснились пятеро, все с оружием, взглянули на Лашена с каким-то странным безразличием. Он хотел рвануть назад, но вдруг передумал и подошел к ним: так будет лучше. Пятеро и в самом деле не обратили на него внимания. Осунувшиеся от бессонницы, хмурые лица, недовольные, словно людям предстоит доделать какую-то начатую работу, результат которой их не интересует. Допив и поставив на тележку торговца свои картонные стаканчики, они бегом пустились дальше. Лашен увидел — вошли в пустой брошенный дом. Он тоже взял кофе; теперь там, в доме, на четвертом этаже, в черных дырах окон замелькали тени — головы, стволы. Он решил поскорей убраться из этой подворотни, продавец тоже свернул свою лавочку и вдруг махнул рукой не туда, куда собрался Лашен, а в противоположную сторону, как раз на тот дом, где скрылись пятеро с автоматами, которые наверняка хорошо видят их в оптических прицелах. Дорожку, соединяющую площадь с небольшой улочкой, загромождали камни и куски ржавого железа. Продавец знаками попросил помочь провезти тележку по щебню

и мусору. Лашен бросился помогать радостно — сразу почувствовал себя в безопасности. Ногой оттолкнул с дорожки обломок железной печи. Те пятеро, засевшие наверху, конечно, держат их на прицеле, никаких сомнений, и Лашен делал только *правильные* движения, подталкивая тележку, не позволяя себе никаких случайных жестов.

Завернув за угол уцелевшего дома, который одиноко высился среди руин, они оказались на улице; Лашена по-прежнему не покидало чувство, что от выстрела не уйти. Он заметил, что во всем переигрывает, как актер любительского театра, подчеркнуто четко жестикулирующий. Вот, скажем, наклонился и выдернул застрявший в колесе тележки кусок проволоки. Вот с улыбкой пожал руку торговцу, тому теперь надо было в сторону порта; и тут раздались одиночные выстрелы, но пули, сразу сообразил он, предназначались не им. Он лишь немного пригнулся, дружески пожимая руку торговцу. На углу улицы Нахр Ибрахим, перед тем как пойти направо, остановился и, обернувшись назад, помахал продавцу, но тот не оглядывался и спокойно шел дальше, толкая перед собой тележку, так что Лашена больше не увидел.

Лоб холодили бисеринки пота; оказавшись вне

поля зрения стрелков, он сразу прибавил шагу. Наверное, не стреляли потому что ты, можно сказать, вместе с ними пил кофе. Сумерки сгустились, но все еще не стемнело по-настоящему. Лишь кое-где — эти места он обходил — из щелей в ставнях первого этажа сочился слабый свет, и камни мостовой мягко поблескивали, искрились, словно под инеем. Ракетные установки еще не приступили к «работе», слышались лишь сухие щелчки одиночных выстрелов из автоматов, не гулкие, без эха; чем ближе он подходил к району Башора, тем более безобидным и несерьезным становился их треск.

В эти минуты вдруг ясно понял, что, сам того не замечая, приближался к Ариане, но шел не прямо по направлению к ее дому, а окольными путями. Нет, снова явиться к ней незваным гостем нельзя. Но дом-то увидеть не запрещено, хоть немного света увидеть, ее света. Завтра он напишет новое письмо Грете, с предложением расстаться. Не позднее вторника сообщит об этом Ариане. Но не позволит себе никакой навязчивости, а еще скажет, что разойтись с Гретой решил по целому ряду причин, то есть что на самом деле их с Арианой отношения тут ни при чем. Лашен был в отличном настроении, совсем не сложно,

казалось ему, будет сделать все так, чтобы и дети приняли развод спокойно. Дом оставит Грете, если она пойдет ему навстречу. Решение принято, и исполнит все точно и без колебаний. Очком в его пользу можно считать то, что Грета ведь не безразлична ему. Но теперь этого мало. Он все понял и готов поставить свою новую, недавно обретенную силу против старых, все более слабеющих чувств, прежде чем те окончательно сойдут на нет.

Путь был трудный, он *преодолевал* его, нет, с боем пробивался к дому Арианы. Он «побывал в переделке», и наверняка это по нему видно, было же видно по тем американским «ударникам».

На этот раз он подходил к дому Арианы с другой стороны, оттуда, где по утрам на стене темнела тень многоэтажки, а значит, не приходилось ждать ударов из восточной части города, от христиан. Он споткнулся на рытвине под балконами многоэтажки, в ту же минуту услышал наверху приглушенные голоса и, взяв ближе к стене, шел вдоль нее, пока все не стихло. Обойдя по краю участок между домами, оказался возле каменной ограды, окружающей сад у дома Арианы. Отсюда виднелись только светлые амфоры на углах карниза. Пригнувшись, он перешел туда, где в

ограде была круглая декоративная розетка. Носки ботинок отлично поместились в углублениях, он взобрался наверх и спрыгнул на траву. Стало страшно — вдруг видели с балконов многоэтажки? И Ариана может увидеть. Но жалюзи на ее окнах были опущены, и лишь подойдя близко, он увидел пробивающийся сквозь щели свет. Лампочка над входной дверью не горела. Здесь, у дома, он тоже держался вплотную к стенам и шел, отталкивая руками ветви кустов. Мощенная камнем дорожка вокруг дома была словно граница, которую он не смел нарушить. Безобидные щелчки и треск в последние минуты, пожалуй, участились, стрельба шла далеко, километра за два. Ветер то и дело обдавал лицо холодом и мгновенно уносил прочь светлый пар от дыхания. Чем она занята сейчас? Нельзя ни подслушать, ни подсмотреть. Жаль.

Не укладывалось в голове — неужели снаряды, пули в кого-то попадают, но не представить и то, что не попадают ни в кого. Мое равнодушие бесчеловечно, подумал он, но оно благотворно. Стоять было очень неудобно, он прислонился спиной к стене и не спускал глаз с крыльца, с двери, но на душе было хорошо, оказывается, сознавать свою непричастность — это очень

приятно. Ты ни к чему не причастен, значит, нет оснований для недовольства собой. Ариана сейчас любуется своим ребенком, о тебе и не не поминает, уж это точно. В какой-то момент чуть не поддался искушению — подняться по ступенькам и позвонить в звонок. Как знать, а вдруг она все-таки обрадуется, увидев его? Да, вряд ли она будет сердиться, но ты-то непременно опять станешь слабым и нерешительным, а куда же это годится, этим ты только уронишь себя в ее глазах как никчемная дешевка.

В небе играли отсветы пожаров. Треск автоматов все чаще заглушали гулкие раскаты — взрывы ракет. Лашен грезил, его взгляд бесцельно блуждал по саду, все отчетливее и точнее различая отдельные детали. Всякая мелочь здесь связана с Арианой, а он хотел как можно лучше узнать все, что с ней связано. Ариана понимает тебя настолько хорошо, что уже невозможно от нее отдалиться.

Прошло полчаса, может, и час. Он ни на что не надеялся, но ждал. Иногда шум вдали ненадолго стихал и вроде слышались голоса и даже музыка, но, может быть, звуки доносились из окон многоэтажки; или вообще почудилось. Как трудно, оказывается, покинуть это место у стены, он

буквально заставил себя сбросить оцепенение: в конце концов, нельзя же вечно ждать каких-то событий. Прошел через сад, все время держась на одинаковом расстоянии от дома, вот и ворота, закрытые, а перед ними — старый американский автомобиль. Он дернулся как от удара током. «Вот теперь ты получил как следует», — прошептал он. «Другой друг», кто ж еще? Он, конечно. Он сейчас там, у нее. И разом все звуки стали глуше. Автомобиль — враг, даже с виду враг. Весь в выбоинах, вмятинах, дырах от пуль. На заднем сиденье — скомканная бумага и пустая сумка, видимо, из-под продуктов. Он оглянулся на дом. Медленно обошел вокруг машины. Бампера сзади не было, номерной знак прикручен ржавой проволокой.

Он решил вернуться на старое место под стеной, как вдруг лампочка над дверью Арианы загорелась и широкий круг света упал в сад. Послышался голос Арианы, ей отвечал мужчина. Говорили по-арабски, увидеть что-либо было невозможно, — бросившись в темноту, подальше от света, он спрятался за стволом одного из кипарисов, их длинный ряд тянулся вдоль ограды. Она вместе с мужчиной спустилась по ступенькам. Оба огляделись по сторонам. Мужчина, на

несколько сантиметров ниже ее ростом, одной рукой обнимал ее за шею. Они по кругу обошли газон, глядя то на небо, то на многоэтажку, — из-под штор затемнения пробивались редкие слабые огоньки, а сам высотный дом, темный и грузный, напоминал корабль без мачт, на котором все в этот миг затаили дыхание. На мужчине сапоги со шнуровкой, свитер с высоким воротом, короткое пальто. На плечи наброшен платок с орнаментом, прикрывающий спину, завязанный впереди на узел. Он шел, небрежно подбоченясь правой рукой. Но из кулака торчал короткий ствол. Пистолет. Они обнялись, последовал поцелуй, и Лашен увидел, что тело Арианы так и льнет к этому типу, что ее пальцы гладят его руку, сжимающую пистолет. Когда они повернули обратно и направились к машине, стало прекрасно видно лицо мужчины. Широкое лицо, которое словно совсем недавно рассталось с задорным молодым выражением. Куда смотрели его глаза, было не понять, и Лашен из осторожности плотнее прижался к своему кипарису и затаил дыхание. Они прощались, о чем-то говорили, потом Ариана засмеялась, ну да, условились о новом свидании, о чем же еще. Когда мужчина сел за руль, Ариана вдруг обернулась и посмотрела туда, где стоял

Лашен. Потом наклонилась к окну машины, всего на миг, сразу выпрямилась и замерла, будто прислушиваясь. Вот подошла к воротам, отодвинула засов и толкнула железные створки, те внятно царапнули по земле.

Лучи прожекторов скользили вдоль садовой ограды в направлении квартала Мазра. Ариана, опустив голову, медленно прошла к крыльцу. Ее лицо было сосредоточенным, словно она прислушивалась и, казалось, слышала что-то кроме отдаленного грохота. Но Лашен спокойно мог бы наступить сейчас на сухую ветку — общий шумовой фон был настолько равномерным и громким, что заглушил бы треск. Он вспомнил о ноже — ремешок слегка врезался в кожу под коленом, ножны плотно и мягко прилегали к голени. Как быть? Выйти из укрытия, преградить ей дорогу, а дальше-то что? Что ты можешь сказать? А найдешь что. Может, потеряешь самообладание и дашь ей пощечину, по лицу, по шраму, по этой тонкой и твердой дорожке на ее лице.

Немедленно распрощаться, раз и навсегда, ох как бы хорошо! Так и видится — вот он подходит к ней и слышит свой крик: «Стой!»; но ведь нет — стоял молча, не шевелясь. Что же, она удивится? Или будет неприятно поражена? Захочет

что-то объяснить, поговорить откровенно? Или постарается все замять, сгладить? Между тем она медленно поднялась по ступенькам. Он закрыл глаза и почувствовал, что в душе пошла вниз другая чаша весов. Ариана тебе чужая, конечно, она не понимает тебя, иначе не позволила бы этому арабу прикасаться к себе. Да как ей вообще не противно это — прикосновения этого типа и твои, *твои!* Она сказала «другой друг» — теперь эти слова звучат смешно. Ариана остановилась на крыльце и, опершись локтями о балюстраду, смотрела в сад. У Лашена шумело в ушах, словно кровь резко прихлынула к голове, а сердце билось в горле. Ариана так спокойна, просто воплощение задумчивого покоя, а ты едва удерживаешь крик, твое тело, услышав этот крик, послушное твоей воле, бросилось бы наземь, замертво. Несомненно, если бы только во всей сцене не было театральности и, да, глупости. И в эту минуту он заметил, что разочарованию и унижению, которые он себе внушил и, более того, действительно почувствовал, грош цена. Его возбуждало то, что он увидел, — как она ласково гладила руку, сжимающую оружие. Так что же это за чувство — ярость или яростное желание быть с нею? Шлюха, шлюха, ах ты, паршивая сучка, — с губ

слетал лишь нежный шепот.

Во вторник, решил он, останусь до тех пор, пока Другой друг не уберется. С ней буду говорить по-немецки, ни одного английского слова, ни одного французского. Господи, это смешно, ты же пустышка, гнилой орех, скудоумный, вечно ноющий, по-собачьи злобный немец. А она стала арабской женщиной, да, это она правильно сказала. Она не верит, что правда на той или на другой стороне, но из-за этого не стала тем, кто вообще ни на чьей стороне. Ей все эти наши немецкие шараханья неведомы, она давным-давно отвыкла жить по принципу «или — или».

Он жадно пил — глазами — ее красоту, старался не думать о ней хорошо или плохо, и, в общем, это, пожалуй, удалось. Шло время. Но вот она повернулась и ушла в дом, и как-то странно при этом дергалась, словно кукла, которую ребенок трясет, чтобы «хорошо себя вела».

Слава богу, ничем не выдал себя. Ворота оставили неплотно запертыми, он проскользнул в щель и наконец смог снова глубоко вдохнуть и нормально двигаться. Не хотелось думать о том, куда идешь. Он понимал только, что идет самым коротким путем в квартал Баб Эдрис или на базары в Старом городе.

27

Каждую ночь в помещениях отеля «Холидей Инн» возникали пожары, их быстро тушили. Рю Дамас, правда не всю, местами, обстреливали, самый сильный обстрел был в квартале, прилегавшем к Музейной площади, там как раз проходит граница между кварталами Мазра и Ашрафие. Линия фронта, не прямая, зигзагообразная, каждую ночь перемещалась. Людям оставалось уповать лишь на собственные инстинкт и проворство, — каждый мог ненароком угодить в расположение противника.

Лашену не улыбалось погибнуть под пулями, но в то же время хотелось рисковать, по примеру американских коллег. Он прислушивался к вою пролетающих над крышами снарядов и думал: шныряют по небу как одинокие ночные птицы, высматривающие добычу. Где-то там сидит Арианин Другой друг, щурится в оптический прицел, и скоро, скоро в перекрестье тонких линий на стеклышке появится твоя, Лашен, фигурка. Чепуха, Другой друг, судя по всему, палестинец, не маронит, как ее покойный супруг, уж это точно.

Достоинству Арианы это не наносит ущерба. Впрочем, разве не было в ту ночь хмурой досады на лице Другого друга? Да чего она от него дождется? Он слишком молод, нервы у него напряжены до предела, и от своего раздражения, от постоянной взвинченности он избавляется проверенным способом — с нею. Эйфория, вызванная страхом смерти, сладострастие смерти — вот с чем он приходит к ней, да еще с пистолетом; является в перерывах между обстрелами, чтобы сменить обстановку. Нет, Ариана не может полюбить такого, он же только подчиняет ее, захватывает, грабит как мародер, оскверняет своей грязью и спермой.

Он вошел в подворотню, здесь громыхало не так сильно, зато камни под ногами при каждом ударе вздрагивали. Остановился выкурить сигарету. Во дворе было темно, дома вокруг, видимо, покинуты. Разглядеть, сильно ли они разрушены, невозможно, но наверное, внутри все выгорело, потому что во дворе стоял едкий запах гари. Он курил, прикрывая ладонью огонек сигареты, и, несмотря на тревожность и нервное напряжение, при каждой затяжке ощущал бархатную мягкость табака. Докурив, растоптал окурок, и вдруг нестерпимо захотелось пить, жажда была сто-

крат ярче и сильнее, чем страх, хотя вопреки всем доводам рассудка страх он принимал с необъяснимой благодарностью, словно некое физическое проявление жизни, на которое уже не рассчитывал. Он быстро пошел дальше. Казалось, от подлинного шума сражения он защищен незримой звукопоглощающей преградой, а от чьих-то глаз почти абсолютно скрыт темнотой. Места, где на площадь выходили улицы, он миновал осторожно, прежде выглядывал из-за угла. Старался не наткнуться в темноте на обломки и какие-то предметы, которые было не разглядеть. Мостовая разбита, искорежена, из расстрелянных машин вытекло масло, распространяя тошнотворную вонь, в небо то и дело взлетали огненные снопы, и площадь озарял яркий мерцающий свет, и все вмиг делалось белым — мертвенная белизна точно кости, и казалось, вот-вот поразят слепота и столбняк, и тускло чернели пористые, зернистые камни и щебень развороченной мостовой. Машины, их останки — измятые, низко осевшие, сплющенные, будто от удара о землю, с черными от копоти и грязи, засыпанными битым стеклом сиденьями. Вокруг ни души, люди ушли, оставив эти следы, которые уже стали чем-то далеким, минувшим. Быть может, обстрел лишь потому

прекратился, что стало некого убивать, некого приносить в жертву, некого сгонять с мест и обращать в бегство.

Он все еще чувствовал себя в безопасности, страх это защита, думал он, страх сам по себе оберегает от опасности. Похоже, до центра уже недалеко, до площади Рияд Эль Сульх. Грохот залпов, треск автоматных очередей теперь оглушали, их волны пронизывали до дрожи, сотрясали тело, нескоро сменялись рокочущим гулом.

И в мыслях все было таким же неразрешившимся, неопределенным. Все, о чем он думал, было легким и летучим, в ту же минуту исчезающим, бесследно. И только Ариана среди всей этой зыбкости, туманности была определенной, была целью, которой он непременно должен достичь. Из какого-то заколоченного досками окна донесся внятный, упрямый кашель, и тотчас представилось — там лежит человек, читает книгу — хотя из щелей не пробивалось ни лучика света. Да, конечно, не все жители покинули квартал. Наверное, в домах, в комнатах еще сидят старики, и жизнь их теплится, поддерживаемая нежеланием оставить родной дом.

Он свернул направо, на авеню Фуяд Шехаб, и в

тот же миг в темных окнах верхних этажей увидел вспышки выстрелов. Дальше, за площадью Рияд Эль Сульх, над крышами вздымался желтый, как сера, дымовой гриб. От шума, который не встречал здесь преград, сразу напала робость, он шарахнулся назад, в улицу, по которой пришел; твое отступление, подумал он, словно спокойный и беззвучный рефлекс насекомого. Укрывшись за углом, машинально ощупал себя — нет, тело здесь, реальное, убедительное. За углом, по крайней мере, не налетают взрывные волны, на улице они едва не сбили его с ног. В сторону площади тлел танк. При каждом грохочущем выстреле стальное тело дергалось, будто изрыгнув из ствола часть своих внутренностей. Лашен высунулся из-за угла и смотрел вслед, танк быстро полз дальше и вдруг, зарычав, будто прирос к мостовой, наискось к тротуару. Открылся люк, из башни повалили клубы дыма и вынырнул кто-то с черным лицом, а может быть — в черной маске; соскочив на землю, он бросился прямо к Лашену, да, в самом деле, завернул за угол и остановился. Черное от копоти лицо, светлели только глазницы. Быстро скользнул взглядом по Лашену, сверху вниз, не увидел направленного на себя оружия и бегом пустился по замершей, без признаков

жизни улице. Что с танком? Лашен увидел второго солдата, верхнюю часть его туловища, вниз головой свесившуюся из люка. Наверняка мертв, хотя рука еще болталась из стороны в сторону. Лашен старался сохранить выдержку: только не броситься бежать, только не мчаться сломя голову, как минуту назад. Собственное спокойствие показалось странным, даже не пересохло в горле, — он почувствовал холодное торжество. Разрывы снарядов, на что они похожи? На лопающиеся мыльные пузыри, да, конечно, сыплются камни, разлетаются осколки, но кого они могут ранить? Кроме бойца, выскочившего из горящего танка, до сих пор он не видел ни одного человека, а площадь при вспышках отлично просматривалась. На ней, как везде в Старом городе, изрытые выбоинами фасады, разрушенные дома, груды щебня, завалившие тротуары и отчасти мостовую, обгоревшая утварь, изодранные вещи. Не надо туда идти, там как раз попадешь на мушку. По дыму и огню можно приблизительно определить, где сегодня, этой ночью, проходит линия фронта. Она идет отсюда, от площади, через базары — они уже сильно разрушены — и до самого порта. В квартале шикарных отелей на берегу бухты Святого Георга сегодня спокойно. А

Карантина, квартал мусульманской бедноты и палестинцев, сожжена, подчистую расстреляна, стерта с лица земли, и точно так же — Дбие, район в десяти километрах к северу от нее по шоссе, соединяющему Бейрут и Джунию, оплот ливанских христиан. Реваншем за них был Дамур.

Чтобы добраться в Ашрафие, надо на ту сторону Рю Дамас, но это неисполнимо, если не ищешь смерти. Если кто-то ухитрялся перейти линию фронта и остаться в живых, он становился врагом, следовательно, — его убивают. Вот она, логика, обоснование убийства; в других районах военных действий ничего подобного нет. Там стрелкам достаточно увидеть — где угодно — живого человека, чтобы открыть по нему огонь.

Он двинулся окольным путем, стараясь идти там, где между ним и точками, по которым вели огонь, были стены или развалины. От бухты Святого Георга хотел постепенно подняться переулками как можно выше, и там от складского или таможенного здания, расположенного уже на территории порта, долетел крик — кричала женщина, кричала все пронзительнее, и от ужаса он привстал на носки, да так и шел дальше. Крик сменился глухим захлебывающимся звуком, вскоре и он смолк, и стало легче, ведь так или

иначе что-то закончилось. Недалеко от площади Этуаль он увидел мертвого подростка, тот сидел, прислонившись к мешку с песком, однажды и навсегда опустив голову. Возле его ног на земле темнела маленькая лужица, а ноги в дырявых черных носках — ботинки кто-то уже снял, должно быть, тот же, кто забрал и оружие.

28

Он вернулся в отель только в два часа ночи. Лежа в ванне, прочитал бумаги, которые вместе с ключом от номера вручил ему портье, пятнадцать страниц. Напечатанные на гектографе листки, скрепленные в уголке, На конверте штемпель: Агентство печати при штаб-квартире ООП. В коротком тексте «От редакции» сообщалось о работе следственной комиссии, которая заново собрала факты и вскрыла подоплеку трех расправ, учиненных христианами над палестинцами и мусульманами Ливана. Имелась в виду резня на электростанции в бейрутском районе Медавар, 6 декабря ее устроили ополченцы Катаиб в масках, убиты сотрудники; далее, расправа в двух палестинских лагерях, Дбие и Карантина, недавно, неделю тому назад. Отмечая случаи жестокостей и зверств, комиссия ограничилась лишь несколькими примерами, зато множество раз повторялось, что приходится ограничиться отдельными фактами. Лашен подумал, что из этой информации стоит включить кое-что в его статьи. Общая цель брошюрки была несомненна

— оправдать кровопролитие в Дамуре или на худой конец представить его как акцию необходимой обороны.

Потом лег спать; похоже, снова начался жар, он проглотил две капсулы хинина, запил пивом. Под утро несколько раз просыпался, разбуженный шумом в коридоре, вдобавок суставы ныли, как будто всю ночь он пролежал крепко связанным, и уже совсем поздно утром он провалился в глубокий спокойный сон, снявший напряжение, и что-то видел во сне, но что, вспомнить не удалось, только и осталось какое-то смутное воспоминание о бездонной илистой жиже, в которой он — толстогубая рыбина — роется, что-то ищет, обшаривая все вокруг. Видение было ускользающим, лихорадочным — оно вспомнилось днем во время обеда, — но в то же время подлинным, упрямо-подлинным, так что он подумал: наверное, будет теперь всю жизнь вертеться в голове, как песенка, заученная в детстве.

В ресторане впервые за эти дни не было хлеба, хотя посетителей за столиками можно на пальцах пересчитать. Он выпил арака с водой и внезапно не без досады поймал себя на мысли — ведь он ждет появления Рудника, чтобы поболтать о пустяках. Ну да, никаких дельных сведений или

любезных услуг он уже не рассчитывал получить от старика, а что делать с новостями — да кто же знает? Так, больше по привычке, он теперь просматривал в холле телетайпные сообщения, которые предупредительно раскладывали на специальном столе.

Подумал, а ведь с точки зрения тех американцев, «ударников», все, что ты пережил вчера, пожалуй, выеденного яйца не стоит, эти парни, Паднос и его фотограф, две последние ночи провели в горах, разбили там палатку, нацепили солнечные очки, опасаясь снежной болезни, и целыми днями занимались лишь тем, что демонстрировали свое презрение к опасности и делали снимки и заметки в блокнотах. Эти двое не попадаются на глаза — наверное, наверстывают упущенное, отсыпаются, как бойцы после боя, потому что ночи напролет строчат сообщения «по горячим следам». Как же так, почему их не было в Дамуре? Недавно Рудник видел их вечером в баре. Они живут на втором этаже, Лашен не встречал их вот уже несколько дней. А может, вообще уехали? Надо будет расспросить портье.

Поев, он вышел на улицу и двинулся прямиком к маленькой будочке менялы. Здесь он менял деньги в свой первый приезд, в декабре. Меняла,

молодой паренек, его порекомендовала Ариана, потому что курс у него всегда более выгодный, чем в отделениях банков при гостиницах. Тогда, в декабре, в его будке всегда была открыта дверь, теперь же он проделал в ней окошечко не шире ладони и через эту щель просовывал деньги. Лашен обменял дорожные чеки, каждый по сотне. На улице было прохладно и очень светло, а над крышами автомобилей дрожало марево! Люди торопливо перебегали через улицу, картина почти жизнерадостная, скок-поскок и щебет, будто в птичьей клетке. Из Джунии что ни день бегут сотни людей, а здесь вроде посмотришь и не скажешь, что кого-то, хоть одного, недосчитались, или кто-то остался без крова, а если кто и потерял близких, то таких тут единицы. На тротуарах громоздились пирамиды — ящики с виски, выпивка шла за полцены, сигареты блоками — тоже. На передвижных жаровнях жарят каштаны, рядом продают фисташки, подсолнечные семечки. Вот человек читает газету, снял толстые меховые перчатки и перевертывает страницу. Время, стягиваясь узким клином, по-черепашьи ползло к цели, к вечеру вторника, когда можно будет увидеться с Арианой, сегодня же только суббота. Он отчетливо почувствовал, нет, не время стяги-

вается в точку, и не события, — может быть, это его опыт, может быть, его жизнь дошла до точки, и он лежит мертвый в потоке событий, ничего не значащий мертвец, в точности как чей-то чужой труп. Но он не мертвец. Как раз наоборот — он уверовал в возможность прорыва к истинной боли, к реальному видению, самой правде и реальности, он, кажется, уже сейчас предчувствует, каким будет прорыв. В конце концов он должен выдержать что-то, кроме своего вселенского одиночества в гуще событий. Нужно, чтобы к вещам вернулся смысл, на худой конец — кричащая бессмысленность. Эта мысль — о новой, благой боли — была неясна, но в ней была жаркая требовательность. В то же время нельзя же сбросить со счетов прежнее страдание, непостижимое, которому ты сдавался без сопротивления, с которым бился как проклятый, потому что оно тоже реально — и на войне, и с Гретой; твоя бездарность в отношениях с Гретой, паралич чувств, когда любая твоя попытка прикоснуться к ней, любая ее попытка коснуться тебя — лишь досадный промах. Он вернулся в отель и написал письмо Грете. Напечатал на машинке в двух экземплярах.

Дорогая Грета!

Растерянность или некая слабость – не знаю, что определяло все у нас с тобой в последние годы. Мне хочется, чтобы ты нашла в себе достаточно мужества, и мы вместе доведем до конца наше взаимное отдаление, потому что чем ближе мы были, тем больше отдалялись друг от друга. Сейчас, когда я не могу увидеть, не могу коснуться тебя, ты опять значишь для меня очень, очень много, но все это исчезает при первой же мысли, самой простой мысли о действительной жизни. Все краски, все формы тут же становятся другими. Я не хочу, чтобы пропало что-то общее, хотя уже не могу с уверенностью сказать, существует ли оно, это общее. Наша совместная жизнь была фальшивой, самой настоящей фальшивкой, такое у меня чувство. Карла и Эльзу мы втянули в эту фальшивку, втянули бессовестно, использовали в роли гарантов или судебных исполнителей, нет, не то, я не хочу так говорить о них – наверное, мы тогда сами не понимали, что делали. Только теперь я вижу, что это было подло. Надо постараться, и,

может быть, мы обо всем договоримся, да, многое уйдет безвозвратно, будет трудно, вот и хорошо. Давай расстанемся, предлагаю это по-прежнему любя.

Я познакомился здесь с одной женщиной, немкой, и это обошлось мне дорого – некоторое время она тянула меня вперед, как на буксире, а потом бросила на дороге, словно ненужную вещь. Я ее потерял, у нее другой. И это к лучшему, потому что теперь я снова дышу чистым воздухом, я ничем не связан и могу писать тебе. Меня многое уже не волнует. Я понимаю твою жизнь. Я хочу работать, отдавать все силы работе, какой – пока не знаю. Может быть, я просто болен. Фальши я не боюсь, боюсь другого – что однажды перестану ее замечать и буду жить себе в ус не дуя; боюсь, что фальшивка станет для меня нормальной жизнью, длительным физиологическим процессом, совершенно бессодержательным, не внушающим ужаса. Нет, лучше видеть самого себя истекающим кровью и никому об этом ни слова не говорить.

А какими вырастут дети, если мы и

дальше будем тащить с собой фальшивку, перемогаясь, точно больные, если дети не получат примера ясного, горького решения, которое они будут помнить всю жизнь, ведь они должны узнать, что возможно изменение, что можно покончить с каким-то состоянием, пока оно не стало привычкой или агонией. Изменить его мы уже не в силах, ибо действует закон инерции (у нас много чего накопилось, это огромная малоподвижная масса), но покончить с этим состоянием мы можем, просто чтобы не было стыдно. Извини за патетику, я пишу второпях, потому что писать медленно, продумывая и взвешивая каждое слово, просто не смог бы. Пожалуй, именно патетические слова – сейчас наиболее точные.

Решение я принял твердое. Я тебя не покину, но давай не буднем жить вместе. Быть может, общего у нас тогда будет больше, чем сейчас. Как только я вернусь, мы должны все обсудить. Никаких условий я не выдвигаю.

С любовью…

Когда вернусь, пока не знаю. Все время

пытаюсь представить себе, что вы делаете, чем занимаетесь, как друг друга согреваете, как бредете, точно призраки, по снегу или скользите по льду, словно огоньки.

Он надписал два конверта, в один сунул письмо, в другой — копию, но конверты не заклеил. Один положил во внутренний карман куртки, где был» паспорт, второй поставил на столе, прислонив к ножке лампы.

Заправил в машинку чистый лист. Надо попробовать написать Ариане. Но в душе была скованность, и еще — обида, которая, точно зараза, подумал он, липнет к словам. Ничего не получилось; клочки письма он бросил в корзину. Нужно увидеться с Арианой, вот тогда он поговорит с нею, если, конечно, у нее найдется несколько минут, чтобы его выслушать. Он и ей может сказать, что не ставит никаких условий, просто хочет жить ради нее и жить вместе с нею. И совсем он ее не потерял, и нет у нее другого. Она усомнилась в нем — вот в чем дело, а почему? Потому что он с нею не объяснился. Он давно понял.

Но сегодня вечером он ни за что на свете не

станет шпионить. Ах, да при чем тут шпионство, ведь позавчера он ничего такого не хотел; все к этому шло, к обострению, и когда оно случилось, то он, конечно, на какое-то время почувствовал себя раздавленным, униженным; тусклое ощущение, что все, вообще все, пропало, исчезло. Но он давно понял. Он же не дал ей знака, даже легкого намека на то, что готов ради нее на все. И это в конце концов гораздо важнее, чем какая-то мелкая, смехотворная интрижка с молоденьким солдатиком, который ей не пара, уж это точно, и нужен ему только секс, от него же так и несет похотью, не говоря уже об инфантильном мужском самоутверждении, вот уж чисто арабская черта, и такую женщину, как Ариана, подобное отношение может только оскорблять. Она терпит этого искателя приключений лишь потому, что ты от нее отдалился. А этот проходимец ведь может и погибнуть, хоть завтра например; нет, не то, ты не хотел так думать, просто другой друг, несомненно, фанатик, вот-вот, он фанатично предан своей борьбе. Но настолько-то не усвоила она арабские нравы и обычаи, да и никогда она не станет арабской женщиной, хочет она того или нет. Она останется такой, какая есть, несмотря на любые перемены, несмотря на ребенка и

несмотря на любовника.

Вот, уже расхотелось писать ей, да и смешно, она же так близко, лучше сказать все, когда они увидятся, абсолютно все, да, он скажет, что с прошлой жизнью покончил раз и навсегда, что хочет жить с нею и не ставит ей никаких условий. Скажет, что готов остаться в Ливане или вместе с нею уехать в какую-нибудь другую страну, если надо — арабскую. Не о чем беспокоиться — заработок он везде найдет наверняка, ведь как-никак он имеет образование и богатый опыт работы. И писать умеет, и будет писать еще лучше, но только если будет жить с нею. Ни усталости, ни привычки у него с нею не будет. А если придется уезжать от нее, то лишь для того, чтобы снова возвращаться.

Может быть, он сможет убедить ее, заставит поверить, а как это сделать? Держаться самоуверенно (вот уж чего нет у тебя — так это самоуверенности, но держаться с самоуверенным видом, пожалуй, сумеешь) и сказать: ты должна захотеть того, чего на самом деле давно хочешь. Ах, да зачем все это? Не нужно никакого плана, нужна только его собственная уверенность, убежденность в том, что он ничего не хочет — только быть с нею, и тогда найдутся слова и в словах все

станет ясным само собой.

Грета обманывала его (а какие эскапады устраивала!) только потому, что иначе не умела совладать с презрением, которое к нему испытывает, — обманы позволяли ей сознательно вызывать в себе чувство вины. Ничего подобного он больше не допустит. По какому праву она его презирает? Втайне он всегда подозревал, что презирает из-за его профессии. Раньше изредка читала его статьи, потому что тогда по-настоящему интересовалась им самим. А потом ее стала интересовать лишь информация как таковая, она говорила — «содержание». Тоска. Он начал чувствовать, что она видит его насквозь, она, казалось, отмечала любые повторы в его статьях с той же дотошной придирчивостью, с какой он и сам их отыскивал, она обращала внимание на форму текстов и отдельных фраз, подмечала позерство, в котором для посвященных, несомненно, сквозила фальшь и просвечивала целая цепочка негодных ходов и приемов, ах, да все это только срывы, провалы, уродства и гримасы. Он вдруг увидел себя ее глазами, увидел, что он круглый идиот, продажный, ни к чему не причастный, ненастоящий, до мозга костей проеденный предательством, да такой ты и есть,

сказать тупица или клоун — значит польстить себе, как все тускло, как тускло… Сколько их, таких вот мыслей, до чего тяжело; он почувствовал сильную усталость и снова прилег на кровать. Еще не стемнело. Пожалуй, ты по-настоящему активно работаешь, когда лежишь, подумал он. Ляжешь — и сразу все цели становятся близкими: кажется, руку протяни и достанешь, а когда увидишь их совершенно отчетливо, когда разглядишь хорошенько, — расплываются, теряются в пустяках и мелочах, которым дана такая огромная сила, гораздо большая, чем твоя собственная. Но возможности бесконечны, они — как морской прибой, накопил же ты капиталец великих, значительных деяний и версий самостоятельного будущего. Он повернулся на бок, рукоятка ножа впилась в ногу. Он ждал, что начнут одолевать сегодняшние картины — военные действия, заградительный огонь, и сам он где-то сбоку, на периферии, где к нему вернется сила или он хотя бы снова почувствует себя сильным.

Он пролежал так до темноты. Как хорошо, что в моменты глубочайшей подавленности и внутренней опустошенности он так надежно огражден от людей с их делами и суетой. Чувство чего-то равномерного и невыносимо длящегося

— это оно заставляет тебя лежать, чувство времени, струящегося в песочных часах, чувство крутящихся лопастей вентилятора. Наконец он встал и в ту же минуту подумал, что надо купить для ребенка Арианы детские туфельки, это будет хороший подарок, он принесет туфельки во вторник вечером и подарит Ариане. Он заранее торжествовал победу над Другим другом, ах, да нет же, ну что за ерунда. Лучше отдать подарок как бы мимоходом, без всякой помпы.

29

Навстречу попалась орава вооруженных людей, они стреляли по верхним этажам и, пригнувшись, короткими перебежками, один за другим, продвигались вперед. Чтобы самим не стать мишенью, падали на колени, прижимались к своим автоматам, стреляли; стрельба на некоторое время обеспечивала безопасность, и они бежали дальше. Вот все вместе попытались поднять железную дверь гаража, ничего не получилось. Почти все дома на этой улице были сожжены и разрушены. При каждом выстреле от стен отскакивала штукатурка, ее куски долетали до Лашена, а теперь, когда он отступил назад за угол, на Рю Де Фенис, совсем рядом начали рваться гранаты. Люди с оружием были уже близко, они все еще не нашли подходящего укрытия — все двери в домах были заперты, заколочены досками или завалены обломками. Эти люди не замедлят выстрелить, если кто-то покажется им помехой, подумал он и быстро начал подниматься вверх по склону холма, с трудом заставляя себя не броситься со всех ног.

И вдруг ураганный огонь — стреляли по американскому отелю. Наверное, туда, к отелю, рвутся те семь или восемь с оружием, хотя, может, они уже убиты или ранены… Ракеты летели одна за другой, с бешеной скоростью, ничего подобного он еще не видел. Внизу, на перекрестке перед зданием отеля взлетали фонтаны земли — как раз там, где он стоял минуту назад. Казалось, темная полуразрушенная башня отеля пошатнулась, из черных провалов окон посыпались молнии. Лашен быстро зашагал дальше, улица все поднималась в гору, скорей бы уж начала спускаться, подумал он, скорей бы привела в долину, ров или пещеру. Бухта, которая минуту назад еще поблескивала от вспышек огня, пропала, ее поглотило слепящее красно-белое зарево. Он вдруг подумал, что обстрел медленно движется за ним по пятам, что стволы наведены уже не на здание отеля, а на него. Что было духу бросился бежать; вверху, на вершине холма, улица продолжалась, а подъем кончился, бежать стало легко, как при спуске. Он с облегчением повалился прямо на подставленные руки двух человек — они дежурили у дверей подвала, указывали людям дорогу в убежище. Сюда толпой бежали безоружные люди, с корзинами, сумками, одеялами, кто-то тянул за собой детей,

кто-то нес на руках. Всех заталкивали, втискивали в узкую дверь, все спотыкаясь спускались по ступенькам в сводчатое подвальное помещение, оказавшееся неожиданно просторным, здесь горели свечи, воткнутые в пустые бутылки, и все напоминало нижнюю палубу корабля. Вдоль одной стены сидели несколько парней, вернее, мальчишек, на пол рядом с собой положив автоматы, на лицах у них было странное, смущенное выражение, — казалось, лишь потому, что с ними сыграли злую шутку, они оказались в числе тех, кто ищет защиты. Они молчали и явно избегали смотреть на входивших. Вокруг них еще долго оставался пустой полукруг, хотя вдоль всех остальных стен и в углах людям пришлось тесниться. Очень красивая темнокожая девушка с серьезным лицом заменяла огарки в бутылках, зажигая новые свечи. Со стороны двора в подвал вела еще одна дверь, через нее поодиночке входили люди с детьми. Значит, в городе есть еще мирные жители, невооруженные; мужчин мало, все пожилые, сразу собрались небольшими группами и принялись что-то обсуждать, вроде советоваться, женщины старались расстелить одеяла на свободных клочках пола, а дети молча бродили вокруг, толкались, наблюдали за

взрослыми, обшаривали небольшие темные углубления, которые были в двух стенах. Чуть не у всех была с собой еда, и теперь припасы достали и начали есть, словно спеша избавиться от лишней ноши. Матери кормили грудью младенцев. На Лашена обращали внимание, кажется, только дети постарше, взрослые же явно игнорировали, ничем не пытаясь рассеять его впечатление, что он здесь чужой. Явной неприязни не ощущалось, лишь изредка кто-нибудь искоса бросал на него беглый, вот именно беглый, мгновенно убегающий взгляд. Возле стены появилась лужа — из водопроводной трубы била вверх тоненькая струйка, рассыпаясь беззвучными брызгами. Одна из женщин поставила туда пластмассовое ведро, попутно объясняя, зачем это делает, глядевшим на нее людям. Старики сидели у стены. Они сняли обувь и сидели, вперившись в некую даль, видимую лишь им и такую же пустую, бездонно пустую, как их закаченные глаза, белые, без зрачков, без радужки, — казалось, это не глаза, а тускло поблескивающая студенистая жижа. Губы шевелились в такт движениям пальцев, перебирающих бусины бесконечных четок. Тут словно в лазарете, подумал Лашен. Стало страшно, он подумал, что может погибнуть под

развалинами и обрести общую могилу с этими чужими людьми, сгинуть в чуждом ему, арабском небытии, и, скованный страхом, осмелился сделать лишь несколько робких шагов в этом подвале, отыскивая свободное пространство и перешагивая через одеяла и сумки, чьи-то головы, ноги. Здесь жалкая горстка вооруженных, да и те мальчишки, но это еще ничего не значит. Здесь ни враждебности, ни симпатии. Если гранаты рвались где-то невдалеке, все втягивали головы в плечи, а своды сотрясались, и Лашен чувствовал огромную тяжесть дома. К нему подошел мальчик, протянул лепешку. В другой руке у него был глиняный горшочек с хуммусом. Лашен отказался от угощения и тотчас привлек к себе внимание — враждебное. Если будет прямое попадание в дом, думал он, ты будешь похоронен тут вместе с людьми чужой веры, чужого языка, но потом приходила уверенность: ведь в этот последний, казалось вообще последний раз, дом выстоял и не обрушился на все эти тела; но еще один удар такой же силы непременно сокрушит устойчивость его стен.

Прошло уже полчаса, некоторых детей охватил панический страх, они закричали, заплакали, вырвались от матерей, которые хотели прижать

их к себе. Дети кричали и не давали к себе притронуться. Вскоре догорела последняя свеча, и Лашена охватил безграничный страх, душивший, как всех в этом подвале, невесомо легкой рукой… Его трясло, но выхода не было — надо было ползти на четвереньках, обшаривать пол, находить свободное место, то и дело останавливаясь; необходимо, но и в той же мере бессмысленно куда-то ползти — взрывы раздавались снова и снова, и с новой силой поднимался плач и визг детей, крик матерей. Лашен все время натыкался на что-то, пальцы нащупывали одежду, носы, ноги и руки, которые с пугающим проворством ускользали от его рук. Он нашарил пустой кусок стены, попытался на ощупь определить его размеры, рука нерешительно ткнулась в человеческое тело. Не лицо, и не плечо, нет, невозможно понять, что это. Рука шарила. Колени, вот что это, колени мужчины, прикрытые свисающим бурнусом. Наконец убрав руку, Лашен повернулся, стараясь двигаться как можно осторожнее, чтобы не прикоснуться опять к этому человеку, прикосновение будет смертельным, убьет тебя. Он осторожно сел у стены. Хорошо, что у стены. Свод обрушится на середину подвала, а по краям, вдоль стен останутся пустоты, шансов вообще-то

никаких, но дышать какое-то время сможешь. Он. с тоской подумал о саде вокруг дома Арианы, там сейчас, конечно, мир и тишина. Ариана рядом, но позвать ее нельзя, ведь у нее гость, да, случайно, ее друг. Грета, дети. Проститься оказалось совсем не трудно. Они и не представляют себе, как близко пришлось ему узнать здесь всё, не знают, как он работает, и не знают, что выстрелы — это реальность, что пули реально вспарывают тело.

Если потом очнешься, значит, только ранен. Все как при попытке самоубийства. Кажется, тебе сразу, положив на носилки, вкололи морфий? Вот ты лежишь, тут же какие-то люди, в бинтах, в повязках; тряпки колышутся. Страшно чуждое тебе — это сброд, сволочь. Поэтому и ты, с ними, напрочь утратил все человеческое. Тебе оно уже не нужно. Нет ни единого человека, которого ты, нынешний, стоил бы. Добрый страх, по-настоящему страшный страх, это он заставляет тебя шептать что-то самому себе, растроганно и беспощадно. Перевязывают раны, перепиливают кости, линия фронта все ближе, ты журналист, тебе на долю выпадают лишь снисходительные усмешки, а что же еще, ты же не противник, не враг. Где твое оружие? Оружия нет? Вокруг курят. Огоньки сигарет перемещаются, блуж-

дают; в потемках проворачивают темные дела, выторговывают поблажки, и нигде ни единого проблеска света. У него кончились сигареты. Ариану позвал, слишком тихо, но он же не хотел, чтобы она увидела, как он прячется в саду, под ее окном. Какая грязь в подвале, может, лучше было бы остаться наверху, в квартире? Когда же наконец они придут — американцы, англичане, израильтяне, сирийцы? Пожелают его «выкурить»? Ради бога, он не против. Та важная, такая важная статья, где же он ее спрятал? А письма Грете, куда все они подевались?

Теперь он снова спокоен, даже с виду. Он сидел, неудобно поджав ногу, и уже начал дрожать от напряжения. Сам жирный, нога онемевшая. Спрашивается, сможешь ли ты вот так просидеть тут до утра, среди всех этих шаровар и головных платков с длинными висячими концами? В глотке что-то расширялось, все сильнее, как при зевоте.

Обстрел не прекращался, воля к уничтожению не ослабевала, ни в залпах, ни в громыхающем подвозе боеприпасов. Разрывы гремели то где-то слева, то справа, с неослабевающей мощью сотрясая все, в чем еще осталась твердость. Все содрогнулось, взрывная волна опрокинула, по-

валила, от здания оторвалась огромная масса, обвалилась — он все ощущал, каждую выбоину. Снаряд ударил в стену у выхода во двор, и еще долго потом слышался шорох осыпавшегося щебня. Ничего другого, никаких криков он не услышал, только грохот обвала не стихал, он раздавался в голове, а на самом деле все, наверное, уже прекратилось. Хотел подняться, уперся руками в пол, уводил в холодную лужу, но чужое тело придавило сверху, тяжелое, и чужая рука упала ему на лицо. Он повалился, придавленный тяжестью, плечо намокло, может, от крови, наверное, осколок попал в плечо или в затекшую ногу. Левой рукой нашарил нож, вытащил, нанес удар, подумал: лежа по-настоящему сильно не ударить, нож не воткнулся во что-то мягкое, а вроде царапнул по стене, и опять, и опять по стене. Наконец глубоко вошел в мясо, вытащить невозможно, нет сил выдернуть. Он перевернулся на спину. Чье-то лицо и локоть, от лица шел резкий запах; он с трудом, обеими руками отодвинул локоть, чужое тело сразу стало еще тяжелее. Он оттолкнул что было силы, прополз под ним. Услышал глубокий вздох, потом всплеск — наверное, та рука упала в лужу.

Только бы выбраться, что будет с ним наверху

— неважно. Кого он убил — труп? Молившегося человека? Попытался вспомнить тех, кого сумел разглядеть при свете огарков. Должно быть, он освободился от тяжести мужчины, старика, он уже чувствовал, что освободился, но не мог вспомнить лица старика, да и не все ли теперь равно.

Потянул на себя стальную дверь, и вдруг крепкие руки рванули его назад, а дверь кто-то с силой толкнул, и она закрылась. Он обернулся, никто уже не держал за плечи. Он ударил кулаком в темноту, и снова кто-то попытался схватить за плечи. Он бил наугад, вслепую, словно в полусне или будто спросонок, едва разлепив глаза. Куда ударял, было все равно. Жаль, что ножа нет.

Снова попытался открыть дверь — удалось протиснуться в щель, в ту же секунду дверь захлопнулась. Они тебя отпустили, сдались. Он бросился бегом, только бы прочь из Старого города, на бегу обернувшись, увидел пламя, вырвавшееся из окон верхних этажей. На всем пути до улицы Ребеиз — ни души. Один раз остановился и отстегнул ножны. Бросил их на кучу мусора.

Еще долго в окно влетал грохот взрывов. На таком расстоянии он не страшен. В небо над всей восточной частью Бейрута поднимались столбы дыма, озаренные полыхающим огнем, они кло-

нились книзу и сливались в длинную темную полосу, которая, казалось, навсегда повисла над городом. Правая рука была измазана кровью, нет, кровью и грязью. Один ботинок намок. Грязь на пальто еще не высохла, на груди пятна крови, и на брюках кровь, возле коленей.

Всю одежду, кроме пальто, он сунул в мешок для мусора. Потом отчищал кровь с пальто, отмывал горячей водой, тер мылом, наконец, повесил пальто сушиться.

Засыпая, спокойно думал об Ариане, уже не долго осталось, скоро она тебя примет. Невозможно рассказать ей о том, что ты совершил, но она почувствует, она угадает, что теперь в тебе появилась новая сила и что притязания твои оправданны. А друг-араб — что ж, теперь к нему можно относиться и со снисхождением. Он спал спокойно и крепко, без сновидений, так он заключил утром на другой день.

30

Он купил туфельки ребенку, о котором даже не знал, есть ли у того имя — успела ли Ариана както назвать девочку, — маленькие лакированные туфельки, белые с черным, и в лавке радостно заулыбался, сунув в них пальцы. Ни нарядной подарочной, ни просто упаковочной бумаги не нашлось, а картонную коробку он решил не брать. Продавщица завернула туфельки в серебряную фольгу, перевязала зеленой ленточкой, очень даже мило.

Солнце только что село, и все-таки, едва он вышел из лавки, стальные шторы за его спиной сразу опустили. Значит, к ночи везде принимают меры безопасности, даже тут, на улице Хамра, хотя сюда долетают лишь случайные гранаты, от которых не бывает серьезных разрушений.

Утром он хватился ножа. В первую минуту просто не поверилось — настолько все, что вспомнилось, было невероятно. Завтракая в ресторане, он попытался спокойно, на трезвую голову все обдумать. Неужели он и правда ударил кого-то ножом? Это казалось чем-то призрачным, хотя

все остальное — обстоятельства, место и даже все звуки вспомнились отчетливо. Единственным неопровержимым фактом было отсутствие ножа. В дурном настроении он прослушал передачу новостей — сообщали численность погибших вчера ночью, тридцать четыре, и поневоле отнял из этой цифры *своего* убитого, как если бы доставил его в безопасное место. Все явственней проступало чувство, которое вчера лишь мелькнуло, — что ударной волной на него швырнуло труп, придавило им, так что стало нечем дышать. Нечетко вспомнились старики, сидевшие вдоль стен подвала, они показались похожими друг на друга как близнецы, такими же, каких что ни день видел на базарах, только глаза у этих подвальных стариков были точно серая жижа, потухшие глаза, они вспомнились предельно ясно. Ни дать ни взять мумии, они же и умирают не как люди — по ним и не заметишь, что умерли. Вот тронешь — сразу поймешь, что это покойник. С минуту, не дольше, он взвешивал: не перебраться ли в другой отель? Повода вообще уехать из Ливана не было. Какое там! Здесь же снова и снова будет охватывать самодовольная радость оттого, что опять он «вмешался», отъявленное ликование поскольку он уже не просто

возмущен и испытывает отвращение к тем, кто тут орудует без зазрения совести, а наконец-то и сам втайне стал одним из них, «замешанным» в дело, отчаянно заинтересованным в гибели какого-то человека. Непостижимая и неопределимая тяжесть, которая так долго пригибала к земле, уменьшилась. А все намерения относительно Арианы теперь были «нормальными», ни дерзкими, ни трусливыми. А есть ли разница, подумал он, одинаково ли безразлично тебе было бы убить мусульманина или христианина-маронита? Если тот старик был безоружен и не собирался лишить тебя жизни, то просто потому, что был уже слишком дряхлым. Здешние старики миролюбивы лишь по причине старости, старость мешает им стать подонками, как все тут.

До вечера, когда он пойдет к Ариане, не стоит уже возвращаться в отель, решил он. Зашел в кафе и взял пива. Снова поймал себя на мысли, что не прочь встретить Рудника, и сам этому удивился. Рудник — да, ему он, пожалуй, мог бы рассказать о случившемся вчера ночью. Наверняка Рудник сразу все понял бы. В то же время совсем не хотелось услышать от него какие-то оправдания своего поступка. Итак, никому не расскажет.

За углом взял такси. Наплел водителю, что впервые приехал из Германии, совсем недавно, и хочет посмотреть, где тут да что разрушено. Таксист повез через кварталы Мазра, Башора, Зукак Эль Билат, Баб Эдрис, добрались до площади Мучеников. Здесь он попросил ехать дальше, в восточную часть Бейрута, в Ас Саифи, район, где живут христиане, и затем в Ашрафие. Пообещал десятку сверху, но таксист наотрез отказался, вдруг замолчал и остановил машину, не выключая мотор. Ждал, не выпуская руль из рук, неотрывно глядя вперед на дорогу. В конце концов пришлось сказать, ладно, я вас понимаю, и попросить вернуться назад, а по дороге проехать через квартал больших отелей. Водитель мигом ожил, он нажал на газ и "опять вскоре разговорился.

Вот и «Холидей Инн», бетонные стены словно обсыпало прыщами. Лашен попросил свернуть отсюда на Рю Фенис, но не к набережной, а взять левее. Когда они поднимались на холм, женщины, дети, старики отбегали с мостовой и жались к грудам развалин. Никого из людей Лашен не смог узнать. Проехали мимо того дома, верх его сгорел. Вход в подвал закрыт. Маленькая, ничем не примечательная дверь.

31

Нет, на такую силу любви к Ариане он уже не рассчитывал, ведь ясно отдавал себе отчет в том, что происходит износ: со смертью каждого чувства, каждого незначащего приключения отмирает способность пережить что-то вновь. И представить себе, что может быть по-другому, было просто невозможно. Выходит, теперь ты возместишь все свои потери, да еще с процентами? Вот потому, наверное, ты и держишься за эту любовь так упрямо, ведь вообще-то давно привык расставаться, бросать, выпустив из рук, никогда ни к кому не возвращаться. И заметил уже, что хочешь стереть все следы, которые ведут обратно — к Грете, к детям, к вашему дому и той местности, — так же как отбрасываешь, раздраженно отвергаешь любые вещи, если может осязаемо-реально выявиться их неразрывная связь друг с другом. И с последними остатками чувства к Грете собираешься разделаться, чем быстрее, тем лучше, пусть канут в прошлое, забудутся, как тягостная передряга. Правда, дети, да, дети омрачают своими маленькими, такими древни-

ми тенями твое чистое настоящее. На детях и сосредоточатся все воспоминания. В будущем *они* пусть ищут тебя, и ты не станешь от них прятаться. Он отмахнулся от этих мыслей, — все равно не разберешься, сколько ни ломай голову. Садовые ворота открыты, за ними припаркован старый «бьюик» — неприятность, такая же неизбежная, как шум стрельбы, который уже опять доносился со стороны Старого города.

Открыв дверь, Ариана положила руки ему на плечи и поцеловала в обе щеки. Он сразу заметил, что она раскраснелась — шрам ярко белел и, казалось, стал глубже. По телевизору шла реклама. А в кресле перед телевизором сидел Другой друг, сидел развалясь, широко раскинув ножищи; лишь на секунду выглянул из-за высокой спинки. Защитного цвета рубашка и темно-зеленые брюки, сегодня он их не заправил в сапоги, зато закатал почти до колен. Ариана познакомила их, Другой друг встал, на боку — пистолет в кобуре. На атаку приветливых слов ответил молчанием, но все же посмотрел с интересом, в упор. Ариана, похоже, была смущена, того, другого, представила, просто назвав по имени, а Лашена — обстоятельно: Георг Лашен, журналист из Западной Германии. Они пожали друг другу руки, Лашену стоило

немалых усилий не скривиться, удержать на лице благодушную радостную улыбку. Да, вот я какой, — чепуха, на самом деле, конечно, совсем не такой, он переигрывал и от этого самому было противно, невыносимо тягостно, ничего ведь не получалось. Невольно бросил умоляющий взгляд на Ариану, и она, вместо непроницаемого Другого друга, ответила приветливой улыбкой. В довершение всего Лашен сказал: «Nice to met you»,[23] на что Ахмед небрежно бросил «о'кей», затем снова уселся в кресло. Он, конечно, далеко не желторотый юнец, каким показался Лашену той ночью. Никаких сомнений — еще недавно, может час назад, они лежали в постели. Но ведь в кухне жарко, духовка зажжена, плита… Возилась там, вот и раскраснелась. Он прошел на кухню. Поймал руку Арианы, сказал, надо срочно поговорить, это очень важно.

— Сегодня? — удивилась она.

— Если можно, сегодня.

— Ну, я не знаю… — Кажется, мысли ее опять были где-то далеко. — Неужели это так важно?

— Тебе ли этого не понять! — прозвучало слишком драматично.

---

[23] Примечания: 23
Рад с вами познакомиться *(англ.).*

— Сегодня может не получиться. Давай созвонимся завтра и все обсудим.

— Что ж, ладно.

— Или… погоди! Ахмеду ведь придется уйти довольно рано. Вот и поговорим. Правда, придут еще двое, супруги Тальхар. Она немка, работает в нашем посольстве.

— А этот твой друг… У тебя что, все друзья такие вот угрюмые сычи?

— Что значит «все»?

— Извини.

— А сам ты не угрюмый сыч? На свой лад, разумеется.

— Ты спишь с ним.

— Без тебя знаю.

— Почему ты не сказала об этом раньше?

— Раньше он был просто моим приятелем, хорошим знакомым.

— А теперь вдруг стал отцом для твоего ребенка, так, что ли? Или он тебе нужен в качестве, так сказать, защитника твоей чести? Ариана, я не понимаю тебя!

— Чего ты хочешь?

— Тебя хочу, понимаешь, тебя! — Он разволновался. Вытащил из кармана письмо. — Вот, написал жене. Тут все сказано. Что хочу жить с

тобой. Вообще все о нас.

— Ах вот что ты, оказывается, выдумал…

— На этих днях будет оказия, чтобы отправить письмо в Германию?

— Нет, никто не едет.

— Все равно. Не имеет значения.

— Успокойся, пожалуйста, а то у меня соус пригорит.

Как же все это для нее важно — кастрюли, деревянная ложка, которой она помешивает соус. А ведь должна бы бросить все это к черту и передник снять, отшвырнуть подальше.

Спросил, как дела у девочки, в ту же минуту с раздражением услышав визгливое музыкальное сопровождение телерекламы. Ариана сказала, девочка уже умеет смеяться. От ее доверительного тона словно обдало теплом. Имя у нее теперь тоже есть — Амне. Ариана спросила, нравится ли имя, и тут же перескочила на другое — язвочки на коже малышки заживают удивительно быстро.

— Знаешь, я так рада, так рада! — Она улыбнулась совершенно свободно.

Он же смотрел на нее огорченно. Из этих рапортов о достигнутых успехах предельно ясно следовало, что он тут лишний. Представилось, как она со своим Ахмедом придумывали имя

ребенку, шептались под одеялом.

Ах да! Как же он чуть не забыл о подарке! Ринулся — на цыпочках — в прихожую, вернулся с туфельками. Ариана вытерла руки передником и развернула пакетик.

— Хорошенькие, — сказала она и поставила туфельки на стол. Потом поцеловала его и так долго выражала свою радость, что ему стало страшно неловко. Ну что тут такого удивительного? Разве не понятно — решил принести что-то в подарок, для ребенка, которого в конце концов *он* «нашел» вместе с Арианой.

— Ты удивительно милый, — сказала она.

— Он собирается жениться на тебе? — спросил он.

— Что за глупости! — Она не знала, как реагировать — рассердиться или вздохнуть: мол, скучно об этом говорить. — Хочешь верь, хочешь — нет, но мне совершенно не нужно, чтобы у вас, у тебя с Ахмедом, началось тут какое-то соперничество.

— Почему бы и нет? — Он снова вытащил из кармана письмо, да зачем? — оно ведь и в первый раз не произвело ни малейшего впечатления. Уткнувшись лбом ей в плечо, он сказал: — Да, ты уже сделала выбор.

— Ничего я не сделала. И вообще с какой стати

я должна между кем-то выбирать? По-моему, ты меня не понимаешь. Я хочу жить здесь, в Ливане, с моим ребенком. Вот тебе и весь выбор!

— Да, и хочешь найти подходящего отца для ребенка.

— Допустим. Ну и что? Я и неподходящего могла бы найти. Очень прошу тебя, перестань. Твои упреки меня расстроили. А я не желаю расстраиваться. И не собираюсь я замуж, ни за Ахмеда, ни за тебя.

При этих словах он почувствовал удовлетворение, правда ненадолго, все-таки не давал ему покоя этот вопрос — после уже, когда она попросила уйти из кухни и не мешать ей, а если позвонят в дверь, открыть, ну да, должны прийти супруги Тальхар. И еще попросила все-таки попробовать спокойно поговорить о чем-нибудь с Ахмедом.

— Он кто вообще — палестинец?

— Нет, ливанец.

Может быть, она была правдива, говоря о тебе, подумал он, и солгала о своих намерениях относительно Ахмеда. Почему этот парень не лупит врагов на фронте, что его удерживает здесь — трусость или похоть? Он не сказал больше ни слова, только обескураженно смотрел на Ариа-

ну, пока в прихожей не раздался звонок. Тогда вышел из кухни, но Ахмед уже открыл дверь и весело встречал гостей. Ах, значит, они знакомы. Ахмед, оказывается, успел подружиться со знакомыми Арианы. И наверняка они не раз вместе проводили время, наверняка эта семейная пара приглашала их к себе, и она ходила к ним в гости с Ахмедом, не с тобой. Если вдуматься, что ты имеешь против Ахмеда? Ничего. А почему бы Ариане не завести знакомства с арабами, что тут странного? Она же столько лет живет среди арабов. Он представился. Женщина тоненькая, лицо у нее преждевременно постаревшее, измученное заботами. Перво-наперво спросила, где именно он живет в Германии, в ответ он рассказал о «родных краях», выяснилось, что она о них слышала — спросила, эти ли места называют Люнебургской пустошью. У ее мужа, господина Тальхара, левая сторона лица была изуродована — пересадка кожи, после которой остались неровные, зазубренные края и грубые швы. Даже заметны черные точки, оставленные иглой хирурга, жуткая картина, будто под кожей засели чесоточные клещи. Поздоровавшись и немного поговорив с этой парой, он вернулся на кухню и взял у Арианы поднос с аперитивами. Подумал:

наверное, она считает, что у него если не вконец ужасный, то тяжелый характер. Обошел всех, предлагая аперитивы.

— Кто бы мог подумать — ведь все мы живы! — сказала госпожа Тальхар.

Ариана обернулась и посмотрела на Лашена, наморщив лоб. Что с ней такое?

— Бригитта и Башир, ее муж, живут в Рас Бейруте, — тоже по-английски пояснила Ариана, — там ничего с тобой не может случиться, если сам не полезешь на рожон.

Все засмеялись, только левая половина лица Башира была неподвижна, жесткая, негнущаяся подушка, кусок мяса. Самому не верится, что ты находишься здесь, подумал он, какое огромное примиряющее неведение встало между тобой и тем, вчерашним, что ты совершил. Вот топчешься тут перед ними, не то прожженный малый, не то смущенный страдалец, и все на тебя глазеют.

— Давайте говорить по-английски, так будет лучше, — предложила Ариана.

Башир поинтересовался, где он живет, какие репортажи пишет, для какой немецкой газеты. Он подробно ответил, добавил также, что поневоле чувствует себя здесь как турист, который осматривает прославленные достопримечатель-

ности. Упомянул, что бывает в районах боев.

— Знаю я, кто он, — сказал Ахмед и начал водить пальцем по краю своего бокала.

Пришлось улыбнуться, хотя от испуга дух захватило.

— А ты и не сказал мне, что знаешь, — заметила Ариана. И взяла его под руку; от шока бросило в жар, но теперь знобило от холода. Наверное, еще и побледнел. Он плеснул в бокал мартини, ужасно хотелось поежиться или головой покачать, что ли, потому что мышцы на шее сильно свело. Хотя все продолжали говорить и на него не смотрели, он знал — все ждут от Ахмеда объяснения. И тот скажет: он, Лашен, убил человека своей веры, христианина, и когда же? — когда нашел безопасное укрытие в подвале, среди своих братьев во Христе.

Но Ахмед без всяких комментариев сообщил, что прочитал одну из статей Лашена, ту, в которой автор высказывает свою точку зрения, мол, в безумии и зверствах войны повинны в равной мере обе стороны.

— Нет, совсем не это моя точка зрения, — возразил он. — Я показал, что подлинными поджигателями этой войны являются Жмаель и Шамун.

Он вздохнул с облегчением. Теперь можно

продолжать: в Германии его статью резко критиковали за односторонность, что не соответствует действительности. Упрек в односторонности, конечно, возможен, но в данном случае это ложь. Уж конечно, он не может переписывать то, что печатает ООП в своих пропагандистских листках.

— Зачем оправдываетесь? — спросил Ахмед.

— Я не оправдываюсь. Но вы упрекнули меня. Надеюсь, на упрек ответить разрешается?

— Вы немец из ФРГ, поэтому об упреках нет речи.

— Пожалуйста, не ссорьтесь! — вмешалась Ариана. — Давайте сядем за стол. Сейчас я принесу ужин. — Она ушла на кухню.

Бригитта Тальхар из вежливости приняла сторону Лашена:

— Мусульмане, друзы и палестинцы тоже совершали кошмарные убийства.

— С этим я и не спорю, — сказал Ахмед.

— Я еще не упомянул о Дамуре, — сказал Лашен, — и не хочу говорить сейчас об этой акции, но я хочу сказать, я сам был в Дамуре и видел больше того, что могу написать.

— Ваши статьи служат не для развлечения, так что неважно, сколько вы напишете.

Двинуть бы, зажмурившись, по морде этого

типа, но нельзя, из-за Арианы, он не может позволить себе хоть чем-то осложнить ей жизнь. Она, кстати, поставила на место Другого друга:

— Ахмед, не будь агрессивным. Вы же не враги и даже не соперники, что прошу вас обоих зарубить себе на носу. Или мое мнение для вас ровно ничего не значит?

Она зажгла свечи, Тальхары уже сидели за столом.

Во время ужина Лашен подумал, что Ахмеда можно, пожалуй, вывести из себя, разозлить, чтобы пустил в дело свой пистолет.

За ужином много говорили о девочке. Ариана приготовила жаркое из ягненка и поставила бутылку бо-жоле. Бригитта Тальхар, видимо, была неплохо осведомлена о делах ребенка, Ахмед тоже — он рассказал, что однажды Амне схватила его за нос и при этом засмеялась. А Лашен чувствовал сильное смущение, если кто-то, говоря об Амне, смотрел на него. Ел без аппетита и обрадовался, когда ужин закончился. Судя по всему, Бригитта и Ахмед в течение целого дня имели, так сказать, свободный допуск к ребенку. А господин Тальхар не приходил посмотреть на девочку, потому что занят выше головы или просто не хотел. Значит, только тебя настоятельно просили не появляться

в этом доме, подумал он.

Вскоре нашелся повод для общего веселья — Бригитта Тальхар совершенно серьезно заявила, мол, ей кажется, что у ребенка уже в первые дни появилось большое сходство с Арианой, даже чисто внешнее. Ариана салфеткой вытирала слезы, выступившие от смеха.

— Не смейтесь, не смейтесь! — сказала она. — По-моему, Бригитта в чем-то права. Или вы, чего доброго, и правда считаете, что сходство передается только с кровью? А я вот не сомневаюсь: Амне становится все более похожей на меня. Нет, не подумайте, будто мне этого хочется из тщеславия, просто я думаю, так оно и есть.

Господин Тальхар, пивший только минеральную воду, усмехнулся — Бригитта, должно быть, спьяну городит чепуху. Оказывается, она сказала и еще кое-что — что Амне похожа на Ахмеда, правда, тут же извинилась и взяла свои слова обратно. Вот теперь Ариана не засмеялась, а серьезно и озабоченно взглянула на Лашена.

— Извини, извини! — повторила Бригитта, но таким тоном, будто лишь по настоянию супруга соглашается взять назад свои слова, в которых тем не менее все — чистая правда.

Какое непринужденное и беззаботное настро-

ение у Арианы. Ты ей не нужен. Ей и Ахмед не нужен. Она осталась верна своему умершему мужу. Тот не был борцом по натуре. Впрочем, у Арианы уже нет контактов с ливанскими христианами — с тех самых пор, как Рю Дамас превратилась в демаркационную линию, через которую прохожие переходят с риском для жизни, а водители на всякий случай гонят на предельной скорости. Однажды она рассказала, что несколько раз ездила в Ашрафие за хлебом. И в одной из таких поездок подобрала в Айн Руммане немецкого коллегу, сотрудника посольства, — тот попал под обстрел, и его машина сгорела. Они погрузили вещи немца в машину Арианы, набив ее до отказа, и на бешеной скорости пронеслись через площадь Независимости.

Ахмед рассказал, что даже ливанским христианам больше не присылают из «дружественных зарубежных государств» кровяную плазму. Христиане постоянно просили помочь медикаментами, донорской плазмой и оружием, но все транспортные суда, которые разгружаются в Джунии, привозят только оружие. Разумеется, сказал Ахмед, на медикаментах и кровяной плазме какая нажива? Для немцев из ФРГ тоже, само собой. Он посмотрел на Лашена:

— А вам это известно? Торговцы оружием трудятся на своей ниве с благословения вашего правительства и ваших секретных служб. Политики делают им особые скидки. Вам это известно?

И снова Бригитта Тальхар приняла его сторону: ну почему же только Германия? Все так поступают. Лашен обозлился.

— В чем дело? — сказала Ариана. — Мы же все одинаково хорошо информированы. Войну подкармливают все — Израиль, США, ФРГ, почти все арабские государства. — Она помолчала. — Сирия поддерживает то палестинцев, то фалангистов, жуткая неразбериха. Ни одна сторона не упустила возможности втянуть палестинцев в войну, и это удалось. Ваши, Ахмед, тоже получают оружие через Сайку, а бывает, оружие неожиданно приходит от другой стороны. И у палестинцев есть американское оружие; кто знает, может, они получают его при посредничестве Израиля. Любой расклад возможен, уже бывали самые невероятные ситуации.

Тыльной стороной руки он отер пот со лба. Ничего нового, все это он уже не раз слышал. Интересы не определишь однозначно, как раньше, во времена «правильных» войн. Как же это

назвать? Непостижимая и непредсказуемая логика безумия. Ариана все верно сказала. Ахмед ей не ответил. Все занялись кофе и виски. Мысли путаются, кажется, сейчас споткнешься на какой-нибудь и грохнешься. Хватит, хватит, надо подтянуться, надо по-настоящему заинтересоваться разговором.

Ахмед рассказал, что вчера вечером лагерь палестинцев в долине Аль Затар обстреляли танки «Тигров» — милиции Шамуна, их было не меньше десятка. Лашен про себя удивился: почему же он ничего об этом не слышал?

Вскоре после ужина зазвонил телефон, позвали Ахмеда. Затем он надел плащ и попрощался. И теперь уже Лашен твердо посмотрел ему в глаза, без улыбки. Ариана вышла проводить Ахмеда до ворот, господин Тальхар попытался завязать беседу с Лашеном, который смотрел вслед уходившим. Сказал, он лично ничего против христиан не имеет, потому что Ливан в течение долгого времени был процветающей страной и его процветание обеспечивали приверженцы различных религий, все вместе. Но сегодня фалангисты и банды Абу Арза, убийцы, назвавшиеся «Стражами кедров» уничтожают палестинцев. А мировым державам, даже заинтересованным, безразлично, каким

образом решается проблема Палестины, Израилю безразлично, США, СССР, Сирии — тоже, и все они так или иначе поддерживают массовое истребление людей, геноцид. What the fascists did to the Jews… exactly.[24]

Лашен не дал себя отвлечь: все мысли растеклись, он смотрел на дверь, даже не притворяясь заинтересованным, пока Ариана не вернулась. Вспомнилось: прощаясь с Ахмедом, она гладила его руку, сжимавшую пистолет.

Хотел броситься за ней, ударить, но даже не встал, все сидел и слушал Тальхара, изредка кивая. Почему, если ты чувствуешь себя таким сильным, не можешь убедить в своей силе Ариану? Что с тобой, куда-то неудержимо уносит, не за что удержаться, нет опоры, ты теряешь власть над собой, волю, ты уже не пытаешься остановить развитие событий, катастрофическое развитие. Правда, страха теперь нет, разве что страх получить окончательный отказ от Арианы. Но и это, в сущности, безразлично, на отказ ты ответишь кривоватой усмешкой, вот и все. Удивительно — ведь испытал ужас (да был ли ужас?) в Дамуре, ярость и возмущение. Как же все это теперь

---

[24] Примечания: 24

В точности то, что фашисты совершили но отношению к евреям *(англ.).*

далеко… И наверное, несчастье, которого ты ожидаешь, тоже никакое не несчастье, а начало твоей самостоятельности, холодности, самовластной, не ведающей боли холодности, которая позволит тебе действовать и еще наблюдать, анализировать, писать. В статьях и репортажах уже не будет ни твоих сомнений, ни колебаний, которых сейчас в них так много, — каждый текст будет превосходной фальшивкой. Да ведь не веришь ты в это, не думаешь всерьез, что с тобой может случиться такая перемена. За время этой поездки в Бейрут многое утратил и ничего не приобрел… Он презирал себя сильнее, чем когда-либо в жизни, но абсолютно не желал стать другим. А что там на улицах? Никто за столом и не подумал даже голову поднять, услышав грохот обстрела, и уж тем более — прийти в отчаяние: что творится, то и творится, мы против того, чтобы это творилось. Не убивал он старика мусульманина, но где-то лежит сейчас бездыханное тело, в котором торчит его нож. Да и не его это нож, хотя отлично помнится: ремешок охватывал ногу, ножны прилегали к голени. Все объективно как погода. Безмерная, слишком услужливая приветливость тебе свойственна, ты рад всем и каждому, кому угодно, и за это ничего не ждешь для себя.

— Что ж ты даже не посмотрел на ребенка? — сказала Ариана.

— Верно. Но мне пора.

— Уже?

— Да. Извини.

— Когда опять придешь?

— Когда хочешь.

Он взял пальто, попрощался с супругами Тальхар. Физиономии у тех вытянулись, ну и ладно. Когда ты на пределе, надо быть одному. Отсутствие взаимопонимания с Арианой полное и окончательное, и уже не хочется его устранять. Вокруг фитильков свечей блестел расплавленный воск. Ариана в растерянности застыла с блюдечком каши в руках. Она не попыталась уговорить его остаться. Как много здесь тонкостей, которые мне уже недоступны, подумал он, я их не вижу, я не хочу их видеть. Я теперь сумасшедший и, как только выйду на вольный воздух, сразу буду ранен, легко, а может — насмерть, да какая разница. Я живу как человек, покончивший счеты с жизнью. Но я-то не покончил.

Ариана проводила его до дверей. Было слышно, как тихонько покряхтывает ребенок — Амне. Хотел толкнуть дверь, вместо этого схватил Ариану за плечо. Потом отпустил и медленно сошел

по ступенькам, словно надеялся, что окликнет, позовет вернуться. Но он бы уже не вернулся. Каждому из них придется теперь жить со своей долей непонимания. Ну и ладно. Он почувствовал что-то вроде гордости, — потому что сокрушен, потому что допустил, что без него легко обходятся, потому что он простр уходит, уходит от последнего своего приступа любви.

32

В Гамбурге он сразу почувствовал, что снова живет в правильном времени. Несколько дней он решил побыть в городе, чтобы окончательно успокоиться и подумать о том, что еще осталось сделать. Грете надо позвонить, спросить, получила ли она письма. В Бейруте могла быть не Ариана, а какая-то другая женщина, он бы в любом случае влюбился. Но при мысли, что Грета теперь так близко, он пришел в смятение. Что же он ей написал?

Он совершенно определенно чувствовал, что расстался с нею, да, расстался некоторое время тому назад, и поэтому, в принципе, может вернуться. Но точно так же он снова может предложить ей разойтись. И наконец, можно оставить все как есть, почему бы и нет? А вот нет. Нет. Теперь он хочет, чтобы что-то в нем решительно изменилось.

Когда он ехал из аэропорта в город, по радио передали предупреждение о гололедице. В городской квартире все было таким же, как в тот день, когда он заходил в последний раз; очевид-

но, Грета сюда не наведывалась. Он до отказа отвернул краны на батареях отопления и чуть приоткрыл окно. Уже настала темная и ясная ночь. Позвонить Хофману? — мысль, пожалуй, не самая удачная, поздно, не стоит, даже если трубку снимет Анна. Он выпил на кухне рюмку водки, закурил и долго еще не решался позвонить Грете. Он понимал, что опять падет духом, если не застанет Грету и в загородном доме. Пока, стоя на коленях, разбирал чемодан, в памяти всплывали подобные ситуации. Эльза уже отшвырнула привезенную в подарок мягкую игрушку и ревела на кухне. Верена посадила ее к себе на колени и утешала, пыталась чем-то накормить.

— Холодно, — сказал он Верене, — я скоро приду.

Надел толстый свитер, закатал рукава и вышел из дома. Пересек двор, затем деревенскую площадь, дошел до плотины. Мгла повисла над синевой, из-за нее солнце казалось маленьким и в то же время очень близким. Короткая трава должно быть жесткая и неподатливая. Он зашагал по плотной и твердой, утоптанной светлой тропинке, чувствуя, как боковой ветер ударяет снизу, налетая резкими упругими порывами, которые то сталкивались друг с другом, то со-

вершенно стихали. Он обхватил плечи руками и тихо засмеялся, не переставая идти. Все хорошо, в груди было тепло и радостно. В ушах тоненький звон. Холод пробирал до костей и словно разглаживал кожу, она стала твердой как сталь. Сбегая по дорожке, которая вела наискось вниз, в луга, он споткнулся о какой-то твердый бугор. На Эльбе раздавил ногой тонкий ледок у берега. Потом медленно побрел обратно. Как раз и Грета вернулась домой.

Беспокойство всегда, когда он безуспешно пытался приблизиться к ним, родным, и не находил у них понимания, символика бегущих вдаль облаков. Все двери настежь. Дети играют, сидя на полу, разговаривают сами с собой. Небо голубое, даже просветленное, никаких потаенных мыслей, ничего потаенного. А он здесь. Как приятно курить, сидеть и ничего не знать, не рыться в поисках дополнительной информации и даже не смотреть в зеркало. Он нашел, что выглядит равнодушным, лицо как у человека, который расслабился по причине полнейшего отсутствия воли; увидел самого себя в приятном спокойном состоянии. Грета здесь или ее нет. Не существует ничего важного. Важное — он его преодолел, нет, не преодолел, оно само прошло. Раньше все было

важно, а сегодня все прошло.

И еще он хорошо помнил чувство глубокого бессилия, неспособности совершить даже пустячный поступок, предотвратить что-нибудь или, наоборот, вызвать, так чувствует себя истукан; оцепенение, оно началось с подбородка — челюсти будто свело, подбородок окаменел. Малейшее сопротивление в ситуациях, которые накатывали неотвратимо и постепенно, тотчас же обратилось бы в хохот. Он слышал голос (передавали известия), но не понимал ни единого слова. Непривлекательная пишущая машинка — это он, он сам прячется за каждой лукавой литерой, но теперь даже смысл напечатанных слов никак с ним самим не связан. Он хотел уйти далеко и шел, коренастый, какое там! — жирный, шел через поля по заросшим травой межам, *шел* через заборы, облака опускались, ветер был теплым. В его комнате на подоконнике лежит конверт с последними фотографиями отца. Отец был хорош собой. Отец, хотя на снимках видно, что он неизлечимо болен, стал реальной, сравнимой с другими личностью, и отец бил его десять лет назад. На равнине в какие-то моменты возникает ощущение тесноты, и повсюду видна твердая и тонкая линия горизонта, словно тупое лезвие

ножа. Ты так крепко сидишь на велосипедном седле, притороченный предмет. Что за серебряный портсигар на столе? Размытая, усеянная галькой яма, льет дождь, в яму плещет, хлещет вода из переполненной канавы. Он фломастером рисует корову с толстыми коленями, едва видными за травой. И все грезит, грезит без конца в облаках сигаретного дыма. Статья с четкой авторской позицией; да ведь как раз такую он пишет; он отвергает взятки. И теперь с улыбкой может вспоминать о своем страхе. Теперь? Когда «теперь»? Он пришел к этому? Забился в угол (вокруг бетонные стены), скорчившись, чувствуя, как разом напряглись все мускулы и прекратилась дрожь. Он в тюремной камере, взят под стражу из соображений безопасности его жизни? Он в подземном гараже отеля «Финикия», бледные лица арабов, дети не шумят. С ним хочет поговорить американский журналист, но он отмахивается и ждет, жадно ждет, следующего, близкого взрыва. Думает, что теперь все они поневоле должны доверять друг другу, вообще они не верят друг другу, но сейчас вынуждены. Он сидел в кафе на улице, хотя было холодно; единственный посетитель. И когда уже расплатился, когда уже опустили железные шторы, заставил себя проси-

деть еще довольно долго и задержался еще, когда расслышал, что стрельба раздается совсем близко. Потом медленно пошел в гостиницу, чтобы надежно укрыться там вместе со всеми. Умирающая женщина протянула ему блок сигарет, он купил — принял ношу, принес жертву.

Он сунул под голову вторую подушку. Все еще в городской квартире? Но он же слышал, только что, дети звали! Он втыкал в землю палочки и привязывал кустики роз. Темные аэропорты как крематории. Местами трава разрослась, большие клочья травы, коса врезается в кучку земли над кротовой норой. Куришь лежа, а кажется, будто сидишь в темноте и куришь. Вокруг сверкают витрины, окна кинотеатров, в них — афиши, рекламные плакаты с выцветшими красками, дальше дверь бара, заваленная грудами камней и щебня, дальше шныряют, по-крысьи, тела в темных одеждах.

Ты замкнут в кольцах плоти. Все разрастается, теряя форму. Замкнута старая любовь, новой нет. Но плоть, плотность мяса, она ведь защищает. Грета со своими мыслями одна на террасе, читает «Аду» Набокова. Несколько раз он выходит к ней, чтобы прикурить сигарету от ее зажигалки. Она посматривает с усмешкой, беспечно, беспощадно,

жена и женщина, его жена или женщина, которую лишь случайно занесло в его жизнь. Иногда они одновременно находились в Гамбурге, но не встречались. Она сказала, что он ей видится смутно. А вот он видит ее ясно, что, впрочем, не значит *понимает.*

И никогда он не спрашивал ее о любовниках. А она своим молчанием отплачивала ему за то, что сама же его и ранила. Силы убывают, и у него, и у нее, все бессильно. Никому, кажется, и не нужна теперь сила. Если хочешь быть дельным и полезным, сила не нужна, сила только мешает. Когда он на велосипеде проезжает по улицам районного городка, то обращает внимание на белые запрокинутые оконные рамы. Болезнь иногда становится мелкой и привычной, почти как нормальное состояние; когда же? — когда читаешь, но видишь не текст, а пористую, словно пчелиные соты, сбитую в комок, урезанную реальность, подлинную *реальность,* и то, что действительно происходит или действительно произошло, это ее иллюстрация. Он мечтал: быть тяжело раненным, испытать это на собственном опыте, быть пристегнутым ремнями к носилкам, погруженным в самолет. И все написанное раньше рушится, набор рассыпан, в бумажных

складах пожар. Грета ставит ему холодные компрессы на икры. Он перенес операцию, и вот открывает глаза. Нет, никогда больше он не будет бродить в архивах, подбирая крохи чужого опыта. Архивы — жилище крыс. Кажется, он что-то сказал Грете? Если тад, то слишком решительным, непререкаемым тоном — она смотрит удивленно, а он жалеет, что вовремя не прикусил язык. Но продолжает говорить, чем лишь ухудшает дело, а под конец говорит уже только из страха — страха молчания. Наверное, раньше он или ничего не говорил, или произносил лишь несколько обдуманных заранее слов. С той стороны, где рядом с ним шла Грета, он был мертвым, во всяком случае старым или оглохшим, не желающим ничего знать о ее изменах, не иметь информации, не быть посвященным. И потому легко было оставаться равнодушным и взращивать в себе все большее равнодушие. Но все это — раскаяние и твердое намерение — принадлежит прошлому, и он должен одержать над ним победу, что-то должно появиться — зримо новое, что осознаешь и схватишь. Поэтому он до сих пор и не позвонил Грете, прежде надо собраться, измениться и найти точные слова, чтобы определить перемену в себе.

Один из самых плохих вечеров у них с Гретой был всего-то три недели назад. Смотрели телевизор, пили вино, бутылкам счет не вели. Уже довольно поздно начался детектив, не бог весть что, расследование убийства, в сюжете не было ничего, кроме неожиданных поворотов и находок, вопреки всем законам вероятности, а впрочем, и невероятности; он с самого начала хотел заговорить с Гретой и не мог, все время казалось, что вместо слов изо рта вылетят громадные пузыри, к тому же каждый раз, когда он готовился заговорить, момент из подходящего становился неподходящим — герои фильма произносили слова, которые поразительно точно подходили к его ситуации с Гретой. Хорошо помнил, как женщина в том фильме крикнула: «Сегодня же от тебя уйду!» — и он невольно бросил быстрый взгляд на Грету, но она, словно оцепенев, не сводила глаз с экрана. Когда фильм закончился, они быстро напились, уже не стараясь скрыть, для чего это нужно, допили едва начатую бутылку. Что было потом… Он помнил только, что пришел к ней, она, полураздетая, стояла у кровати, и он опустился на колени и обнял ее ноги. Нет избавления от твоей беды и напряженности. Грета не бросила его — это можно объяснить лишь тем,

что она его презирает да еще, наверное, жалеет. Худо дело. Однажды она, разбив тарелку, подмела осколки с такой оскорбительной небрежностью, словно брезгует даже вещами, которые служат им обоим.

Когда он — редко — тянулся к Грете или задумчиво разглядывал тонкие шрамы на своих запястьях, или замечал, что дети — так неожиданно — смотрят на него оценивающим взглядом, или когда схватил за шишковатую голову сантехника Вольфа, то всякий раз знал: это вынесен приговор, начертан на нем самом знак; пророчество, явственно зримая мета, непреклонное мановение. Ты был и остался непостижимым существом, засевшим в засаде, готовящим западню для репортера-газетчика.

33

В здании издательства, его коридорах, с их скромностью, на самом деле — пышностью, в его мерно колышущемся воздухе вернулось, слава богу, чувство, что опять пошел в какой-то упряжке. Начало одиннадцатого, поздновато, но он все-таки заглянул в свой кабинет, нанес визит вежливости — именно так можно это назвать, подумал он. Не дольше чем требуется, чтобы неторопливым довольным взглядом обвести письменный стол и стеллажи с книгами. Дверь кабинета закрыл без всякого волнения, поднялся в лифте наверх. Здесь, в коридоре, его обгоняли коллеги, все куда-то спешили, здоровались с ним, будто подбадривая отстающего на дистанции, все тащили под мышкой большие блокноты, стандартные, размера машинописной страницы, и лишь теперь Лашен сообразил, что, наверное, будут говорить какие-то вещи, которые полезно записать для себя, он об этом и не подумал. Зато очень даже приятно, что он пришел с пустыми руками и что за длинным столом свободных мест уже нет — он сел в углу, словно гость, прибывший

по особому приглашению. Некоторые коллеги кивнули с таким видом, будто благодаря его присутствию уже чувствуют себя среди избранных. Он вежливо кивнул в ответ, но так быстро, что на том всякое общение было закончено и никто уже не мог бы подсесть к нему. Он услышал обрывки того, что говорил «заведующий зарубежным отделом»: «В фокусе нашего внимания должны теперь находиться не..., а напротив...» Дверь еще несколько раз открывалась, и опоздавшие на цыпочках прокрадывались к незанятым стульям. Взбудораженные, словно прибежавшие после какой-то дикой драки, однако, несмотря на их отчаянные потуги не привлекать к себе внимания, все глаза устремлялись на них. Тому, кто хотел бы остаться незамеченным, пришлось бы ворваться с грохотом.

Это здание — лифты, длинные коридоры, просторные кабинеты, полные чистейшего кондиционированного воздуха и желтоватого света, четкие линии, длинный стол в конференц-зале, мебель и оборудование помещений для деловых переговоров... — сама Федеративная Республика в миниатюре. Страх новизны здесь одержал решительную победу над отвращением к затхлому старью. Но Лашен в то утро радовался, ведь его

ситуация изменилась. Ничего не надо говорить, не надо удивлять чем-то коллег. Вошел Хофман и немилосердно пнул ботинком ножку стула. Увидев его, Лашен пригнулся, чтобы потрафить Хофману, — пусть чувствует свое превосходство. Какие грандиозные события разыгрываются в помещениях редакций. В сущности, любые события в мире происходят только здесь; не гремят взрывы, не проходят «артерии», но здесь без особых затрат скромно делается мировая история. Остается лишь четкость этих персонажей, сидящих здесь сотрудников, четкость, благодаря которой ни один из них не хотел бы стать другим, а хотел жить в ладу с самим собой, с окружающими и с текущим моментом. Сколько патетики в этих переполненных окурками пепельницах, которые курильщики передвигают друг другу по столу; что-то есть гиблое в этих пепельницах, сулящее разрушение, близкую катастрофу. Он вздрогнул и отнял ладони от лица, услышав, что назвали его имя.

По вторникам выпускали «смесь» — надо давать читателям передышку, чтобы исцелились от всевозможных мировых недугов и скорбей, чтобы забыли все свои дурные сны. Ему не хотелось превращаться в критикана, однако участвовать

во всем этом и дальше? — такое можно вынести, только если отвращение время от времени доходит до пика и становится твоим несчастьем, это взбадривает. Ведь где-то в глубине души он чувствовал благодарность за то, что сам же снова и снова находил доводы против себя и поэтому мог втихую саботировать, подкладывая свинью редакции и читателям, причем так, что ему это сходило. Надо бы всем этим господам носить солидные шляпы да еще говорить жарко и сбивчиво, и пусть бы иные из них крепко подружились между собой, и еще выглядели бы по-другому, не одевались бы безбожно дорого, не носили бы дорогие новые шмотки с таким видом, будто это купленное по дешевке старье. И пусть не твердят, что пишут как дышат.

Когда случалось лететь на самолете, полет всегда казался превращением, а самолет — барокамерой, в которой нужно пройти подготовку, чтобы, прибыв на место, не спасовать перед событиями; было такое чувство, что без подготовки, в обычном своем состоянии, он ничего не сможет воспринять. Необходимо превращение, надо стать кем-то, о ком думаешь: вот, он покинул свой дом, отправился в дальние странствия, а в чужих краях подавляет свое отвратительное

настроение, вызванное тем, что он лишился тех мест, где привык находиться. О доме вспоминал с любовью, совершенно тщетной.

Через середину стола тянулся рядок хрустальных с серебряным ободком пепельниц, ими никто не пользовался. Окна были приоткрыты, и Лашен смотрел, как сигаретный дым протискивается через щели на улицу. Затем он погрузился в изучение ботинок и складок на брюках, которые видел под столом. Вот это — нечто непреходящее, а вовсе не события, которые где-то происходят, а потом как гром обрушиваются на читателей.

Наверное, на журналистской работе ума можно набраться, только если сначала лишишься ума и начнешь бубнить и мычать — что в разговорах, что в статьях. Он почувствовал: необходимо предпринять что-то против этих людей, присутствующих да и не присутствующих вовсе, — это пустой, нечеткий образ, нечеткий как раз потому, что все очень четко в этом зале, где замерло в неподвижности так много людей. Те, что у кормила, могли бы разок пройтись туда-сюда, как в кино показывают, скроив удрученно важную физиономию. Или пусть кто-нибудь, как пьяный, подает неуместные реплики. Куда это годится — все, даже дамы слушают абсолютно равнодушно, хоть

бы кто шевельнулся. И ламп здесь нет, вот досада, общий рассеянный свет, противный, смешанный с уличным светом, который кажется отработанным. Неужели не может разразиться сражение, грохочущая битва за этим столом? Неужели они не могут разволноваться, вскочить, опрокинуть стулья? Выходит, никто здесь не обижен тем, что о нем умалчивают? Ладонь — на пачке черных сигарет на столе, рядом зажигалка.

А ему нечего было бы рассказать этим людям. Слушать было уже невмоготу, особенно если говорили долго, не ограничиваясь кратким замечанием, он физически не мог больше выносить эту сосредоточенность, этот воздух, этот свет, который так бесплотно рассеивался по всему залу, ничего на самом деле не освещая по-настоящему. Здесь каждый — человек без тени. Он уже не следил и за своими мыслями, просто не мог, каждую новую мысль отбрасывал как негодную, но в то же время недалеко — вдруг еще пригодится. Почему нельзя и дыхание приберечь на потом? У него действительно есть такая привычка — вдруг на минуту задержать дыхание; Грета, с наигранной озабоченностью его состоянием, спрашивала, не хотел ли он что-то сказать ей, и всякий раз он это отрицал. Итак, все это должно пройти, умереть, и

тогда дальше пойдет уже что-то другое, и снова у него появится способность видеть и думать. Эти редакционные проходимцы, которые вечно лезут тебе в душу, для которых все на свете заслуживает эдакой славной снисходительности и весь огромный мир можно втиснуть в некое всемирное развлекательное теле-шоу. Тебя среди них не видно, и хотя бы поэтому твое дело дрянь. Ты самый жалкий, самый недостойный, потому что тебя никто не увидел, а ты продолжал работать, не попадал впросак и никогда не саботировал, а если и саботировал, то уж ко всеобщему удовольствию… Он поймал себя на том, что уже давно разглядывает воротничок редактора из отдела искусства, синий с белыми полосками, верхние пуговицы расстегнуты; пришлось сделать усилие, чтобы перестать на него глазеть. Заметил ржавую полосу на своей штанине. Да, вот сейчас, в эти минуты ты начисто отвлекся от своих мыслей и еще от чувства, что ты не выживешь, если не уйдешь с этого совещания. Он резко наклонился вперед, как будто решил внимательно слушать разъяснения редакторов.

В коридоре около лифтов его нагнал Хофман.

— Я рад, что ты приехал, — сказал Хофман и положил руку ему на плечо.

Лашен громко захохотал и отступил на шаг, чтобы по-настоящему взглянуть на Хофмана, прямо ему в лицо, впервые. Жесткие как проволока седоватые волосы, вихры над ушами. Секретарши, пробегавшие с кофейниками, приветливо здоровались. У Хофмана необычайно кроткий вид. Лашен уже отнес редактору обе статьи и интервью, которое сильно сократил; когда отдавал, заметил вскользь, что вряд ли сможет написать серию очерков о событиях на Ближнем Востоке. Вышел в коридор и, остановившись у окна, схватился руками за подоконник. Приступ одиночества — вероятно, его вызвало тихое жужжание кондиционера, бледный, нежно туманный свет, разливающийся во всех помещениях, ковровые дорожки в коридорах, настенные пепельницы, глубокие ящики со светлым песком у выхода на лестничную площадку. Вот только закралось подозрение, что и все остальные точно так же, как он, перенесли подобные приступы депрессии. «Перенесли» как болезнь. В эту минуту хотелось очутиться рядом с Гретой и детьми, выбраться из здешнего затишья, не хранящего ничьих следов. На улицах звенели капли под карнизами и водосточными трубами, деревья блестели влажной черной корой, тончайшие

потоки сбегали по бокам автомобилей. Прошла женщина, под мышкой, прикрывая плащом, она несла собачку. Молодой человек, втянув голову в плечи, перебежал через улицу, галстук развевался над плечом. Ветер кружил над уличными перекрестками. И только здесь ни движения, ни звука, кроме тихого жужжания вентиляторов. Вопрос в том, может ли он, получая здесь гонорары, позволить себе эту роскошь — быть таким чувствительным. Неужели шум для тебя — то же, что жизнь? Ты много лет только тем и занимался, что катился от бессмысленности к тупости, от тупости к бессмысленности. Из здешней *творческой* безжизненности нырял в оглушенность гулом обстрелов и слепого насилия.

Ощущение покинутости вскоре стало казаться лишь простеньким психологическим упражнением, а окончательно оно исчезло, когда он вошел в свой кабинет и секретарша фрау Фэндер капризно-добродушно, с шутками-прибаутками заставила его выпить кофе. Она трещала не закрывая рта, например, о том, что думает ее лучшая подруга о Ясире Арафате.

Лашен соврал, что спешит, сел за машинку и напечатал (в трех экземплярах) заявление на имя главного редактора с просьбой об увольнении.

Нет, никаких причин не указал. Причин не было. Скорей уж страх последствий, прежде всего — безденежья. По условиям контракта уволить его смогут через три месяца, наверное, этого времени хватит, чтобы продумать новые жизненные планы или хотя бы покончить со старой жизнью и всеми ее привычками.

34

Дома он опять выпил кофе и сразу почувствовал приятное легкое головокружение. Немного почитал книгу Хоттингера, наконец решил — пора что-нибудь предпринять. Дул сильный ветер, ледяной ветер, с постоянной, неутихающей непреклонностью. Он вышел из дому, словно задумав какое-то позорное дело, сверх всего. Замерзшие лужи блестели, небо казалось зернистым, все серое пожелтело и посветлело в электрическом зареве. В поезде надземки он смотрел в окно на старый город, на венец огней вокруг Внутреннего Альстера, на другие огни, расходящиеся веером все дальше и выше. Целый город виден с высоты, в крестике из тонких, как волос, линий. А в вышине летят сейчас дымные пряди облаков. Вот и своды вокзала; бегущие по ступенькам люди с пакетами, в закусочных на полу бутылочные пробки, водочные. Он прошел через освещенный неоновыми лампами туннель и, повернув за угол, какое-то время был один, ноги замерзли, он их не чувствовал, но шел. Предпринять что-то сегодня вечером означало

собственно не предпринять, а претерпеть, и он бесцельно слонялся у здания вокзала, в постепенно редеющей толпе. Вечер безлюдных после восьми часов площадей; флаги на флагштоках бьются и трещат, блеск огней, напрасный, пустой, и надо всем угроза зияющей пустоты, крушения всего, что сейчас так прочно и твердо. Только не давай себе передышки. Он шел — тело двигалось вперед тяжелыми рывками, тяжесть в ступнях, вывихнутость, которая теперь ощущалась как благо, как преображенная в механику смехотворность, студенистость тела на твердом шагающем костяке. Чувство, что ни к чему не причастен, никому не приятель — суровое чувство, жестокая школа. Мысли мелькали, захочешь схватить, чтобы продумать и передумать, — не схватишь, в покое тем более. Ни к чему не обязывающие мыслительные процессы, со своим законом, подобные морскому прибою.

На какое-то время зацепилась мысль, что с ним непременно что-то случится, например нападут и убьют, но зачем? Душевный кризис, подорвавший физические силы, чтобы не остаться незамеченным, — зачем? Будь ты сейчас мертвым, что изменилось бы? Он шел все дальше, через железнодорожный мост, внизу нескон-

чаемые блестящие рельсы, огни семафора. Как практично то, что все имеет причину и что ты тоже идешь и идешь куда-то. Не пойти ли в кино? Может, и правда в кино? Никто тебя не преследует. Сейчас ты, совсем один, проходишь в полосе света от фонаря. Под краем льда хлюпает темная вода. У дверей ресторана группа людей в длинных военных шинелях, пригнулись, сдвинули головы, читают меню на стене. Донеслись слова: «А вот это неплохо звучит!» У тротуара припаркован автомобиль, на водительском месте светловолосая женщина в шубе, следит за ним взглядом, когда он проходит мимо, но хоть бы шевельнулась. А почему он должен был вызвать хотя бы легкое изменение на ее лице? Она не изменяется, просто остается такой, какая есть, а он просто прошел в поле ее зрения. Он шел мимо витрин, рубахи и свитера в них освещены направленным лучом, сразу захотелось все это купить, все, что так интимно подсвечено. Одинокая рубаха. Дальше витрина с обувью, такой, чтобы ходить. Купи, и все искупишь. Он заметил свою досаду — ведь сейчас, сию минуту, нельзя ничего купить. А сам он похож на разведчика, нет, посланца, подумал он, которому поручено провести инспекцию, проверить, насколько велико смертельное око-

ченение всех этих вещей, всех этих артефактов, ни единой деталью не выдающих своей искусственности. Очевидно, что вся жизнь вернулась в твердое состояние, стала веществом, не способным к движению. Из пассажа с освещенными витринами вышел человек. В пальто из верблюжьей шерсти, в маленькой клетчатой шляпке, небрежно помахивающий перчатками. На лице застыла скорбная гримаса, выражение глубокой печали особенно подчеркивали большие выпуклые глаза с тяжелыми веками; казалось, человек этот понимает, что, перетерпев горе, надо жить дальше, как все остальные, как все эти люди, которые в белом сиянии, заливающем пешеходную зону, казались потрепанными обносками, пустыми оболочками тех, кем они были прежде. И чуть ли не чудом казалось, что еще дует ветер, закручивая пыль под скамейками в маленькие бессильные смерчи, что в воздухе пахнет серой и подгнившей древесиной.

Он вошел в телефонную будку и попытался позвонить Грете, но трубку не сняли. Почему он не хочет вернуться домой, лечь в кровать, выпить чего-нибудь, почитать? Набрал номер Анны, но когда та ответила, быстро повесил трубку. Пальцы зудели от холода, он сунул руки в карманы и

стиснул кулаки. По краю витрины кинотеатра бежали электрические огоньки. Он поглядел на картинки — кадры из фильмов — и ничего не решил. Но, подумав о том, что после сеанса покинет кинозал через боковую дверь и окажется на соседней улице, где стоят длинные складские здания, сразу сделал выбор — пошел дальше.

35

В дороге из Гамбурга домой, которая заняла два часа, он отчаянно искал ответа на вопрос: с чего, чем он должен начать все заново, в самом деле — чем? И кто должен — он или некий новый человек? Непонятно! Он будет пожинать награды за долгие мучения совести?

Он хотел лишь подвести черту под неким состоянием, в котором все было фальшиво, состоянием нравственного возмущения, кризиса, с ним нужно покончить, но и не скатиться в полнейшее равнодушие, а это далеко не просто. Ты хочешь писать, но отказался от работы пишущего журналиста. И непонятно, как снова обрести то состояние восприимчивости, терпения и силы, то знание и в то же время незнание, с каким ты написал статью о взятии Дамура. Непонятно и то, будет ли у него уединение при совместной жизни с Гретой. Все неопределенно, но здесь нет ничего постыдного, ведь ничто не решается и не разрешается просто. Ничто не изменить одним лишь волевым усилием.

Ледяная короста, затянувшая его душу и мозг,

призрачность его жизни, призрачность его профессии внезапно стали означать не что-то личное, а всеобщее, значимое для всех людей. И вполне можно сказать: «призрачная гласность, мнимость общественной жизни», подумал он. Потому что ничего этого в действительности уже не существует, все это лишь призывают на помощь, на все выдаются жетоны. И удовлетворения нет, вместо него — гонорар и сумма на банковском счету. Собственно говоря, сегодня никто уже ничего не хочет, мы только шарахаемся от слепящих вспышек рекламы, которые науськивают на потребление, а чего — безразлично. Утонченная система ассоциаций, воспоминаний о Жизни, Жизни с заглавной, подменила собой Жизнь. В журналистике нет свободы, потому что постоянно надо доказывать свою состоятельность как в постыдных, так и мнимых вещах, причем и в тех и в других находить лакомый кусок, который можно продать. Поэтому далекие места и не наши времена с приятной легкостью превращаются в вездесущее «здесь и теперь». Здесь Грета, дети, дом, и развороченный снарядами цветущий земной рай, и лазурное море, в которое сталкивают прибитые к берегу трупы, здесь — разбросанные по горам стада овец, и искореженные, простре-

ленные лимузины, и розы, и треснувший лед на реке, и грохот грозы над светлыми заливными лугами, кротко прильнувшими к Эльбе. Здесь его любовь к Грете, и другая, совсем по-другому сводящая с ума любовь к детям, здесь — кусок земли с цветами и деревьями, подлинная радостная открытость и подъем в душе, а с другой стороны — ничего нет, все далеко, а потом вновь на мгновение приходит, — это чувство, пусть потускневшее и ничтожное, вызывает тоску, а тоска, ее неподдельность повергает в ужас. Это и есть возвращение домой. Того ножа уже нет в чемодане. Как неприятно и странно — на несколько минут он потерял рассудок, но это прошло, он не сумасшедший. Он действительно вернулся.

Грета ждала его. По телефону сказала, очень тихо: «Я так рада». После обеда они вместе вышли из дому и, пройдя поселок, затем по плотине, шли все дальше в луга, словно хотели исчезнуть там, вместе. Дети сильно отстали, но они не беспокоились. Если бы сейчас они заговорили, то лишь от смущения, и они не говорили — смущенно молчали. К полудню все подтаяло, но теперь снова замерзло, и трава под ногами пружинила, с хрустом ломалась, и, обернувшись, они увидели свои тянувшиеся от плотины следы, по кото-

рым теперь медленно и нетвердо шагали дети. Спустя час, когда повернули обратно, солнце село, луга, кусты, ряды деревьев, заледенелые пятна земли — все осталось позади и слилось, став единой мягкой и лишенной контрастов волной, матово-белой от инея, ровного, отрадного, совсем мелкого, бархатисто-нежного и словно не ведавшего прикосновения. Он посадил себе на плечи Эльзу, ее личико казалось крохотным под капюшоном, отороченным густым мехом. Грета несколько раз заговаривала с ним, но все это были лишь жалкие от смущения попытки, а приветливый тон Греты вполне мог неожиданно превратиться в что-то гладкое и опасно скользкое. Он задал какой-то вопрос, она ответила не как обычно — раздраженно дернув плечом, а почти неприкрыто услужливо. Эльза захныкала, она взяла ее к себе, немного пронесла на руках, и он подумал, как было бы хорошо, сумей он почувствовать в себе большую, захватывающую ответственность за них. При этой мысли лицо вдруг стало жестким и шершавым, незащищенным от холодного ветра. Красное заходящее солнце коснулось линии горизонта и растекалось в стороны. Хотелось быстро сказать хоть что-нибудь, но он молчал. Шел теперь за Гретой, за ним,

немного отстав, — Карл. Взгляд будто прикован к ее затылку, к маленькой вязаной шапочке наподобие лыжного шлема с горловиной.

Он чувствовал, что она доступна, что она ждет, и все же весь этот день она оставалась недоступной. Профиль у нее красив. Она отводит глаза, вовсе не думая его обидеть, и это обижает еще больше. Когда вернулись с прогулки, — увидев дом, дети во всю прыть пустились вперед, бросив их, — вдруг замутило, к горлу подкатила тошнота. Думать о Грете разом стало тяжело и бесплодно, все между ними снова сделалось непостоянным и рискованным. Верена уже сняла с детей шапки и пальтишки. Она стояла у плиты, что-то варила, а дети забрались на стулья и смотрели, как она готовит. Он прислонился к холодильнику, обеими руками схватился за живот. Грета спросила, что с ним, он ответил: ничего; проходя мимо, Грета погладила его по голове. А ведь он по привычке чуть было не улыбнулся. Потом было плохо, он не знал, куда податься со своей болью и тошнотой, которые были буквально осязаемыми. В гостиной зазвонил телефон. Он услышал, что Грета сняла трубку, ответила, потом сказала: «Минуточку!» Метнулась к кухне, бросила «Извини!» — и плотно закрыла дверь. Верена помешивала что-то в

кастрюле, а тут резко обернулась и посмотрела на него. Дети слезли со стульев и просили, чтобы он их поднял. Он подхватил обоих и долго разглядывал их лица. Сам смутился — с чего вдруг уставился на детей? — но перестать не мог, все глядел и глядел, пока из гостиной не вернулась Грета, сильно раскрасневшаяся.

В воскресенье утром, едва открыв глаза, он увидел возле кровати детей в чистых и тщательно выглаженных одежках. Они шептались, вот и разбудили его. Занавески были отдернуты, в синем квадрате неба шныряли воробьи, громко чирикали. Дети смотрели на него молча, только когда он им улыбнулся, вышли из оцепенения и пошевелились. Наверное, Грета уже приготовила завтрак, вот и послала детей наверх разбудить его. Он откинул одеяло и встал, голова была удивительно ясной, натягивая брюки, он заметил в себе чуть ли не задорное настроение. Детей послал в кухню, сам, насвистывая, пошел в ванную. Тело казалось таким подвижным, упругим, гибким, как будто во сне прошло хорошую тренировку. Ни намека на вчерашнюю паническую напряженность, значит, во сне ты что-то расчистил, привел в порядок, подумал он. Поглядел в зеркало и сразу почувствовал раздражение — ну

что еще за лихость — и перестал свистеть.

И все же осталось что-то от этого утреннего ощущения чистоты, и к завтраку он именно «явился». Грета, увидев его, слегка попятилась. А его потянуло к ним, этим троим, и ему самому это новое настроение показалось бесшабашным, он буквально источал, излучал тепло. Почему бы и нет? — подумал он, ведь все только начинается, целуя их по очереди, Грету — после детей, и она радостно засмеялась. Потом спокойно сидел с ними за столом, пил чай, ел яйца, а Грета рассказывала, что среди ночи проснулась, разбуженная чужими голосами, вроде бы кто-то бродил вокруг дома, должно быть, деревенские парни пытались пробраться к Верене.

Грета начала убирать со стола, приводить все в порядок. Он встал и помог ей. Она все делала быстро, сложила тарелки в посудомоечную машину, смахнула крошки со стола, вытерла капли пролитого молока. Их движения были слаженными, и все вокруг казалось гармоничным, не казалось — было. Мелкая сосредоточенная суета, заполнившая большую пустоту, — так крестное знамение, если осенит им себя хотя бы кто-то один, наполняет пустую громаду собора. Лашен закурил и взял со стола последнюю вещь

— солонку. Внимательно стал ее рассматривать. Спросил:

— Надо еще что-нибудь сделать?

Грета распрямилась и взглянула на него из-под прядей, упавших ей на глаза. Дети помчались играть в детскую. Он шагнул к дверям — она мокрыми теплыми руками схватила его запястье и сказала:

— Послушай, я же понимаю!

Дети побежали на улицу — Грете пришлось позвать их, заставить одеться потеплее. Потом они остались наедине — она с ним, он с нею. Ни он, ни она теперь не могли бы встать и включить радио. Он что-то жевал. Она размешивала сахар в чашке. Оба сидели облокотившись о стол. Она притворялась рассеянной, но все-таки, если только он не ошибся, ждала разговора. Он предложил поехать куда-нибудь, погулять с детьми. Она кивнула.

— Может быть, тебе хочется поехать с детьми без меня или вообще одной? Тогда я останусь.

Она затрясла головой, как будто услышала плохую весть, грустно; от каждого его слова она все больше падала духом.

Помолчав она ответила:

— Я хочу забраться под одеяло и читать.

— Ну давай.

— Не получится.

— Мне убраться? Просто скажи «да». Я ведь понимаю. — Он коснулся ее руки.

— Не надо понимать. Господи, почему меня так раздражает то, что ты здесь, что я тебя вижу? Когда тебя нет здесь, я совсем по-другому к тебе отношусь, и даже люблю тебя.

— Но почему же тебе невыносимо даже смотреть на меня?

Вот теперь она на него посмотрела, правда, с таким выражением, будто потеряла мысль и совершенно не понимает, о чем он говорит.

Он сказал:

— Я не верю, что ты остаешься вот такой, как сейчас, как со мной, безжизненной, когда находишься где-то в другом месте, когда ты с кем-нибудь другим.

— Это правда, — сказала она. — Тогда я другая, в самом деле, другая, с кем я — тогда вообще не важно. И я сама не могу этого понять.

И опять настало молчание, он ногтем чертил линии на скатерти. Подобный разговор невозможно продолжать, да и зачем? Ни к чему. Однажды она сказала, наверное, все дело в том, что ей не хватает мужества, решимости по-настоящему, заранее предвидя все последствия,

разбить наконец здание их совместной жизни, тем более что камни и так уже расползаются, и перечеркнуть пустую фразу, что они все еще пара. Если случалось, что во время таких объяснений к ним прибегали дети, то безысходность подавляла невыносимо, и они умолкали, молчание длилось бесконечно долго, пока, собравшись с силами, они не выходили из оцепенения. А если неожиданно кто-то приходил в гости, они бросались встречать их радостно и суетливо, спасаясь этими хлопотами. То есть в определенных ситуациях к ним быстро возвращались свобода и живость и они словно воскресали. Но эффект реанимации был недолгим — ведь его вызывали чисто внешние причины. Одно неверное слово, один холодный взгляд, в котором сквозило непреклонное пренебрежение, мгновенно сводили все на нет. Досада усиливалась с каждой минутой, несмотря на то что «другая супружеская пара» тоже не могла похвастать чем-то особенным, что существовало в ее «другой» жизни. И поэтому потом они опять молчали и насколько удавалось избегали друг друга, старались не видеться. Но в этот раз он почувствовал, что где-то в самой глубине их вечных мучений друг с другом появилась прочная надежда, какой никогда еще

не было. В этот раз их занесло на линию огня и нужно было выбираться. Никакое время — все в нем не в счет и само оно не в счет — длилось уже слишком долго. Грета встала и вышла, но через несколько минут вернулась. Он просматривал и вырезал из газет еженедельный политический обзор. Посмотрел на нее — черты лица (на свету) были такими правильными, словно внезапно утратили всякую индивидуальность. И еще лицо было бледное и очень смущенное. Захотелось броситься к ней, обнять. Да, конечно, теперь они уже никогда не будут, наверное, по-настоящему близки, теперь это едва ли возможно, но все-таки они так хорошо понимают и самих себя, и свою беду. Наверное, она чувствует, каково ему сейчас — так тяжело и так странно, ведь после самой настоящей мистерии он снова все тот же привычный ей человек, тот, кого она давным-давно знает, за которого когда-то вышла замуж. Мистерии?

Настали хорошие дни. Держа детей за руки, они предельно осторожно скользили по льду среди всех этих мчащихся, вихрем кружащихся конькобежцев. Реакции на заявление об увольнении пока не последовало, да это и не очень его интересовало. Грете он сказал о своем решении

уйти из редакции. Она удивленно наморщила лоб и, пожалуй, чересчур живо одобрила его шаг, словно давно знала все, что к нему подталкивало. Он накрывает в кухне на стол к ужину. Грета в прихожей снимает с детей пальтишки. Он входит в ванную, дети в пижамах умываются перед сном, Грета стоит прислонившись к стене и смотрит на них. «А, это вы…» — пробормотал он и вышел.

Вот так сурово он обуздывал себя. И все-таки не мог понять, что заставляет его иногда по-воровски искать близости детей и вопреки всей своей сдержанности стараться привлечь их. Если он лежал в гостиной на диване и дети забирались на него, садились верхом, прыгали и возились, а время от времени, затихнув, молча его разглядывали, он им не мешал. Закрывал глаза, и дети осторожными тоненькими пальчиками поднимали ему веки, словно мертвой птице. И наконец, что-то шепча, сползали с него и на цыпочках уходили в детскую. Что же, теперь они просто растут и, подрастая, становятся спокойнее? — думал он, — или они безотчетно опасаются сделать хоть какое-то неверное движение в опасном пространстве между тобой и Гретой.

После обеда — Грета уже прочитала детям главу из «Путешествия Нильса с дикими гусями»

— он предложил пойти посидеть в каком-нибудь кабачке — так он представлял себе их разговор. Однако ничем не показал своего огорчения, когда Грета очень приветливым тоном ответила: «Конечно, пойди, тебе надо развеяться».

Итак, молчание. Слово было бы еще большей подлостью. Ни он, ни она не хотят мучить друг друга. А размышления ничего не дают, сколько ни размышляй, ничто не сдвигается с мертвой точки, сколько ни размышляй, лишь разбередишь старую рану, расцарапаешь, раздерешь до крови. Грета не захотела пойти, не захотела посидеть с ним «в каком-нибудь кабачке», как он себе представлял, и она ведь не сомневалась — он примет отказ как должное. Он сел в машину и включил мотор. Потом вышел и почистил заледеневшие стекла, наконец в полном порядке отбыл.

Водку и пиво пил у стойки. За столиками тискались парочки, молодые. Кто-то обратился к нему, потом еще кто-то, но скоро, заметив в вежливом тоне отчужденность, его оставили в покое. Музыка гремела вовсю, невыносимо, из-за этого мелькавшие в голове мысли только утомляли и причиняли боль. Ах, пустота в голове, звенящая, гулкая пустота. Но никаких других изменений не было. В конце концов он повис, привалившись к

этой чертовой музыке, пьяный, и тут с предельной ясностью увидел границы, проходящие через все обстоятельства его жизни. Многое сразу пришло в порядок, сосредоточилось, распределилось. «Проблема» перестала влиять на все остальное. Сама она не сделалась разрешимой, но теперь она приемлема, о, страшно приемлема.

Окольными путями он приехал домой, не зажигая света, тихо вошел в свою комнату и услышал дыхание Греты, почувствовал ее дыхание на своем лице. И просто, ни о чем не раздумывая, лег к ней, не проснувшейся, спокойно и тихо спавшей.